

7020



**В. БОНДАРЕН**

**ВОЕННО ПЛЕННЫЕ**

**В. БОНДАРЕЦ**

# ВОЕННОПЛЕННЫЕ

<sup>а</sup>  

---

<sub>а</sub>  
ЗАПИСКИ КАПИТАНА

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ИК ВЛКСМ  
„МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ“  
1960

*Бондарец Владимир Иосифович*

**ВОЕННОПЛЕННЫЕ**

*(Записки капитана)*

**Редактор К. Токарев**

**Художник Ю. Ребров**

**Худож. редактор Н. Печникова**

**Техн. редактор Т. Тамулевич**

А00110 Подп. к печати 20/1 1960 г.

Бум. 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Печ. л. 9 (14,76) +

+ 8 вкл. Уч.-изд. л. 14,2.

Тираж 160 000 экз. (15 000 + 75 000 +

+ 70 000 — 1-й завод от 2-го массов.

тиража). Заказ 1575

Цена 6 р. 60 к.

Типография «Красное знамя»

изд-ва «Молодая гвардия».

Москва, А-55, Суцесвская, 21.



Пережившим адовы мучения  
и выстоявшим посвящаю эту книгу.  
*Автор.*

## Глава I

1

О ткуда-то справа докатывался гул артиллерийской перестрелки. Звуки были тугие и круглые, как рокот уходящей грозы, и еще раньше, чем они долетали до меня, земля содрогалась. Мне временами казалось, что по ней кто-то невероятно огром-

ный лупил чудовишным цепом, и она от этого, мучаясь и вздыхая, вздрагивала.

В лесу притаился наш артиллерийский дивизион. Бойцы отдыхали, по очереди мылись в ленивом илистом ручье. Сквозняки растягивали между кустами нашатырную вонь прелых портянок.

Подвернув под голову руки, я лежал на траве лесной опушки. В зените висело одинокое облачко, белое до рези в глазах. Над ободранным, покореженным лесом чуть слышно вздыхал ветер. Он задевал листву, и она в ответ начинала ему шепотом жаловаться. Но ветер пролетал, и листва недоуменно умолкала, так и не успев высказать своих горестей.

За долгое время выпал редкий час передышки. Я наслаждался покоем, шелковистым холодком травы и бездонной синью неба, чуть-чуть подернутого на западе мутной дымкой.

— Спишь или думаешь?

Я не слышал шагов. Голос прозвучал неожиданно, разорвал цепочку моих мыслей. Не очень охотно я повернулся в его сторону. На пне с божьими коровками сидел командир батареи Осипов, жевал губами длинный травяной стебель, и он, раскачиваясь, упруго подбрасывал остистый короткий колосок.

— Ты чего такой мрачный?

— Да так... Тошно... Все Александровку вижу.

— М-да, такое забудешь не скоро.

Когда мы дней десять назад ворвались в это большое село, еще дымились головешки догоравших пожарищ. На высоких воротах Дома культуры висели трое. Смердный ветер чуть поворачивал их из стороны в сторону, как бы показывая миру обезображенные удушьем лица. У одного из повешенных узел пришелся за ухом, и оттого он наклонил к плечу голову, словно прислушивался к чему-то, слышному лишь ему одному. Ветер играл светлой прядью волос и приколотым к груди лоскутом бумаги с безграмотной надписью: «Партизан». Листок то трепетал на ветру, пытаясь улететь, то покорно и мертво обвисал на груди казненного.

В нескольких метрах от виселицы на траве за-

пеклись густые мазки бурой крови. Над мертвым человеком, все еще стянутым по рукам и ногам обрызками троса, сидела простоволосая седая женщина, тихо стонала и причитала без слез, ослабев от непосильного горя. По опухшему лицу трупа ползали прилипчивые зеленые мухи, и женщина сгоняла их вялыми взмахами коричневой сморщенной руки...

И вот Осипов, очень впечатлительный, так и не смог отделаться от виденного. Он ходил подавленный, мрачный, иногда вдруг беспричинно закипал злобой и тогда походил на астматика, мучимого удушьем.

На противоположной стороне поляны, подминая сучья, умащивались «катушки». Рядом с облачком появилась «рама»\*.

— Теперь жди гостей... — буркнул Олег и зло выругался.

Под брюхом «рамы» лопнуло несколько шрапнелей, и она, скользя к фронту, бросилась наутек. По ее следу улеглись кудрявые взрывы, белые, как хлопок. И в небе уже висело не одно облачко, а много.

Запыхавшись, прибежал вестовой. Я услышал его шаги и подумал: «За мной», — но мне не хотелось вставать, в теле еще не рассосалась усталость, она прижимала меня к прохладной траве лужайки.

— Разрешите доложить?

— Что там?

— Вас к командиру дивизиона.

И с этой минуты все закружилось, смешалось, все встало с ног на голову.

Наш прорыв на Харьков свернулся. Мы, как улитка в ракушку, спешно оттягивались к исходным позициям. За сутки проделали восьмидесятикилометровый марш и с ходу заняли оборону по длинной заболоченной речушке.

На том берегу, в Николаевке, окопались немцы. На этом берегу в Ново-Николаевке мы спешно закапывались в податливый чернозем, перебрасывались

---

\* Так называли фронтовики немецкий двухфюзеляжный разведывательный самолет.

с немцами «визитными карточками» — одиночными снарядами.

Ночью немцы жгли осветительные ракеты, сыпали вдоль фронта цветной горючей трассирующих очередей.

А к вечеру следующего дня случилось что-то непонятное. Суматошно отступила пехота. Мы едва успели вывезти пушки. Ездовые во всю мочь нахлестывали лошадей. Я бросился на лафет орудия, вцепился в него, казалось, не только руками, но и зубами, дико встряхивался на ухабах и слышал, как по бронешитку лупят автоматные пули бегущих позади немцев.

Выбыл из строя командир дивизиона. Кто-то видел, как он упал рядом с окопчиком, и, когда падал, лица у него уже не было: краснела сплошная рана. Я принял командование остатками дивизиона.

Так же неожиданно политрук Сапожков — тихий многосемейный учитель — стал комиссаром дивизиона. В ответ на приказ о его назначении он только развел руками и грустно улыбнулся.

Два дня прошли в толчее на месте. Немцы не наступали. Мы нерешительно топтались перед ними и, похоже было, не знали, что делать.

На третий день утром офицер связи штаба дивизии передал пакет с устаревшими приказами и устное распоряжение явиться к 12.00 на совещание в штаб артиллерии. Штаб стоял в деревне Лозовенька.

На своей Мине, поджарой высокой донской кобылице, восемь километров до деревни я проехал быстро. Все это время меня не покидало чувство, что еду по огромному перенаселенному табору: повозки, машины, орудия, «катюши»... И между ними, как растревоженный злой муравейник, — люди.

В Лозовеньке штаба уже не оказалось. Я разыскал хату, в которой он был вчера, и, не зная, на что решиться, сел на ступеньках расшатанного крыльчика.

Над деревней повисла шестерка «юнкеров». Нацелились. Воя сиренами, понеслись к земле. Из-за дальних хат ударили в небо черные столбы бомбовых взрывов. «Юнкеры» выходили на второй круг.

Привязав Мину к перилам крыльчика, я опрометью бросился в погреб, сел кому-то на голову. И почти в тот же момент близко взорвалась бомба. Бревна над погребом подпрыгнули, из щелей посыпались потоки земли. Оглушенные, мы притихли. Я слышал судорожное дыхание над ухом да шепот не то молитвы, не то проклятий.

Взрывы отдалились.

Когда я выбрался из погреба, Мины у крыльца не было. На перилах чернел завязанный мною ременный узел. Края повода были срезаны ножом.

И мне вдруг стало до отчаяния ясно, как я ничтожно мал в этой многотысячной толчее людей.

Ночью все сразу заговорили об окружении. Само это слово было зловещим, страшным.

Наутро запылали вороха документов. Копоть пожаров стлалась по степи. Не стало боеприпасов. Кончилось продовольствие. Прекратилась вывозка раненых.

Окружение это назвали Харьковским. Случилось оно в конце мая 1942 года.

Над черной степью повисла однобокая луна. Степь гудела. На прорыв шло скопище людей — молча, без выстрела. Ревели моторы, скрежетали, лязгали гусеницы, гундосо вскрикивали грузовики.

Впереди и по бокам, как гигантская рыбачья сеть, колыхалась плетенка из трассирующих пуль.

Внезапно под ударами взрывов раснался воздух. На огромное тело колонны обрушился огневой вал, хлестанул шквалом раскаленных осколков.

Несколько танков, шедших в голове колонны, рванулись вперед. Припадая к земле, за ними побежали люди. Шквал огня уже носился, сатаня, по клочку горячей степи. Он оглушал людей, бросал на землю, разметывал, вдавливал лица в колючки сухостойного бурьяна.

Высокими свечами запылали машины. Лошади рвали упряжь, уносили в ночь пылающие возы.

И только позади ночь молчала, сгустилась до плотной, как уголь, черноты.

В ту ночь из окружения вырвались только танки.



Все, что могло еще двигаться, поспешно отступило в спасительную темень. На орошенном кровью куске поля остались изуродованные трупы да догорающие костры пожарищ.

С восходом солнца начинались бомбежки, и мы проклинали ровную и раскаленную степь.

Солнце жгло. Трупы раздувались. Над степью колыхалась густая дурманящая вонь. Мы с нетерпением ждали ночи, но она была коротка. Опять наступил рассвет.

И вместе с солнцем появились «юнkersы». На этот раз мне уже не казалось, что бомбы обязательно попадут в меня. Я не успел подумать об этом. Столб огня вырос из земли совсем рядом. Поднял, крутнул и, размахнувшись, ударил обо что-то очень жесткое. Теряя сознание, я почувствовал, что проваливаюсь, лечу в беспредельное черное пространство. Потом движение прекратилось, я будто упал в воду, и в тот же миг все кончилось.

Пришел в себя на дне оврага. Я его узнал сразу, потому что он был единственным на нашей Малой земле. В овраге разместился медсанбат. В него сносили раненых, и, несмотря на то, что по краям были выложены знаки Красного Креста, немцы бомбили его чаще и упорнее, чем другие места.

Вновь надо мной ходили по кругу самолеты с черными крестами на крыльях. В ушах гудело. В груди билось настолько огромное сердце, что оно не помещалось в ней, распирало ребра. От этого тело казалось чрезмерно тяжелым, сплетенным из одних только нервов, ноющих каждый на свой лад.

Жгло солнце. Мучительно хотелось пить. Воздух стоял неподвижный, густой и липкий. Меня мучило.

Наискосок от меня по скату оврага медленно сползал раненый. Он то затихал на секунду, то, набрав силы, выл. Вой этот — однозвучный, стенящий — лез в каждую клетку мозга и тела, точно сверлил. Раненый заталкивал под гимнастерку синеватые внутрен-

ности, но они, извиваясь меж пальцев, вываливались в жидкую от крови грязь.

Собравшись с силами, я повернулся на бок. При- тихшая боль хлестко ударила по ране, вызвала мел- кую изнуряющую дрожь.

Преодолевая подступающее беспмятство, мед- ленно пополз наверх, цепляясь за комки пересохшей глины.

Внутри жгло, будто в меня опрокинули жаровню раскаленных углей и они, рождая новую боль, изде- ваясь, перекатывались по пустому животу. Боль не хотела отпустить, держала меня в неудобных жест- ких рукавицах, однако я уже навалился грудью на метелки прошлогоднего бурьяна, и едва уловимый ве- терок опажнул легким дуновением взмокшее тело. Успел заметить, что солнце свалилось куда-то вправо, и вновь потерял сознание.

## 2

Вечером на меня наткнулся Осипов. Он тоже ра- нен. На грязном бинте рука подвешена к шее, и дру- гой рукой он поддерживал ее снизу, непрерывно укачивал, как мать грудного ребенка. Он молчал. Только один раз обронил:

— Навоевались...

Он вылил из фляги мне в рот остатки теплой, про- тивной водки и заставил съесть сухарь. Сухарь был твердый как камень и вонял пушечным маслом. Грыз я его долго — часа два — вперемежку с дре- мотой. Надо мной сидел Олег, непрерывно укачи- вал свою руку и раскачивался сам. С неба подслепо- вато моргали звезды. В стороне Донца басовито за- гавкали пушки: значит, снова пошли на прорыв.

Проходила ночь. Едва наметилась зеленоватая заря. В нескольких шагах от нас — группа окружен- цев. Одни подавлены, другие возбуждены — все еще во власти последнего боя.

За спиной скрипел бесцветный нудный голос:

— Какому тупице пришло в голову отдать приказ выходить малыми группами?! Мало того, что не про-

думали операцию, да еще один промах другим подперли. Что за чертовщина?

Голос недоуменно замолчал. Кто-то досадливо сплюнул сквозь зубы.

— Да. Чертовщи-и-ина...

По сиплому прокуренному басу я узнал подполковника Перепечая — хорошо мне знакомого командира артиллерийского полка.

Кто-то насмешливо бросил:

— Приказы командования не обсуждаются.

— А выполняются! — подхватил другой голос.

— Довыполнились!..

Перепечай сидел в неудобной, скрюченной позе и, положив подбородок на колено поджатой ноги, грустно смотрел вдаль. Он обернулся к сидевшему чуть поодаль майору, заросшему до глаз темной бородой.

— Я во всем этом не вижу ничего неожиданного. Окружения следовало ожидать.

— Почему ты так думаешь?

— Еще за месяц до нашего наступления я уже знал, где оно будет и когда будет. Думаю, что и немцы узнали о нем, — сказал он горько. — Немцы выставили перед нами тактический заслон. Мы его смяли и бросились в прорыв очертя голову. Как только мы втянули в него все, что могли, немцы сомкнули клещи. Просто!

— А ихние потери?

— Э-э-э, дорогой, теми частями они пожертвовали сознательно. А теперь видишь, что сделали?

— Вижу, — согласился майор. — Вижу, будь они прокляты!

— Что-то долго с нами возятся. — Перепечай кивнул в сторону немцев. — Обороняться ведь один черт нечем.

Никто не ответил. Перепечай, прищурившись, глядел на светлую полоску над горизонтом.

— Умереть в бою — честь. Мертвые сраму не имут. Пленным достанется хуже, чем мертвым. На них все будут валить: и измену и позор поражений...

Каждый из нас думал о том же. Плен? А может, лучше всадить в себя пулю и разом покончить с муками — и теперешними и будущими?

Вспомнилась Александровка. И, будто читая мои мысли, толкнул меня Осипов.

— Дом культуры не забыл?

— Боюсь, Олег, с нами будет не лучше.

На меня внимательно посмотрел Перепечай.

На его пропотевшей гимнастерке рдели два ордена боевого Красного Знамени и медаль «XX лет РККА». Один орден новенький, блестящий, другой — с потертой временем эмалью. Лицо и шею прорезала сетка крупных морщин. У околыша фуражки белела седина. Но он был крепок, по-крестьянски широк в поясице, кражист.

— Думается мне, сегодня нас начнут хватать... Дожились...

— Может, и не схватят, — возразил майор. — А ты все ноешь? Не осточертело еще? Доживились! — передразнил он старика и уперся в него воспаленными глазами. — Вздумал стреляться, так какого черта лирику разводишь? Всю душу из меня вымотал. Ходишь за мной, уговариваешь. А я в попутчики на тот свет не гожусь. Рано! К черту! Я не хочу себя убивать. Понял?

— Михаил Иванович! — Перепечай, кивнув в нашу сторону, укоризненно посмотрел на майора.

— Да ведь тошно, пойми ты, тошно слушать, стыдно! Кадровый командир... Эх, ты-ы-ы...

— Именно потому и боюсь плена. Не желаю. Не же-ла-ю! — повторил он отдельно, с напором. — Страшно мне на старости лет эдакий позорище на себя валить. Умереть легче. Ты еще за мамкин подол держался, когда я попал к ним в первую войну. Так тогда я за «Русь, царя и отечество» воевал, с меня, как со святого, и взятки были гладки. А теперь? Ты-то меня понимаешь?

— Понимаю, — примирительно прогудел майор. — Так я ведь и не зову тебя в плен сдаваться.

— Что же ты предлагаешь?

— Единственно, по-моему, правильное: оборо-

няться до последней возможности. Не вижу смысла в самоубийстве, не сочувствую этому. Да и не много в том героизма, и это, прости меня, только немцам помощь. Сдаться в плен — тоже плохо. Но коли уж возьмут живым, надо бороться с врагом и там, у него в тылу.

— Н-не знаю, может, ты и прав по-своему, — в раздумье ответил подполковник. — Вон, смотри, заря загорается... — Упираясь руками в колени, он тяжело поднялся. — Пойду, пожалуй.

— Куда?

Перепечай неопределенно махнул на восток, слегка горбясь, побрел навстречу солнцу, медленно переставляя ноги, обутые в запыленные солдатские сапоги.

— Погоди, я с тобой.

Майор догнал его, и дальше они пошли рядом, тихо переговариваясь.

Каждый по-своему переживал этот разговор, невольными свидетелями которого мы оказались. Обычно неунывающий, жизнерадостный, Осипов сидел мрачный, молчаливый. Его задорный рыжий хохолок на бронзовой коже высокого, с зализанами, лба казался кусочком сваявшегося войлока, грязного, постороннего.

Я наблюдал за ушедшими. Мысли разбегались, путались. На душе было тошно и пусто.

Майор и подполковник отошли уже на порядочное расстояние и, видимо, все еще продолжали спор: то расходились на несколько шагов, то сходились снова. Майор гневно жестикулировал. Потом разговор, очевидно, стал спокойнее. Они постояли некоторое время друг против друга, двинулись дальше, и майор, дружески обняв старика за плечи, повернул в нашу сторону.

Тем временем прежний скрипучий голос продолжал выжимать слова, и они раздражали, точно кто-то царапал по стеклу гвоздем:

— Да, жестоко сказался результат нашего шапкозакидательства, чрезмерной самонадеянности. Как же: Бить врага на его территории... Вот и колошматят

нас целый год на нашей земле. А мы только и знаем, что отбиваемся да угрожаем.

— Загибашь, капитан, — возразил кто-то сердито. — Слюни распустил, как пьяный извозчик. Не бывает войн без поражений.

— Это сейчас так говорим. А раньше? Разве нас учили отступлению? Ни черта подобного! Только вперед! На ящике с песком, на маневрах — везде только вперед. Вот немцы нас сейчас и учат. По-настоящему! Крепко учат!

Приглушенно стукнул выстрел. Но раньше, чем звук долетел до нас, я увидел, как неловко сложился в поясе Перепечай и, подогнув колени, ткнулся головой вперед.

Возвращавшийся к нам майор бегом кинулся назад к Перепечаю. Олег вскочил, как подброшенный пружиной.

— Застрелился... — обронил он горько и победил вслед за майором.

— Готов, — процедил он, возвратясь. — Слишком похоронно смотрел старик на будущее. Майор-то был прав...

— Подполковник тоже прав, — перебил его все время молчавший пожилой старшина. — Мужественный человек, крепкий. Таких не согнешь, можно только сломать.

Он снял фуражку с надломленным козырьком. Остальные последовали его примеру.

Вернулся майор. Ни на кого не глядя, подрагивающими руками положил перед собой документы Перепечая, на них возложил свои и надтреснутым, чужим голосом предложил:

— Ну что же, братцы, давайте... погреемся...

С болью в сердце, будто отрывая от себя частицу, я выложил удостоверение личности и комсомольский билет — маленькую книжечку, красную, как сгусток крови.

Молчаливый старшина держал свои документы в руках долго, будто взвешивая их в широких ладонях, потом бережно сложил их в общую небольшую кучку.

— Гражданская смерть. — Он усмехнулся криво, вымученно и отвернулся.

Майор переложил документы домиком и осторожно по-хозяйски поджег. Оранжевый язычок робко лизнул обрез бумаги, потом пламя вспыхнуло ярко, осветило грустные лица и стоящего перед костром на коленях майора.

— Да. Жизнь. Жаль старика. — Майор вздохнул, похоже — застонал. — Поспешил. А ведь человек какой был!..

На востоке взошло солнце, возвестило начало нового дня. Никто из нас ему не был рад.

### 3

Сарай длинный, приземистый, ободранный. Сквозь дыры в соломенной крыше внутрь глядело солнце. Навстречу ему с земляного пола поднимались миллиарды пылинок. От этого казалось, что солнечные столбы косо подпирают ветхую крышу, местами провисшую вниз пучками закопченной соломы.

Под обвалившейся глиной выпирал хворостяной каркас, будто конские ребра. В углу врос в землю приземистый кузнечный горн, тускло отблескивающий окаменевшей сажей. Над горном, как засаленный балдахин, висел измятый вытяжной короб.

Голубыми пластами колыхался табачный дым.

В длинном прямоугольнике входа надоедливо мелькала серая фигура часового. Он расхаживал влево-вправо и словно бы играл со своей уродливо короткой тенью: то пытался от нее удрать, то наступал и топтал ногами. Иногда он останавливался, заглядывал прищуренными глазами внутрь сарая, перекладывал в руках лоснящийся смазкой автомат. Ворот суконного мундира распахнут, подвернутые рукава обнажили до локтей покрытые густой золотистой растительностью цепкие руки.

Привалившись плечом к косяку, он принимался высвистывать примитивную бравурную песенку, построенную на трех-четырёх звуках.

Ему было жарко, скучно.

Вдруг лицо часового оживилось. Он шагнул вперед, схватил пожилого военврача за руку и дернул за ремешок часов. Доктор рывком высвободил руку, отступил назад и, тяжело переведя дух, закивал головой:

— Гут, гут...

Физиономия часового расплылась в довольной усмешке. Врач расстегнул ремешок часов. Немец с готовностью протянул руку, но врач, отступив на шаг, с силой ударил часами об землю.

На лице грабителя еще блуждали остатки растерянной глупой улыбки. От загорелых щек отлила кровь, они стали землисто-серыми и вслед за тем покрылись багровыми пятнами. В бешенстве он наставил в грудь врачу автомат. Враз стало так тихо, что было слышно, как в ушах шумит кровь.

— Вас ист лос? — резко донеслось от входа.

Часовой обернулся, шелкнув каблуками, вытянулся, замер.

— Ахтунг!

Пригнув голову, в проеме входа стоял высокий пожилой офицер, затянутый в безукоризненно пригнанный светлый китель. Он рассматривал пленных холодными, как ледяшки, глазами, медленно поворачивая на высокой шее сплюснутую с боков голову. На плечах офицера витые погоны, между концами воротника, украшенного серебром петлиц, примостился черный разлапистый крест. Длинная голова казалась еще длиннее от высокой тульи фуражки, вздыбленной резко кверху. Чуть повернувшись, он что-то сказал и в ту же секунду раздвоился: из-за спины шагнул такой же высокий поджарый офицер, только значительно моложе. Под вздернутой бровью блеснул монокль.

— Господин полковник спрашивает, нет ли у вас претензий?

Все молчали, с неприязнью рассматривая лощенные фигуры офицеров.

— Нет ни претензий, ни вопросов? — повышая голос, спросил переводчик. Пренебрежительно сложив губы, добавил: — Вы всем довольны?



Народ в сарае зашевелился, послышались отдельные возбужденные голоса. Из толпы вышел подтянутый молодой подполковник.

— В этом грязном сарае вы заперли более сотни русских офицеров. Среди нас есть раненые, нуждающиеся в немедленной госпитализации. Пищи нет. Воды нет. Оправиться не выпускают. Наконец, в сарае множество вшей. В нем невозможно содержать людей. Мы протестуем.

Переводчик скороговоркой пересказал полковнику, и тот, презрительно улыбнувшись, ответил:

— Для пленных есть специальные лазареты. Всему свое время. Будут отправлены и ваши раненые. Пищу получите вечером. Мы не имеем для вас специальных запасов продовольствия. Не ждали вас. Что еще?

Подполковник коротко доложил о происшествии с часами и, строго глядя на переводчика, закончил:

— Подобный случай несовместим с понятием современной армии. Это грабеж, мародерство. У нас оно наказывается как самое тяжкое преступление.

Лицо переводчика вытянулось. На скулах проступил пятнистый румянец, близорукие глаза прищурились, забегали по лицам.

Полковник надменно вскинул голову и, выдвинув острую челюсть, заговорил отрывисто, громко, бросая в толпу непонятные каркающие звуки.

— Господин полковник не верит. Подобные разговоры мы расцениваем как попытку опорочить честь доблестной германской армии. Мы предупреждаем, что подобные разговоры могут нежелательно закончиться для лиц, их распространяющих. — Переводчик зло посмотрел на пленного подполковника. — Понятно?

Полковник заговорил вновь, резко шелкая стеклом по ладони.

— Сейчас вам необходимо выбросить из головы коммунистическую начинку, забыть о том, что когда-то вы были офицерами. Сейчас вы — пленные. И только. Вы обязаны беспрекословно выполнять все, что от вас потребуется. Всякое неповиновение повле-

чет за собой тяжелое наказание, даже смерть. Лучшие граждане германской империи жертвуют собой в победоносном походе против коммунизма, — стек полковника значительно застыл над головой, — вы заполните их пустующие места в хозяйстве и честным трудом заработаете себе место в будущем обществе.

Переводчик закончил торжественные подвывания и снисходительно улыбнулся:

— Надеюсь, это вам понятно?

— Понятно... — ответил чей-то одинокий голос.

— Коммунистам и комиссарам выйти вперед!

В тишине слышалось только тяжелое дыхание сотни людей. Прошло несколько томительных минут. Полковник насмешливо улыбнулся, сказал почти весело:

— Напрасно! Позже этим вопросом займутся специальные люди. Лучше бы уж сразу...

Немного погодя переводчик снова спросил:

— Коммунистов и комиссаров нет? Хорошо. Вопросы? Тоже нет? В ближайшие дни вас отправят в лагерь.

Четким шагом офицеры вышли из сарая. Притихшие пленные некоторое время еще стояли, опустив головы, затем медленно разбрелись по своим местам.

— Да-а-а, — протянул доктор, присаживаясь рядом. — Заработать место в будущем обществе...

Он достал пестрый кисет и стал сворачивать папиросу. Руки дрожали, махорка сыпалась с косо оторванного клочка бумаги.

— Чуть было не заработал.

Доктор долго сидел у стены, незряче уставясь в какую-то далекую-далекую точку, и немилосердно чадил махоркой, свертывая самокрутки одну за другой.

Успокоившись, обернулся ко мне:

— Ну что, больно?

— Больно.

Я попытался приподняться, но доктор легким нажимом ладони опрокинул меня на спину.

— Не спеши. Посмотрим, перевежем... Врачи — верные помощники смерти. Ведь так? — Он улыб-

нулся. У глаз собрались пучки добрых морщинок. — Присохло малость.

От боли потемнело в глазах.

— Та-та-та.... Тихонько. Не дергайся. — Врач уже нагнулся над сумкой в поисках нужных инструментов. — Темновато... И вовсе не больно. Это кажется только. Разве больно? — спросил он, заглянув в глаза.

— Н-н-нет... Т-т-терпимо, — выдавил я сквозь зубы.

— То-то, брат, что терпимо. Господь терпел и нам велел.

Врач разговаривал и ковырялся в ране еще минут пять. Боль была очень сильной, временами нетерпимой, но врач сыпал шутками-прибаутками, и я невольно прислушивался к ним и терпел. Он ловко вскрыл индивидуальный пакет, наложил повязку, и действительно боли не стало, наступило состояние блаженного покоя.

— А вообще пустяк. До свадьбы заживет.

— Нет, доктор, скажите серьезно: надолго ли?

— Да кто ж его знает, голубчик. Если бы нормально... Закуривай, — он протянул мне уже знакомый, чуть похудевший кисет. — У кого табачок — у того праздничек. — Доктор обернулся к Олегу: — Чего сидишь? Разматывай, пока покурю. Перевязать-то надо?

— Надо. Только, доктор, долго мотать придется. — Олег кивнул на длинную, в палец толщиной, самокрутку.

— А тебе что? Мотай себе. Спешить нам теперь некуда.

Доктор обошел всех раненых и только потом устало опустился с нами рядом, бросив под себя опустевшую санитарную сумку. Подсиненные веки закрылись, обвисли плечи, весь он стал как-то суше, меньше, точно съежился.

— А ведь он старик, — шепнул я Олегу.

— Кто? Доктор? Да, не молодой. Война никого не жалеет.



## Глава II

1

рассвета по бесконечной степи тянулась колонна пленных, узкой лентой связала она противоположные концы горизонта.

Солнце стояло в зените. На землю лились отвесные потоки жара. По сухой коже степи пошли глубокие морщины — трещины.

Разбитый колесами грейдер, как периной, укрыт слоем пыли; взбитая тысячами ног, она повисла в недвижимом воздухе удушливым облаком.

Ядовитый клейкий пот жег до крови, смешивался с пылью, засыхал жесткой коричневой коркой.

По обочинам тянулась разреженная цепь конвоя.

Молодой раскрасневшийся унтер время от времени наезжал на колонну вздыбленным буланым жеребцом. Пленные шарахались под приклады пешего конвоя. Солдаты хохотали, подавали советы унтеру, а он, возбужденный своим «героизмом», снова и снова наезжал могучей конской грудью на сломанный строй. Несколько таких же головорезов последовали его примеру, втапывали в дорожную пыль подмятых лошадьми людей. Бухали винтовочные выстрелы: добивали упавших.

Колонна подтягивалась, двигалась быстрее. Еще гуще над нею вставала пыль.

С самого начала марша я висел на плечах Осипова и доктора. Рана болела. Иногда сознание заволакивалось красным туманом. Тогда я на какое-то время переставал чувствовать свое тело. А когда сознание прояснялось, я пытался вести счет пройденным шагам. Сто... Двести... Пятьсот...

Время тянулось нескончаемо. Солнце как будто за что-то зацепилось и почти не двигалось. Пыль хрустела на зубах, в горле сухо, язык шершавый, как суконная тряпка.

Втянулись в село. Широкая улица заросла молодым бурьяном, только посредине лысела малоезженная колея. Ободранные хаты чернели оконцами, кое-где торчали колья сожженного за зиму тына.

Из дворов выбегали женщины, гумаками загоняли в хаты детей. Потом появлялись на улице вновь, на ходу заворачивая в тряпицы съестное. Конвой отгонял их прикладами, но они перебрасывали еду через головы солдат и потом стояли в стороне, пригорюнившись, утирали углом платка горькую бабью слезу.

Вновь с остервенением замолотили приклады. Тихое село захлестнула неистовая чужая брань, стоны, выстрелы. Глядя на нас, люди плакали, а мы не могли поднять головы: давила усталость и стыд.

К вечеру показались красные пыльные крыши станционных построек. Перевалившись через железнодорожное полотно, колонна влилась в отгороженный колючей проволокой кусок поля. Посредине во впадине горело закатными красками маленькое озерко. Берега его — топкая грязь.

При входе толстый немец отмерял по горсти риса, перемешанного с мышиным пометом и глиной. Полицай в штатском с белой повязкой на рукаве сипло матерился, выкрикивал, что рис нам придется варить самим. Кухонь в лагере нет и вообще мы — мразь и типы, которых кормить — ненужная роскошь.

Люди падали на сырую землю где пришлось.

— Пришли... — Доктор опустился на колени, потом лег.

— Пришли, доктор. И до Берлина дойдем, — глухо пошутил Олег. Он сорвал с лица марлевую повязку, покрытую толстым наростом пыли. — Чтоб их черти в аду гоняли, собак! Километров тридцать отмахали без привала. А, доктор?

— Ладно, Олежка, отдыхай. Наговориться успеешь. — Доктор блаженно прижался щекой к шероховатой земле.

В сумерках все тот же долговязый полицай предупредил, что с наступлением темноты все должны лежать. По каждому поднявшемуся будет открыт огонь без предупреждения.

Побежденный усталостью, лагерь притих, забылся в тревожном сне.

## 2

В деревне горласто пропел петух. Взбрехнула собака. Петух еще прокричал несколько раз и, не получив поддержки, разочарованно умолк. Его полудночная песня без остатка растворилась в глухой тишине.

И вдруг в нее нагло ворвалась автоматная очередь. Тонко присвистнув, пули пронесли над спя-

щими в черную степь. Сразу лопнула тишина, рассыпалась дробным перестуком автоматов. В углу лагеря захлебывался ручной пулемет. Сквозь россыпи выстрелов прорывались голоса солдат, отрывистая команда и лай овчарок. У проволочного ограждения суетился конвой. Мелькали голубые лучи карманных фонарей, резали на куски темень, выхватывали из нее проволоку, столбы и белые лица ошалевших спросонья людей.

Спустя несколько минут все утихло так же внезапно, как и началось. Вдоль проволоки перекликались часовые, бряцали на ходу гофрированными банками противогазов. Стонали раненые.

К утру все выяснилось. Пересыльный лагерь Тарановка был построен наспех. Пленные сразу заметили и однорядную изгородь, и отсутствие костров, освещающих проволоку, и сравнительно слабую охрану лагеря.

Поздней ночью, подкопавшись под проволоку, кто-то выполз на волю. За ним другой, третий, пока часовой не услышал возню у проволоки. Автоматная очередь прикончила десяток человек, уложив их рядом с выходом на волю.

Утром в сопровождении мотоциклистов к лагерю подкатил открытый легковой автомобиль. Из него не спеша выкатился толстый желтолицый офицер. Двое других, худых и подтянутых, встали в отдалении, почтительно сломившись в поясищах. Рыжий лейтенант — начальник пересылки — подбежал к толстяку, напряженно замер с подрагивающей у козырька рукой.

Чуть погодя подъехал грузовик. С кузова солдаты стащили троих пленных, уже мало чем похожих на людей. Вместо лиц — заплывшие маски, из-под ошматков одежды, бурых от крови, проглядывали изуродованные кровотокающие тела. Привезенных поставили в центре огражденного штыками круга, подвели к месту ночного происшествия.

Человек двадцать солдат бегом окружили лагерь, нацелили упертые в живот автоматы на толпу пленных. Двое принесли лопаты. Беглецов заставили

рыть яму. Толстяк эсэсовец, осмотрев с брезгливой миной трупы у проволоки, что-то приказал коменданту.

Размахивая суковатой дубиной, по лагерю метался долговязый полицай.

— Строиться! Строиться! Становись! — Голос его срывался на фальцет, на шее вздулись синие жилы. — Равня-а-а-айсь! Смирна-а-а!

Мы построились лицом к проволоке. За нею, просунув пальцы рук за ремень, натянутый на животе, как на бочке обруч, вдоль строя медленно прошелся эсэсовец, пытливо всматриваясь в лица угрюмо молчавших людей.

— Мы не будем с вами миндальничать. За побег — смерть. — Полицай переводил, изогнувшись в дугу. — Сегодняшний побег не только побег солдата. Каждый бежавший солдат — большевик!

Эсэсовец от натуги покраснел.

— Мы не дадим распространяться большевистской чуме. Сейчас поймали троих. К вечеру поймаем остальных. Эти люди сейчас будут расстреляны. Это ожидает каждого, кто осмелится бежать из лагеря.

На краю ямы выросстал бугорок сырого чернозема.

Через несколько минут на него поставили беглецов. Эсэсовец махнул рукой в перчатке. От длинной очереди воздух раскололся на тысячи грохочущих кусков. Строй качнулся, будто пули прошлись по его большому напряженному телу. По рядам пронесся приглушенный стон.

— Запомните! Так будет с каждым из вас! — уже от себя прокричал посеревший полицай. — Ра-зойдись!

К вечеру следующего дня подали эшелон. Пленных построили, отсчитали по двенадцать пятерок и повели на погрузку, сохраняя интервалы между группами. Нас ждали «телятники». Казалось невероятным, что в маленькие двухосные вагончики



немцы собираются втиснуть по шестьдесят человек. Но втиснули. Приклады помогли.

Громко провизжав блоками, закрылись двери.

Ночью было еще терпимо. Но днем от крыши несло жаром раскаленной духовки. Воздух, спертый и густой, стоял в вагоне неподвижно, обволакивал потные тела точно клейкой горячей простыней.

Эшелон отправили из Тарановки только через сутки.

На остановках пленные пытались просунуть сквозь проволочную сетку пустую флягу и просили, умоляли часового:

— Гер постен, васер... Васер...

Немец безучастно прохаживался вдоль вагона. Иногда, когда ему особенно надоедало это тягучее «ва-а-асер», бросался к вагону, что-то бешено рычал и нацеливал в окошко вагона дуло автомата.

Минуты растянулись в часы, день — в год.

На ходу перестукивались колеса, перекачивались по спинам стальных километров. В вагон залетал чуть заметный ветерок. И когда колеса стучали безостановочно и долго, в глубине души теплилась надежда на скорый конец пути.

На второй день жажда стала непереносимой. Со всем закрывая доступ воздуху, в окнах беспрерывно торчали головы. На стоянках стонали-плакали охрипшие голоса.

— Ва-а-асер... Ва-а-асер...

За стеной однообразно тягуче пиликала губная гармошка. Часовой уж не сходил с тормозной площадки, и мольбы пленных пролетали мимо него в бесконечную раскаленную степь.

Стоянки не было долго. Доктор снял с шеи медальон, близоруко всматривался в раскрытые крохотные створки. Потом выковырнул ногтем фотографии, уйдя думами куда-то очень далеко от нашего вонючего вагона, молча пересыпал в ладонях тонкую вязь золотой цепочки.

На очередной стоянке он подошел к окну. Магический блеск золота купил внимание часового. Начался торг. Позже, наблюдая за фашистскими

солдатами, я убедился в полной их продажности. Они никогда ничего не делали из добрых побуждений, но если рассчитывали на вознаграждение и ничем не рисковали — могли сделать многое.

Так и случилось. Доктор опустил на ремне две фляги; спустя несколько минут поднял их наполненные свежей водой, стекавшей по почерневшему сукну чехла.

— Это больным и особенно слабым, — Андрей Николаевич протянул флягу в лес жадно протянутых рук. — А это мне и раненым. — Вторую флягу он бережно поставил в угол. — Часовой говорит, что он может дать воды еще... Если ему заплатят.

### 3

Четвертый день пути. На одной из станций мы стояли очень долго. Из окошка вагона виднелись разбитые станционные постройки. За ними в легкой знойной дымке маячили силуэты раскинувшегося города. Жизнь кругом будто замерла. Только одуревший от скуки часовой время от времени надоедливо пиликал на губной гармошке.

В вагоне тоже тихо. У стенки — несколько трупов, сложенных друг на друга. Рядом с ними в беспомощности метался белобрысый парень, скрипел зубами, мычал, тарасил налитые кровью глаза. Связанный по рукам и ногам, он корчился в конвульсиях. Широкая грудь с хрипом выталкивала булькающий воздух. Вокруг разлетались пузырьки розовой пены.

Остальные пленные сбились во второй половине вагона. Воздух превратился в густой зловонный смрад гниющих трупов и человеческих испражнений.

После длительной стоянки поезд дернулся и, словно спотыкаясь, прошел еще два-три километра. Остановился. Послышались громкие голоса команды, визг открываемых дверей.

— Лос! Раус!

Наконец-то приехали! Брезгливо морщась, солдаты лазили в вагоны, выбрасывали из них полуживых людей. У многих не было сил подняться. Таких добивали прямо на дорожном полотне.

Ноги с трудом выносили тяжесть тела. Свежий воздух кружил голову. Пленные держались друг за друга и не верили в реальность твердой почвы под непослушными, ватными ногами.

Нас вновь построили пятерками, пересчитали, и колонна, уменьшенная переездом на добрую четверть, двинулась к лагерю.

Впереди показались большие кирпичные дома, надежно огороженные рядами колючей проволоки. У входа пестрела полосатая будка и такой же черно-белый полосатый шлагбаум.

Раненых увели в лазарет. В длинном коридоре и больших комнатах, похожих на школьные классы, на полу лежали вповалку больные. Большинство их походило на скелеты, обтянутые грязно-желтым пергаментом. Казалось, что мы попали в мертвецкую.

Но это только поначалу. С нашим приходом «мертвецы» ожили, зашевелились, сдвинулись вокруг нас в кружок.

Люди с жадностью расспрашивали и слушали все, что мы рассказывали, хотя «новости» были месячной давности. Жарко заблестели глаза «доходяг», узнавших о поражении немцев под Москвой, о зимнем прорыве на Лозовую, о стабилизации линии фронта до весны 1942 года. Рассказ же об окружении под Харьковом вызвал на лицах слушателей выражение большой душевной муки.

Постепенно разговор перешел на лагерные темы. Мы не могли поверить тому, что пришлось пережить в Проскурове пленным в течение первого военного года. Но рассказы были такие бесхитростные, а вид людей такой необычно жалкий и пугающий, что мы перестали сомневаться и, поверив раз, уже верили всему, что нам рассказывали.

Немцы заняли Проскуров в первые недели войны. Старый маленький пригород Раков, находившийся за городом, оказался подходящим местом для лагеря военнопленных. Фашисты огородили его колючей изгородью. К моменту нашего приезда через лагерь прошли 60 тысяч пленных. Из них 47 тысяч отправлены за проволоку в огромные братские могилы.

Лагерный рацион состоял из 200 граммов гречишного хлеба, замешанного на прелой ржаной муке, и литра баланды — варева из свекольной ботвы и невытой гнилой картошки.

Голод, болезни, разнузданный произвол...

После раздачи пищи на дворе блока оставались десятки трупов. За «особые заслуги» дозволялось вылизать бачок после раздачи баланды. Одежда шевелилась от паразитов. Зимой разразилась эпидемия сыпного тифа. В окнах не было стекол, печи не топились. Ежедневно из казарм выбрасывали сотни погибших. Их не выносили, а просто выталкивали через окна на грязный снег, густо покрытый шлепками нечистот.

За беседой незаметно подошло время раздачи пищи.

На четверых нам дали буханочку хлеба величиной с два кулака. Один из четверки жадно ухватил ее, прижал к засаленным до блеска лохмотьям. Покопавшись, он вытащил тряпицу, какие-то деревянные палочки, связанные нитками, и похожую на нож железку. Бережно разрезав буханочку на четыре пайки, он прицеливался, уравнивал, потом воткнул в куски колышки, поднял над полом: взвешивал. Путем сравнения пайки вывешивались с аптечной точностью.

Я протянул руку за хлебом.

— Постой! — строго остановил меня деливший. — Отвернись!

Недоумеваю, я отвернулся.

— Кому? — донесся из-за спины вопрос.

— Тебе.

— Кому?

— Олегу.

Пайки раздали. И только тогда я заметил, что хлеб делят везде одинаково. В палате стоял галдеж. Отовсюду слышалось «кому?».

Способ дележки довольно странный, но справедливый. Таким он и остался в плену.

К тому времени я уже наголодался и научился ценить крошки хлеба. Дневной рацион я проглотил не заметив. Ненасытный аппетит вечно голодного человека стал преследовать меня повсюду. Даже спустя длительное время после плена, когда пищи стало более чем достаточно, я ловил себя на том, что, о чем бы я ни думал, мысли постоянно возвращались к еде.

Однообразные, серые, ничем не занятые, потянулись дни плена. Они повторялись, похожие на доски в почерневшем от дождей заборе.

По утрам трупоносы убирали умерших за ночь, посыпали пол удушливой хлоркой. Население госпиталя приступало к единственно полезному занятию: уничтожению вшей. Это тянулось до раздачи баланды. За битьем паразитов делились житейской мудростью, «травили» — ввали, жестоко спорили, нередко — до драки.

Потом раздавали еду. Этот момент носил характер некоторой всеобщей приподнятости. Оживление сменялось полудремотным оупением, и оно продолжалось уже до утра. Впереди ничего хорошего не ждало. До следующей баланды — сутки.

На третий день нашей жизни в госпитале пришел Андрей Николаевич.

— Доктор, дорогой! — бросился к нему Олег.—  
Какими судьбами?

Они обнялись крепко, по-родственному, будто не виделись очень долго.

— Ну-с, ребятки, рассказывайте, как жизнь.

— А как у вас?

Доктора перевели из карантина на работу в госпиталь. С прибытием новых партий пленных лазаретный штат пополнялся людьми взамен погибших зимой от тифа.

Прошло недели три. Рана моя затянулась. Рука Олега зажила. По целым дням мы грелись под солнцем на травянистом дворе за лазаретом.

Однажды утром к нам подсел Андрей Николаевич. Чем-то обеспокоенный, он хмурился, молча жевал губами. Мы насторожились.

— Ну, в общем вот что, друзья. Пожили — хватит. Надо и честь знать. Валяйте строить новый порядок.

— Выписываете, Андрей Николаевич? — Олег поднялся.

— Выпи-и-исываете! — передразнил доктор. — Да что я здесь, хозяин? Завтра шеф будет лазить с обходом. Этому ученому троглодиту люди нравятся только мертвые. Ваши физиономии еще не созрели до восковой бледности. Пойдете в карантин, а там уж как бог восхочет.

— Н-нда-а, — невесело протянул Олег. — Жалко.

— Жалко, Олег, у пчелки. Баланда везде одинакова. Черт с ним, с госпиталем. Топайте прочь от него и не попадайте больше. Невеселое это место.

— А вы, Андрей Николаевич?

— Ну, что ж я? Мое место именно здесь.

День прошел вяло, как на похоронах. Прощаясь, доктор сунул Олегу буханочку лагерного хлеба, бодро сказал:

— Ничего, ребята. Главное — берегите себя. Плен завтра не кончится, еще увидимся.

Глаза его были очень грустны, выдавали отнюдь не бодрые мысли.

Карантинных на работу не брали. Чуть свет выгоняли из казармы во двор, по несколько часов держали в строю на поверке. До баланды тянулась сонная одурь на солнцепеке. Перед вечером еще раз строили на поверку и, наконец, загоняли в вонючий клоповник, где даже воздух, казалось, кишел паразитами.

К нам присоединились еще двое. Один из них — низенький крепыш со светлыми вьющимися волосами и аккуратно подрубленной квадратной бородкой. Острые голубые глаза прошупывали собеседника, как бы спрашивая: «А что там у тебя глубже, в душе?» Это Василий Васильевич Гуров. Родом он из Сибири, по профессии инженер-радиотехник.

Второй — летчик-истребитель Григорий Адамов. Это крупный медвежеватый парень с чубом, постоянно спадающим на глаза. По скулам и подбородку, опоясывая лицо, протянулся широкий багровый рубец недавно поджившего ожога. В беседах он больше молчал, в споры почти не вступал, но если говорил, то под каждый довод старался подвести увесистый аргумент.

Гуров лежал, выставив в небо согнутые колени, и, смотрясь в круглое зеркальце, маленькими ножничками подравнивал бороду. Показывая зеркальце и ножницы, горько подшучивал:

— Осколки цивилизации. Дикарь подстригает бороду.

Вразвалку подошел полицай.

— Эй, борода, пойдем со мной.

— Куда?

— На кудыкину гору. Вставай!

Вернулся Гуров какой-то встрепаный, с пунцовыми пятнами на загорелых скулах. Молча лег на живот, уткнулся бородой в ладони.

— Мерзота! Зверье! Чтоб вас... — Он не выдержал, вскочил на четвереньки. Показалось — залает.

— Да в чем дело-то?

— В чем, в чем? — В глазах Гурова стояли слезы. — В жизни не переносил ничего подобного. Обидно. Зло берет. Просто лупил бы по головам...

— Кого?

— Вообще всех подряд. Подлецы!

— Начни с меня, Василь Васильич. — Олег улыбнулся, потянулся к Гурову.

— А можешь и с меня, — придвинулся к нему Адамов.

— Да идите вы к черту! Чего пристали?

— Вот это уже разговор! Теперь расскажи толком, что случилось?

— Вот и толком, — уже спокойнее заговорил Гуров. — Старший полицаи решил меня осчастливить. В обмен за предательство он предложил мне место баландера. Ему, видите ли, позарез нужна информация о настроениях пленного комсостава. Вербовал в осведомители.

— А почему именно тебя вербовал? — Олег сразу посерьезнел, насторожился. — Почему не другого?

— Конечно же, не из-за моей меньшевистской бородки, — вскипел Гуров. — Земляки мы с ним. Сукин сын!

— Хорош землячок! Ему бы морду свернуть на затылок!

— Попробуй! Своя дороже! Такого махрового гада мордобоем уже не образумишь. Поздно. Да и не в нем суть. Страшно другое: наши уж очень быстро отступают. Кажись, даже быстрее, чем в прошлом году. Немцы вышли к Дону, заняли Ростов, от него повернули на Минводы — отрезают Кавказ. Если их сейчас не остановят, значит через месяц-другой выйдут к Волге. Вы понимаете, что это значит?

— Понимаем... — Адамов запустил пальцы в чуб. — Это ближайший результат нашего майского наступления на Харьков. Открыли Юго-Западный фронт. А немцы не дураки, им палец в рот не суй.

— Ну еще бы! — Олег хмуро посмотрел на Гурова и с досадой отвернулся, будто Василий Васильевич был виновником наших несчастий. — Инициатива сейчас у них. Колошматят, аж пух из нашего Ивана летит! Но ведь мы тоже готовились к наступлению! — воскликнул он зло. — Я своими руками щупал новую технику, видел свежие пополнения. Где же все это?

— Воюют не только руками, но и разумом, — вставил Гуров.

— И все-таки техники у нас мало, — возразил Адамов. — Особенно самолетов. Вот если бы...



— К черту ваши «если бы», да «авось», да «как-нибудь»! — голос Гурова накалился злобой. — Тут что-то другое, чего я никак не пойму. Неумение, ошибки, роковые просчеты, судьба, наконец, или черт знает что. Но не может же так продолжаться вечно. Или нас пристукнут через два-три месяца, или война затянется на неопределенно долгое время. И то и другое меня не устраивает.

В словах Гурова слышались и горечь и печальный юмор: «Не устраивает». Будто нас устраивало, будто нам было легче.

— Тяжело, ребята. Слов нет — тяжело. Только отчаиваться рано. Да и вообще не следует, если даже в сто раз тяжелее будет. — Адамов говорил и шлепками широкой ладони будто придавливал слова к земле. — А тебе, Василь Васильич, не много же надо, чтобы перейти от белого к черному. Тебя плен не устраивает. А кого он устраивает? Страдания наши только начались, а мы уже в слезы. Что же дальше будет?

— Ни черта не будет. Подохнем...

— Подохнем или нет, а ты договорился до точки.

— До какой точки? — отмахнулся Гуров. — Стоило откровенно высказать то, что меня мучает, а вы уже клеите ярлык: «До точки». Поймите вы, мне больно, обидно не только за себя. Тошно стало! Год мы только и знаем, что отступаем «на заранее подготовленные позиции» и повторяем: «Победа будет за нами!» — проговорил он, кивнув головой за спину. — За нами... Мы от нее, а она догоняет. Только не наша победа...

— Брось, Гуров, — резко оборвал Олег. — От твоих разговоров падалью несет. Везде сейчас трудно. Нельзя заботиться только о своей драгоценной персоне. Ты пылинка. Нас четверо — уже песчинка, а если нас много, то это уже сила. Об этом и надо думать.

— Э-э-э, брось, пожалуйста, читать политграмоту. Попробуй здесь сколотить эту силу, и тебя вздернут раньше, чем сумеешь что-либо сделать.

— Так что же, по-твоему, надо сложить ручки



Побежденный усталостью, лагерь притих, забывшись в тревожном сне.  
(к стр. 21)

на тощем животике и ждать у моря погоды? Чего ожидать? Пока перемрем от голода? Ты принимал присягу?

— Отстань!

— Нет, ты скажи: принимал присягу?

— А без присяги ты бы думал иначе? — спросил Адамов.

— Нет, конечно, к слову пришлось. Но вот уважаемый Василий Васильевич Гуров, — Олег шутовски поклонился Гурову, — поднял лапки один раз, а теперь поднимает их вторично. Гайка слаба. Интеллигентская слезоточивость. Плен нас не освободил от борьбы с врагом. Так или нет?

— Нельзя ли потише? — спросил Адамов.

— Да укажите мне эту борьбу, — завопил Гуров, — где она, черт бы вас всех побрал? Нет ее! Даже признаков нет. А что делать мне? — Он ударил кулаком в грудь. — Наши ушли на восток — не догонишь, а на долгие годы плена меня не хватит. Что же делать-то?

— Идите, милый человек, в лагерные кровососы. Там спокойнее всего, — тихо проговорил Адамов. — Благо приглашение получил.

Гуров даже поперхнулся, поочередно обвел нас побелевшими от волнения глазами и сразу сник.

Разговор оборвался, и больше мы к нему не возвращались.

Поздно ночью, видимо взволнованный дневной перепалкой, ко мне придвинулся Олег.

— Не спишь?

— А что? Надо что-нибудь?

Спать не хотелось. В глаза будто бросили песку. Пол давил жестко, как ребристое полено. Желтый свет фонаря отштамповал на потолке косою оконный переплет. Олег задумчиво говорил, привалясь затылком к прохладной стене.

— Я смотрю на лагерных придурков — полицаяев, баландеров, старшин — и думаю: «Ведь у меня в сотню раз больше причин для измены, для того чтобы пойти на службу к немцам. Они пошли из-за брюха. У меня же причины личной мести. Отца

моего чекисты прислонили к стенке да пулю ему в лоб, чтоб голова не шаталась...»

В первую минуту я был так ошарашен, точно Олег огрел меня по голове увесистой дубиной.

— Ну, ну, рассказывай, — выдавил, наконец, я из себя.

— Не нукай. Не запряг. Придет время — расскажу.

От Олега потянуло холодком отчуждения. Я даже отодвинулся. Долго сидели молча.

На протяжении почти года фронтовой жизни Осипов был моим подчиненным. А что я о нем знал, кроме анкетных данных? Оказывается, можно иметь безупречную анкету и прикрывать ею душевную черноту. Анкета — одно, а жизнь — другое.

Как бы угадав мои мысли, Олег продолжил:

— Ты вот знаешь, что я воспитанник детдома, окончил рабфак, училище, воевал на Финском фронте. А знаешь ли ты, что мой отец при белых был комендантом порта в Новороссийске? Заняв город, красные его расстреляли прямо в порту. И свидетелей тому не осталось. Мать умерла рано. Я десятилетним сопляком пошел колесить по России. Доехал до колонии малолетних преступников. Там началась моя новая биография. Только я оторвался от тени папаши. Забыл о нем. А сейчас вот вспомнил. Ведь такое не забывается? А?

Я молчал, подавленный услышанным.

— Ты даже отодвинулся, чужак. А ведь далеко не отодвинешься — лагерь. Пойду к начальству, брякну, что ты политрук, мутишь тут мозги. Тебя к ногтю, мне — баландишки котелочек. Похлебал да и сыт. А, есть смысл? Молчишь?

Олег невесело улыбнулся.

— Только, брат, я никуда не пойду. Нет! Баста! Быть лагерной сукой? Да я себе сам вырву язык раньше, чем он начнет звонить. Ты напыжился, будто я у тебя выбил котелок с баландой. Думаешь, вру?

— Не пойму, где правда.

— Мне наплевать на батькину судьбу. Я не знал

его и не видел. Нутром понимаю, что время было такое, что ежели заблудился, то получи... Вот он и получил. А меня советская власть из воришки командиром сделала. Какого же мне рожна еще надо?

Осипов долго молчал, задумчиво потирая лоб.

— Тяжело мне стало. Гуров разбередил, — говорил он уже другим, потеплевшим голосом. — Очень тяжело. Вот и прорвалось. Выболтал тебе эту историю и уже жалею. Коситься будешь. Ведь так?

— Не знаю. Может, и не буду. Мне хочется верить, что ты честный парень. Но на кой черт ты мне это рассказываешь? Я обязан тебе жизнью и никогда об этом не забываю, однако, извини, мне надо подумать, переварить. Размяк и ты, как Василь Васильич. Он по-своему, а ты по-своему. А что, если подобные мысли станут приходить чаще? Ведь свихнуться можешь?

— Я никогда не свихнусь!

— Ладно. Поживем — увидим.

Я пролежал без движения до поверки. Сон так и не пришел в ту затянувшуюся ночь.

#### 4

Обычная лагерная похлебка сменилась магарой. Из мелких зерен этой отдаленно похожей на просо травы варили густую баланду. Она создавала ощущение некоторой сытости.

Но вместе с зернышками магары в желудок попадало большое количество неотвечной, удивительно твердой шелухи. Острыми краями шелуха впивалась в желудок, кишечник, и редкий организм мог с нею справиться. Очень скоро наступала непроходимость кишечника, сопровождавшаяся ужасными болями и смертью.

Только наевшись магаровой баланды, многие поняли весь ужас своего положения, перепуганно приуныли и целыми днями висели на краю зловон-

ной ямы, пытаюсь проволоочной петлей извлечь за-твердевшую пищу. Но было уже поздно.

Полные бачки баланды стояли под стеной казармы, и никто уже к ним не подходил.

Дней через восемь магаровая баланда сменилась обычной грязной бурдой. К тому времени добрая половина военнопленных перекочевала из карантина «на волю» — в заблаговременно отрытые огромные могильные ямы.

В первых числах июля на утренней поверке появился комендант лагеря — пожилой обер-лейтенант в поношенном неряшливом мундире. На его плоском лице пасынком пристроился большой мясистый нос, сплошь покрытый густой сеткой фиолетовых жилок. Тяжелые отечные мешки оттягивали выцветшие глаза книзу. Углы губ брезгливо опущены, отчего мясистая нижняя губа вывернулась, и казалось, что к подбородку приклеился кусок сырого мяса.

Пока тянулась поверка, он безучастно стоял в стороне, удерживая на поводке поджарую линяющую овчарку.

После поверки офицеров построили отдельно, остальным скомандовали разойтись, перейти на другую сторону казармы.

На поверочном плацу осталось человек сто.

Комендант медленно, словно крадучись, пошел вдоль строя, приликая взглядом к лицам пленных. Люди поеживались, переминались с ноги на ногу. Смотреть ему в глаза было так же трудно, как смотреть в глаза сумасшедшему.

— Евреям выйти из строя! — скомандовал он по-русски. — На раздумье даю две минуты.

Голос у него осипший, видимо от постоянного перепоя.

Строй не шелохнулся. Невольно внутрь заполз холодок: «Вот оно, началось».

Две минуты прошли. Вялость коменданта исчезла бесследно.

— Построиться в одну шеренгу!

Пока мы перестраивались, в карантин быстро вошли четверо автоматчиков, остановились напротив.

— Снять штаны!

Раздумывать и ожидать повторения не пришлось.

— Бистро, бистро! — подгонял комендант.

Сопровождаемый фельдфебелем, он вновь двинулся вдоль шеренги пленных, опустивших головы от стыда и унижения. Теперь он уже не смотрел в лица, а медленно переходил от одного к другому, иногда останавливаясь перед кем-нибудь на короткое время. Собака нетерпеливо повизгивала, рвалась с короткого поводка, а нас, подвергнутых этому дикому осмотру, пробирала нервная дрожь.

Против одного из пленных комендант задержался дольше обычного.

— Еврей?

Побелевший парнишка утвердительно качнул головой. В тот же миг, почуввав свободу, собака рванулась вперед.

В воздухе зазвенел иступленный крик. Натренированный пес впился клыками в несчастного еврея и, раздирая когтями бедро, потянул его по плацу. Хилый паренек, закатив глаза, беспорядочно отмахивался руками, пытаясь отбиться от серого зверя, но через несколько шагов, запутавшись ногами, споткнулся, упал. По плацу покатился неловкий ком, черня землю пятнами крови.

Комендант бегал вокруг, сипло хохотал и рукоятью хлыста бил пленного по голове и рукам. В ту минуту он ничем не отличался от своего четвероногого наперсника. На секунду мне даже показалось, что длинная бритая губа морщинисто вздернулась, обнажив хищно выгнутые желтые клыки.

Так продолжалось несколько минут. Насладившись зрелищем, обер-лейтенант с усилием оттянул перепачканную кровью собаку. Фельдфебель спокойно выстрелил пленному в ухо. Трупоносы взвалили его на носилки. Собака длинным языком облизила пасть, просила поводок.

Безжизненные комендантские щеки порозовели.

— Еще раз предлагаю евреям выйти из строя!

Вышли трое. Довольно ухмыльнувшись, комендант подал знак солдатам. Евреев увели. Процедура осмотра закончилась.

После этого офицеров перевели в пересыльный блок.

Прошло несколько дней. Внимание мое было поглощено старшиной пересылки Фоменко. В лагере он был фигурой очень необычной, тем более что я знал его еще до войны.

Фоменко — высокий брюнет атлетического сложения. Волевой подбородок постоянно выбрит доси- ня; нос ровный, красивый, рот небольшой, крепкий. Над высоким лбом курчавились поредевшие жесткие волосы. Под изогнутыми у висков бровями холодно поблескивали, как кусочки льда, очень светлые серо-зеленые глаза.

От него я не слышал ругани. Постоянно он сдержан, корректен и казенно сух. Баланду раздавал сам, тщательно перемешивая ее, чтобы всем досталась по густоте одинаковая. Полицай в пересылке не били, хоть и строили зверские рожи. В казарме каждое утро тщательно надраивались полы. На эту работу пленные шли охотно: Фоменко в обед наливал им по лишнему черпаку баланды.

После лазарета и карантина люди в пересылке отдыхали душой и телом.

Я заметил, что Фоменко меня узнал, присматривался и пока не трогал. Не подходил и я к нему: слишком хорошо запомнился урок со «знакомым землячком» Гурова.

Но однажды он остановил меня у входа в казарму.

— Харьковчанин?

— Да.

— С Чернышевской?

Я вновь утвердительно качнул головой.

— Пойдем ко мне.



В маленькой комнатухе под стеной стояла узкая кровать из полосового железа, аккуратно застланная выношенным суконным одеялом. В углу на кирпичках пристроилась колченогая буржуйка. В противоположном углу прижался грубо сколоченный стол, и под ним — трехногая табуретка. Фоменко выдвинул ее на середину.

— Садись, поговорим.

Сам сел на кровать. Она шатнулась, закричала и вдруг пронзительно взвизгнула. Окно было широко открыто. Пахло свежeweымытым полом.

— Рассказывай.

— О чем?

— Разве не о чем? Ты ж в плену только месяц. А я год. Что там делается у нас?

Мне хотелось спросить: «Где это — у нас?», — но я промолчал. Передо мной сидел старшина пересылки. Кто знает, скольких он отправил на тот свет? Что у него на уме? Я попытался отделаться общими фразами.

— Тяжело, конечно, трудно.

— Сам знаю, что не мед. Семья в Харькове?

— Не знаю.

— Давно был там?

— В сентябре сорок первого.

— Давненько. — Фоменко вздохнул.

Мало-помалу беседа завязалась. Фоменко интересовался решительно всем. Вопросы его были сформулированы коротко, четко. Во время моих ответов он молчал, сосредоточенно слушал, глядя себе под ноги.

Скупыми фразами он рассказал о положении на фронтах согласно немецким сводкам. Выслушав мой рассказ о харьковском окружении, молча вздохнул, но воздержался от разбора, к чему так охотно прибегали другие пленные.

Мы беседовали часа два. За это время я не услышал от своего собеседника ни осуждения наших, ни подхваливания немцев. Все, что он говорил, было простой констатацией фактов, лишенной личных выводов.

Мне стало ясно, что Фоменко не так прост, как я знал его до войны, и относился ко всему вовсе не так сухо, как казалось. Ко мне же он присматривался внимательно и пытливо, по всей вероятности изучал, не доверяя памяти о наших довоенных встречах. И он был прав: тогда было совсем-совсем другое.

Я проснулся оттого, что кто-то настойчиво тряс меня за плечо. На корточках сидел Фоменко. Приложив палец к губам, он кивком пригласил выйти. Я проворно встал и, ничего не понимая, вышел за ним в коридор.

— Иди к окну. Смотри и запоминай! Да не высывайся, а то пулю схватишь.

Было еще очень рано. От лагеря на восток уходили ряды приплюснутых могильных холмов. За ними вставало солнце, подкрашивая багрянцем и без того красные крыши казарм. Внизу, во дворе, было еще сумрачно и оттого тревожно.

К изгороди пересылки прирос небольшой вытянутый двор с узким проволочным коридором, уходящим на кладбище. Дворик обычно пустовал. Но сегодня, несмотря на такую рань, в нем было тесно. Прижатые конвоем к проволоке загородки, пленные раздевались, сбрасывали тряпье в общую кучу и, перебежав на другую сторону, подстраивались друг другу в затылок.

Выровняв прикладами строй, конвой погнал их нагишом за проволоку. Лезвия штыков вспыхивали солнечными зайчиками и мгновенно гасли. Казалось, штыки прятались в голых спинах пленных. Замыкал колонну комендант с облезлой овчаркой и вихлястым типом в черной форме СД.

Метрах в двухстах колонна остановилась. С третьего этажа мне было видно отчетливо, до подробностей, как между шпалерами солдат, подгоняемые штыками, один за другим бежали к яме обреченные. Короткая остановка на краю. Выстрел в затылок. Жертва летела в яму. На ее место становилась оче-

редная. Молодчик из СД «работал» спокойно, время от времени меняя в пистолете обоймы.

В яму полетел последний — сто семнадцатый человек. Конвой возвратился в лагерь. Из подвала соседней казармы вывели еще одну группу, и все началось вновь.

Я больше не мог смотреть на смерть людей, убиваемых только за то, что они не могли скрыть своей ненависти к гитлеровцам, их лагерю смерти. В ногах появилась нервная дрожь, горло сжала болезненная спазма. Я с усилием сглатывал и чувствовал, что еще немного — и уже не смогу быть безучастным зрителем, закричу, сделаю какую-то глупость или же разревусь по-мальчишески, навзрыд.

Я отошел от окна. Фоменко сжал до боли мою руку выше локтя и вернул меня на прежнее место.

— Стой. Еще не все. Смотри и запоминай, да покрепче, чтоб они стояли перед твоими глазами днем и ночью, пока жив будешь! — Голос Фоменко был чужой, сиплый, с придыханием. — Двести тридцать один человек, и среди них две женщины.

Вторую группу увели на кладбище.

— Теперь пойдем. Хватит.

— Что?

— Достаточно, говорю, этого зрелища. Идем!

Вернувшись в комнату, я тихо улегся на свое место в углу и еще долго слышал приглушенные хлопки пистолетных выстрелов. Светлое, яркое утро казалось темнее ненастной ночи.

Пленные не спали. Чутко подняв головы, прислушивались, пытались придвинуться ко мне ближе, но я плотно закрыл глаза и, уткнув лицо в ладони, отвернулся к стене — отгородился от их настойчивых, требовательных взглядов. Говорить я не мог.

Тот памятный день состарил меня лет на десять. В течение короткого часа он научил верить тому, чему отказывался верить здравый рассудок нормального человека.



### Глава III

#### 1

**В**ладимир-Волыньск. Опрятенький, тихий, типичный для Западной Украины городок.

На окраинах соломенные крыши проросли лишаями мха. В центре — крутые цинковые бока мансард двухэтажных коттеджей, церковь, костел.

Там, где кончается городишко и обсаженная ветлами пыльная дорога уходит в поле, раскинулся лагерь для советских военнопленных офицеров.

Перед входом на каменном постаменте хищно

устремился вперед тяжеловесный орел. Чугунные лапы закогтили лавровый венок. В венке — свастика. Глаза орла злобные и жадные.

Дальше, в конце тенистой аллеи, — двухэтажный дом комендатуры. С конька крыши свисало длинное шелковое полотнище: на красном поле белый круг и в нем крючковатый переплет той же свастики. Ветер чуть шевелил полотнище; свастика двигала черными крючками, будто огромный паук лапами.

Слева от комендатуры протянулся колючий забор с широким зевом ворот. Будка, шлагбаум, часовая — все как положено. За проволокой большой прямоугольный плац, замкнутый с боков тяжелыми кронами многолетних лип, укрывших собой кирпичные старые здания казарм Войска польского. За плацем белел новый дом. Это клуб. С боков к нему примазались приземистые постройки кухни и бани.

Прибывших из Проскурова — человек около двухсот — загнали в вонючую моечную с единственным краном горячей воды. Около него сразу образовалась давка. Вместо тазиков на обросших зеленой слизью топчанах валялись красноармейские каски, покрытые слоем грязи. Воздух затхлый, кислый, воняющий плесенью.

— Ну и банька! — возмутился Олег. — Поросячья лужа!

— А тебе номерок бы с мойщицей, с венчиком да еще кваску бы холодненького? А, Олег? — добродушно подтрунивал Адамов. — Не плохо бы! — протянул он мечтательно.

— Иди ты к черту со своей мойщицей вместе! — вскипел Олег. — Козел вонючий! Подойти к тебе тошно, а ты гогочешь, радешенек. Если ума нет — считай себя калекой.

— Ну, ну, осторожней на поворотах, умница.

Закипала ссора.

Причин для хорошего настроения и впрямь не было. Двое суток нас везли в скотском вагоне. Ноги по шиколотку увязали в коровьем навозе. Поначалу все стояли, потом, кляня все на свете, стали

садиться на пол, прямо в полужидкую вонючую дрянь.

В пути погиб Гуров.

Неизвестно, как ему удалось пронести через обыски косой сапожный нож. Как только поезд тронулся, Гуров начал резать пол.

О побегах через дыры в полу ходило много толков. В таких случаях дыра вырезалась в рост человека, беглеца на ремнях опускали почти до шпал и разом бросали. Если в момент падения на шпалы все обходилось благополучно, можно было считать побег успешным.

Перед отправкой у нас отобрали все, даже нательное белье. В таком положении возможность побега исключалась: не на чем опустить.

Но как мы ни убеждали Гурова в бесполезности его затей, отговорить нам его не удалось. Он только обозлился, обозвал всех трусами и продолжал свою работу, пренебрегая осторожностью даже на стоянках. На одной из них дверь с грохотом откатилась, в вагон ворвались солдаты, вытолкали пленных.

На полу остались свежие стружки и брошенный Василием Васильевичем нож.

Была ли проверка случайной, или, услышав у нашего вагона подозрительные звуки, часовой поднял тревогу — не известно. Проверили и остальные вагоны. Всех построили вдоль эшелона, и начальник конвоя спрашивал уже в третий раз:

— Чей это нож?

Искоса я наблюдал за Гуровым. Он был очень бледен. Под глазом непроизвольно дергался кусок щеки.

— В последний раз предлагаю владельцу ножа выйти из строя. Иначе расстреляю каждого пятого.

— Не надо! Нож мой. — Гуров шагнул вперед и очень тихо, но твердо сказал: — Я резал пол.

— Покажи руки!.. Мерзавец!

От удара Василий Васильевич упал, но сразу же поднялся. Из рассеченной скулы на рыжую бородку потекла темная кровь.

В следующий момент хлопнул выстрел. Гуров схватился за грудь, чуть постоял, словно примериваясь, куда упасть, и, не сгибаясь, рухнул плашмя вперед. Фельдфебель едва успел отскочить.

— По вагонам! Быстро!

Колеса выстукивали бесконечную дробь. Дорога наша тянулась дальше, на запад. На неизвестном полустанке остался наш друг, припавший щекой к промасленному щебню.

— Могло быть хуже для нас... — подытожил происшедшее Адамов.

По его мнению, эта смерть была совершенно напрасной. Мы соглашались с ним, но грусть по погибшем товарище еще долго щемила сердце.

Как обычно, Олег был взволнован больше других и все еще не мог успокоиться. Обругав Адамова, он усиленно заработал в толпе локтями, пробиваясь к водоразборному крану.

Прожарка наших вещей тянулась долго — несколько часов. В ожидании мы сидели нагишом в узком дворе бани. Голый до пояса дезинфектор — пожилой человек — жадно выпрашивал новости.

— Значит, говорите, бьют нас? Да-а-а... Тяжело. Вот еще одна новость. — Он выдернул из-под фартука газету. Бросился в глаза жирный заголовок «Клич». — Пал Севастополь. Удар, что и говорить, тяжелый. Ну, а если почитать вот эту паскуду, — он ткнул в газетный листок, — становится совсем тошно, хоть вешайся. А умирать нам рановато! — Человек бодро посмотрел вокруг. — Будет еще и в нашем краю праздник. Обязательно будет. Нужно держаться и, главное, поменьше прислушиваться к разным бредням вроде этих. — Он махнул перед собой газеткой.

— Аркадий Николаевич, готово, выдавай! — крикнул голос из бани.

— Сейчас, — отозвался наш собеседник. — Основное, ребята, держите хвост морковкой. — Он подмигнул и, чуть пригнувшись, шагнул через высокий порог.

Спустя несколько минут открылось в стене окошко, и тот же человек бодрым, сочным голосом крикнул:

— Эй, навались, у кого деньги завелись!

Вещички наши были горячие, мокрые, пуше прежнего воняли распаренным навозом.

Пошли чередом лагерные будни. Все было то же, что и в других лагерях, только более продуманно, тоньше, но итог одинаков: за прошедшую зиму погибло семь тысяч офицеров из десяти. И сейчас еще взгляд то и дело натывался на отечные лица цинготников.

Мордобоя не было. Дубина была не в ходу. Зато очень легко было попасть на «кобылу» и получить двадцать пять палок на места пониже спины. Издевательства направлялись на унижение человеческого достоинства, надругание над честью советского офицера.

Вскоре после нашего приезда старшим офицерам выдали лоскуты красной материи и приказали срочно нашить на воротники знаки различия.

После этого их построили на плацу. Затянутый в мундир, словно в лайковую перчатку, комендант обратился к ним с речью:

— Я понимаю, что питание в лагере далеко не достаточное. Но что поделать? — капитан развел руками. — Такова норма. Я решил вам помочь.

По рядам пошло чуть заметное оживление.

— Окрестное население обратилось ко мне с просьбой, — повысил голос комендант, — вывозить на их поля удобрение из лагерных уборных. С этой целью я организую из вас несколько ассенизационных команд. В качестве вознаграждения за работу они получают по сто граммов хлеба на человека. Это дополнительно к пайку. Желающих прошу выйти из строя.

Ошеломленный неожиданным поворотом, строй старших командиров настороженно притих. Недавнее оживление сменилось подавленным молчанием.

— Мне нужно пятьдесят человек, — продолжал комендант. — Пятьдесят добровольцев прошу выйти



вперед. Ясно? Нет желающих? Или, может быть, это саботаж? Хорошо. Я буду отбирать сам. Тогда выходи вот ты и ты... — Капитан пошел вдоль строя, выбирая людей. Но и после этого никто не тронулся с места.

Холодное лицо коменданта налилось кровью. В холодном бешенстве он щелкал стеком по жесткому голенищу сапога.

— Очень хорошо! Вы не хотите работать? Это значит, что вы не повинуетесь моим приказам. По законам военного времени вы должны быть расстреляны. Фельдфебель!

— Слушаюсь, мой капитан!

— Взять вот этого! — капитан указал на истощенного седого полковника. — Ты тоже не будешь работать?

— Потрудитесь обращаться на «вы», господин капитан. Кроме того, вы не вправе заставить меня работать на подобной работе хотя бы из уважения к моему возрасту и званию.

— Вот как?! — удивился комендант. — Не вправа-аве? Двадцать пять! — коротко бросил он стоящим поодаль полицаям.

Молодые здоровые хлопцы замешкались. Даже этим типам, презревшим всякую человеческую мораль, было неудобно бить палками старого полковника.

— Комендант, я недоволен вашими людьми. Они плохо повинуются, — с нажимом процедил капитан.

Старшина лагеря — черномазый подполковник в хорошо отутюженной коверкотовой гимнастерке и начищенных до зеркального блеска сапогах — подскочил к старику, грубо рванул за рукав, потащил к «кобыле». На помощь пришли ожившие полицейские.

— Подлец! — громко крикнул полковник.

Экзекуцию он перенес молча. Но с «кобылы» подняться уже не смог. Его сняли, положили в стороне.

— Вы довольны? — продолжал издеваться капитан. — Теперь вы охотнее пойдете работать. Что?

После такой меры пятьдесят человек были отобраны.

— Разойдись! — Старшина зло ворочал белками. — Сволочи!..

На «кобыле» полицаи пороли отказавшихся — таких набралось человек двадцать. В воздухе мелькали палки.

На следующий день в веревочную упряжь ассенизационных бочек впряглись отобранные накануне. От стыда они опустили головы, тупо переставляли ноги.

Бочки катились по двору, гулко встряхиваясь на ухабах. Уныло покачивались привязанные к длинным шестам испачканные нечистотами каски..

## 2

После утренней поверки народ разбрелся по двору. Кто играл в замызганные самодельные карты, кто из обломка каски мастерил нож, целыми днями точил его на булыжнике, кто просто валялся на чахлой коричневой траве. Большинство собиралось группами, спорило до хрипоты по поводу и без всякого повода. Авторитеты не признавались, лучшие аргументы — негибемое упрямство и луженая глотка.

Олегу на одном месте не сиделось. Он бродил по лагерю, прислушивался к разговорам, ввязывался в споры и, столкнув спорщиков, оставался сам в стороне, сияя от удовольствия.

В углу между проволокой и бетонной коробкой мусорника чаще всего собирались любители «вкусных» разговоров. Вспоминали яства, деликатесы, способы их приготовления, сервировку. Не забывалась ни одна деталь, не опускалась ни одна мелочь.

Над сидящими приподнялся высокий и очень худой человек. Голова его напоминала корабельную швабру с длинными пеньковыми косичками.

— Бифштекс, — проговорил он басом, — это не наше, не русское. И название-то: ни вкуса, ни запаха. Иное дело — пельмени. — Он поднес к лицу

сложенные щепотью пальцы, точно держал перед собой горячий пельмень.

Слушатели сглотнули набежавшую слюну.

— Берется мука. Белая, конечно. Потом...

Истощенный гурман рассказывал, остальные слушали, в мыслях поедали невозможное количество пельменей и исходили слюной. Все шло гладко. И вот тут вмешался Олег.

— Неверно! Вы говорите, соль кладется в фарш. Нет! Ее бросают в кипяток.

— Это одно и то же, — попробовал отмахнуться высокий.

— Нет, не одно и то же!

— Не одно и то же! — как эхо, подхватил еще один голос. — Если в фарш, тогда тесто несоленое.

— Много вы понимаете...

— Больше тебя!

И пошло. Спор покатился, загрохотал, как пустая бочка по булыжной мостовой.

— И охота тебе связываться, — ворчал Адамов. — Когда-нибудь морду набьют.

Олег свистнул.

— В спорах познается истина. Пока молчит соловей — кричит осел. Все-таки веселее.

— Это кто же соловей? Ты?!

— А хоть бы и я. Молчун дубовый! Опухнешь от сна. Вот прорва! — искренне удивлялся Олег. — Впрочем, где кончается порядок, там начинается авиация. Давят жучка по целым суткам. Иммунитет!

Григорий беззлобно отругивался.

После проверки нас не распустили, а увели на плац. Такие построения почти всегда предшествовали отправкам крупных партий.

На этот раз придавалось большое значение равенению по рядам и в затылок, и поэтому пленные заключили, что готовилось что-то торжественное.

Перед клубом стоял рослый комендант и рядом с ним хилый старичок в тонком сером мундире с витыми серебряными погонами на сутулых плечах. Лицо желтое, в мешочках, левую бровь подпер монокль.

— Смирна-а-а! — К старику с докладом подско-  
чил щеголеватый старшина.

— Вольно, голубчик.

— Вольна-а-а!

Старик перебросился фразой с комендантом. Тот  
важно качнул головой.

— Братцы! — Старик, шагнув вперед, протянул  
к строю руки. — Я приехал к вам из Берлина по  
поручению командования Русской освободительной  
армии. Я рад, что вижу столько русских офицеров  
вместе. Я не сомневаюсь, что все вы достойные сы-  
ны многострадальной России.

По площади прошел сдержанный гул.

— В моем лице к вам обращаются люди, взяв-  
шие на себя священную миссию борьбы с больше-  
визмом. Мы ждали этого радостного времени более  
двадцати лет. Теперь наш час настал. Вот! — Ста-  
рик поднял над головой большую листовку с порт-  
ретом. — Вот истинный боец за счастье своего на-  
рода — генерал Власов. Я зову вас под знамена.  
Советам приходит конец. Ваш долг ускорить его,  
затем вернуться к семьям и строить новую Россию.  
Страну...

— Россию на немецкий лад! — звонко крикнул  
кто-то из строя.

— Страну предприимчивых, умных людей, — по-  
правил старик.

— Под немецким каблуком! — не унимался голос.

Бросив украдкой взгляд на коменданта, старик  
ответил:

— Немцы получают свое и уйдут. Мы будем сво-  
бодны!

В задних рядах поднялся шум.

— Громче!

— Не слышно!

Шум перекинулся из задних рядов в передние.  
Кричали уже все. В голосах слышалось озорство.

— Старый пер...!

— Долой! Доло-о-ой!

Между рядами зашныряли полицаи, солдаты ох-  
раны и оба коменданта. Понемногу шум стих.

— Напрасно вы шумите. Вам не за что держаться. Нынешняя Россия считает вас изменниками. Об этом заявил сам Сталин. Но если для него вы изменники, то для нас вы желанные люди. Мы ждем вас! Мы обращаемся к вашей совести, вашему долгу перед Ро... кха... кха...

Приступ кашля заставил его схватиться за грудь.

— Доло-о-ой!

— Он рассыплется!

— Воды-ы!

Переменяясь с разбойным свистом, крики неслись над площадью. Часовые на вышках повели по лагерю стволами пулеметов. Но применить оружие не позволял момент, а как можно заставить замолчать несколько тысяч глоток?

Комендант махнул рукой, велел разойтись.

— Эх и вояка, разрази его гром! — Олег сиял как именинник. — Старая песочница, а туда же, в избавители лезет!

— Лиха беда — начало. Теперь будут капать на мозги, — рассудительно вставил Адамов. — Христолюбивые агитаторы!

### 3

Перед отъездом из Проскурова Фоменко просил меня отыскать во Владимир-Волыньском лагере Вла-сенко, передать ему привет от Саши и пожелание спокойной жизни.

Я удивленно переспросил:

— Спокойной?!

— Да, именно спокойной.

Тогда мне стало понятно, что дело вовсе не в привете, а в чем-то значительно более важном, смысл которого для меня пока оставался тайным.

Розыски ничего не дали. Найти человека в многотысячном лагере вовсе не легко, тем более что его надо было искать, сообразуясь с некоторыми правилами осторожности.

Дни проходили. Подошел конец августа. Немцы

без умолку трезвонили о своих победах, о скором конце войны. И, надо признаться, тогда им было о чем трезвонить. Вести с фронта шли очень тревожные. По всему было видно, что именно в те дни решалось: кто кого. Из репродуктора на площади непрерывно доносились то бодрые лающие голоса, то бравурные марши. Солдатня распоясалась, уже без всяких стеснений заявляла, что все русские пойдут в рабство на десять лет, а если понадобится, то и на больше.

Настроение в лагере совсем упало. Подняли голову разные подонки, которым было все равно, лишь бы спасти свою шкуру. Постепенно я распутал ниточку, тянувшуюся к Власенко.

В лагере его не было. Попал он в плен в первые дни войны и чуть ли не в том же самом Владимир-Волынке. Работал он при комендатуре писарем. Исполнительный, аккуратный и какой-то немного странный, словно бы чуточку не в себе. Что-то в комендатуре произошло; по личному распоряжению коменданта Власенко высекли на «кобыле». И перевели в рабочую команду в городское овощехранилище. В команде работало тридцать человек. В конце июня 1942 года несколько дней подряд лил дождь. Часовым не хотелось мокнуть под дождем. Они загоняли пленных в сарай и отсиживались в нем по целым дням. В один из таких дождливых дней пленные обезоружили, связали конвоиров и разбежались. Заводилой был Власенко.

Некоторых поймали сразу, некоторых — спустя несколько дней. Всех расстреляли. Только о Власенко ничего не было слышно. Думали, что ему удалось дойти до линии фронта. Некоторые поговаривали, что Власенко прихватил с собой списки пленных. Списки не простые: против каждой фамилии условный значок — характеристика. Но это были только разговоры. В лагере болтали много всякого вздора, и трудно было подчас отличить правду от вымысла.

— Пойдем в клуб. Новичков привезли. Из Проскурова, — тормошил меня запыхавшийся Олег. — Может, Андрея Николаевича встретим.

В клубном зале было полным-полно. К новичкам набились обитатели лагеря, искали земляков, знакомых и просто «зевали» в надежде услышать что-то новое. Доктора среди прибывших не было. Скалясь белозубой улыбкой, подошел обрадованный лейтенант Франгулян, не попавший с нами в прошлую отpravку.

— Здорово, ребята!

— Здравствуй, Гурген! Что нового?

— Новости: хочешь — стой, хочешь — падай.

Франгулян рассказал проскуровскую сенсацию.

— Панимайшь, — волнуясь говорил он, — если бы я не спал, теперь уже был бы на фронте. Дурной голова! Ишак! Не надо было спать. А я спал. Утром, правда не самим утром, на рассвете прибежал в пересылку конвой. Собака злой, а солдаты савсэм бешеный. Строили, считали, опять строили, опять считали. Много раз считали. Затэм запихали нас в казарму, двэр — на замок и часовой с собакой поставили.

Волнуясь, Франгулян сильнее обычного коверкал русские слова:

— Черт знает, что думай. Думай так, думай нэ так — все равно плохо. Помнишь, нэдовольных постреляли? Я и подумал: «Все, крышка и тебе, Франгулян. Тепэр за проволока — и шабаш». Час сыдым. Два сыдым. Нэ знаем. В окна смотрым. Фоменку ищем, Фоменки нет. Что такое? И еще десять человек нет. Где они?.. Потом бежит снизу Шурка Беленко — знаешь? Красный такой, радуется, будто медаль получил. «Слыхали? — кричит. — Убежали!» Кто убежал? Оказывается, Фоменко убежал, а с ним еще десять человек и часовой с вышки. Во! Прорезали, понимаешь, возле самой вышки проволоку — и пошел.

— Вот здорово!

— Здорово! — восторженно воскликнул Франгулян. — Только нэ савсэм. На другой день в лагерь привезли четыре трупа. Такие, что и родной мама нэ узнает.

— И Фоменко? — испуганно спросил Олег.

— Не-е-ет. Фоменку не поймали. Нэ такой.

— Эх, черт возьми, и не везет же в жизни. Олег шлепнул пилоткой об пол. — Задержись мы там — уже были бы на свободе.

— Это еще нэ известно.

— А чего там? Фоменко же свой парень. Это же факт!

— Тэперь свой, а тогда, помныш, что говорил?

— Помню. Так что ж из того?

— А то, что дэржи лучше язык на привязи.

Олег замолчал. Мы еще поговорили о разных мелочах и ушли в свою казарму.

«Нет ли связи между побегами Фоменко и Власенко? Неспроста ведь Фоменко направил меня именно к этому человеку», — мелькнула догадка и погасла. Может, это просто совпадение.

Солнце лениво перекаатилось с одного края лагеря на другой. От лип протянулись плотные косые тени. На площади заполошно колотили в обрезок рельса: сзывали пленных на плац.

Перед клубом собралась большая толпа. Высказывались догадки о причине сбора, одна другой нелепее, невероятнее.

В лагерь вошла группа людей, и сразу все стало понятным.

Впереди шел человек в хорошем синем костюме. Руки его были заломлены за спину и туго стянуты. От этого грудь неестественно выпятилась, походка была деревянная. Восково-бледное лицо обросло густой бородой, один глаз заплыл синим кровоподтеком.

За ним, почти упираясь в его спину штыками, твердо вышагивали двое солдат. Последним шел унтер.

Перед клубом группа остановилась. Человек встал к стене. Напротив него шагах в пяти плечом к плечу встали солдаты и передернули затворы винтовок.

Я услышал фамилию Власенко. Это был он.



Унтер скомандовал. Вскинулись на изготовку винтовки — дула подрагивали на уровне груди осужденного. Расстояние между ним и блестящей сталью штыков было ничтожно малым. Над площадью повисла могильная тишина.

Власенко долгим тоскующим взглядом переходил от лица к лицу и, видимо, не находил того, которого искал. Потом его взгляд остановился на солдатах, на лезвиях штыков и вдруг заострился холодным злым блеском. Грудь рывком поднялась, набрала до отказа воздуха, и над притихшими людьми, над широкой площадью, над вековыми кронами зеленых великанов пронесся страстный призыв:

— За Родину! За нашу Советскую Ро..

Оглушительным дуплетом грянули выстрелы. С тревожным криком с лип поднялась стая галок.

Власенко упал на колени, медленно повалился на бок, к стене. Унтер выстрелил ему в ухо. Тело Власенко дернулось еще раз и застыло. По земле растекалась красная лужа. На свежеекрашенной белой стене почти рядом остались две небольшие воронки, припудренные кирпичной пылью.

Пленные разошлись по казармам.

Олег против обыкновения молчал. Григорий с грустью и легкой завистью сказал:

— Вот это парень! И умер-то как — спокойно, красиво.

#### 4

Ченстохов. Древний город, седой от старости и окаменевшей на стенах пыли.

В нижнем конце городской оживленной улицы вдоль тротуара тянулась глухая унылая стена. Над нею — сторожевые вышки. У массивных железных ворот расхаживал часовой в каске. Над воротами — хищный орел.

За стеной вытянулось очень длинное четырехэтажное серое здание. Когда-то его занимал полк польской пехоты. В полном составе он отправился в плен к немцам, а на его место пришли развязные

молодчики в серо-зеленых мундирах и тяжелых сапогах с голенищами раструбом. Немцы задержались недолго. В 1941 году под медную песню браваурного марша они выступили на восток, оставив на память о себе множество наставлений о бдительности, написанных прямо на стенах готической вязью вперемежку с порнографическими рисунками.

В казарме разместили лагерь русских военнопленных.

Из окон был виден осенний скучный город. В небо вонзился ребристый шпиль собора Ченстоховской божьей матери. Ветер гнал на него низкие слоистые тучи, и шпиль распарывал их, потрошил, как гигантский нож. Если смотреть только на него, казалось, что двигался он, а тучи жались в страхе, словно стадо фантастических грязношерстных овец.

Так он мне и запомнился, этот город, — соборным шпилем да безгранично дерзким побегом одного из пленных.

Высокая стена тянулась вдоль тыльной стороны казармы, образуя глубокий сырой проезд, мощный круглым разноцветным булыжником. На дно проезда солнце не заглядывало. В окна казармы несло кислой вонью непроветриваемого подвала. Гребень забора достигал второго этажа. Внутри помещения нары примыкали вплотную к подоконникам. Это наводило на мысль о побеге: стоило лишь из окна перебросить доску на забор — за ним город, — а там ищи-свищи — поляки спрячут.

Нужной доски не было, и пленные как привороженные смотрели на бетон злополучного забора, строили планы побега — один другого нелепее.

В мрачный тихий день, когда тоска по Родине была особенно острой, пожилой пленный, глядя на забор, тяжело вздохнул и, ни к кому не обращаясь, сожалеюще проговорил:

— Сбросить бы мне годков десяток... Хорошему прыгуну тут секунда дела.

От стены кто-то откликнулся:

— Рассыплешься, смотри. Немцы без чертежа не соберут.

Остальные негромко рассмеялись.

— Тебя-то без чертежа соорудили. Сразу видно: винтика не хватает. Чем зубы скалить, лучше бы мозгами пошевелил. Сколько тут до стены? От силы четыре метра.

— Не допрыгнешь пару сантиметров — и хана. Не убьешься, так часовой прикончит.

— Так ведь на войне не без риска, — резонно заметил худощавый невысокий парень. — Рискнуть, что ли, Федор Ильич?

Пожилой ответил не сразу.

— Отчего бы не попробовать? Только страх из души выбрось. Иначе наверняка убьешься.

Парень по нарам подошел к окну, будто впервые осмотрел забор, подоконник, проверил ногами настил нар и отошел на край.

Видевшие это выжидательно замолчали. Никто всерьез не верил в намерения парня: покуражится да и слезет.

Парень не слез. Сделав короткий разбег, он мощным толчком выбросил за окно свое ладное тело, перелетел над глубоким проездом и сбалансировал на самом краю стены ограждения. В следующее мгновение он уже спрыгнул на ту сторону, в город.

От неожиданности все онемели, потом повскакивали с нар и устремились к выходу, перепугавшись возможного налета солдат.

Зазевавшийся часовой открыл стрельбу, когда пленного уже и след простыл.

Против обыкновения этот смелый побег не вызвал со стороны лагерного начальства никаких репрессий, только по верху стены спешно надстроили ряд колючей проволоки.

Вскоре нас опять запечатали в вагонах и пять суток возили по дорогам с той же неизменной варварской практикой, с которой мы уже познакомились в пути до Проскурова. Пять суток для многих оказались чересчур длинными — они не дожили до конца пути. Остальные уже видели себя на пороге гибели.

В жару нас возили в душных, глухих товарняках.

В холод — в открытых полувагонах или в вагонах, специально оборудованных для перевозки скота. Стены в таких вагонах решетчатые.

Стоял конец октября. Солнце уже не грело. По ночам земля одевалась инеем. На ходу поезда в вагоне завихривались колючие сквозняки. Пленные жались друг к другу, словно играли в «кучу малу», только игра была смертельной: нижние задыхались, верхние коченели от холода.

К концу пятых суток нас выгрузили на товарной станции Нюрнберга. Гитлеровцы с размахом и прикрикиванием, как дрова, швыряли в грузовики трупы и попеременно с ними — чуть живых пленных, которых уже подстерегала смерть. Остальных увели в палаточный карантин.

У водоразборной колонки — дикая свалка. Пленные отталкивали друг друга, слабые падали под ноги нетерпеливой толпы и погибали рядом с водой. Многие опились до того, что больше не встали.

К вечеру небо прорвалось. Полился упорный обложной дождь. Сквозь ветхий брезент он сыпался на людей. Поверх земляного пола растеклись ледяные лужи.

Из-за тесноты разыгрывались жестокие ссоры за топчаны. После нескольких дней притеснений от нас увезли еще две или три машины трупов.

Канун Октябрьских праздников по простому совпадению выдался праздником и для нас. Рваньё, служившее нам одеждой, заменяли солдатскими тряпками всех армий Европы со времени сотворения мира.

Мне достались ядовито-голубые бриджи с белыми лампасами, французская защитная куртка и длинная шинель неизвестного происхождения; знатоки уверяли — бельгийская. На голове красовался какой-то блин, на ногах — глубокие долбленные колодки. Все это было слежавшееся, пахнущее специфическим запахом долголетнего складского хранения, но почти неношеное и, главное, теплое.

Из склада нас увели в бараки основного лагеря. По асфальту грохотали колодки.

В бараках у стен лежали вороха бумажных обрезков, истертых в труху. Тронешь их — поднимется туча пыли. Но все же это было лучше телятника и лучше мокрой земли в палатке. Мы улеглись потеснее, колодки подложили под головы, и вскоре Олег стал подсвистывать простуженным носом.

Щелкнул фотоаппарат. Меня сняли в профиль, повернули к аппарату лицом, на грудь нацепили черную дощечку — на ней крупно мелом выведен номер 18 989, — и еще раз щелкнул аппарат.

— Все. Следующий!

На табуретку сел Олег. За его спиной висел кусок грязной бязи, кажущейся здесь свежей и чистой, как только что выпавший снег. На ее белизне лицо Олега сразу заострилось, постарело, обтянулось нездоровой землистой кожей. Скулы выдались вперед, нос стал словно бы тоньше и длиннее, вокруг рта залегли горькие складки. Когда он успел так состариться? Неужели же за эти пять месяцев?..

— Как на Доску почета снимают, суки. — Олег подкинул на груди дощечку.

— Вас, вас? — обернулся солдат-фотограф. — Руе!

— Не меня, а тебя сюда посадить бы, хамлюгу. Ферштейн?

— Я, я, ферштейн, — закивал солдат и улыбнулся.

Грянул смех. Олег деревянно уставился в объектив.

Временами лагерь походил на биржу труда: среди пленных сновали типы в штатском, отбирали людей нужных специальностей, формировали рабочие команды, иногда даже угощали нас сигаретами.

Я угодил в группу, состоящую из тридцати человек. Ни Олег, ни Адамов в нее не вошли. Становилось очевидным, что нашей дружбе приходит конец. Горечь близкой разлуки отравляла и без того

не сладкую жизнь. Мучило сознание совершенной оплошности: при более близком знакомстве обнаружилось, что в нашей «тридцатке» все с высшим и средним техническим образованием.

— Черт тебя дернул! — пробирал меня Адамов. — Специалист! Как же! Хватило ума! Привезут на завод, поставят к станку. Что тогда? Откажешься?

— Откажусь.

— И подхватишь пулю в лоб, — безапелляционно ввернул Олег. — Лучше уж г... возить. Руки грязные, зато совесть чистая. Перемудрил, дружок... Эх, ты-ы!

Я отмалчивался. Что им ответить? Ведь назвался же Олег поваром, а Адамов чернорабочим. Зачем было мне называться по специальности?

Мы прощались. Олег расчувствовался. В глазах у него стояли слезы. Мы троекратно наперекрест обнялись и расцеловались, как родные. Адамов же угрюмо наклонил голову и молча пожал руку до хруста в суставах.

— До свидания, ребята. Плен завтра не кончается, еще встретимся, — повторил я слова доктора.

— Будь здоров! Не поминай лихом!

Пассажирский поезд мчался на север. К его хвосту пристегнули наш товарный вагон. У квадрата двери в такт движению покачивались двое пожилых солдат. Они опирались на диковинно длинные винтовки «гра», снятые с вооружения еще в первую мировую войну, и языки их зудели от желания поговорить с пленными. Однако, поглядывая друг на друга, молчали, ожесточенно сплевывали в пролетающее пространство рыжую от табака слюну.



#### Глава IV

##### 1

**К** берегу моря цепко прирос немецкий городишко. Уцепился в берег, как клещ, да так и остался навсегда — маленький, неудобный, открытый всем морским ветрам и косматым косякам промозглого тумана. Над старинными домами с массивными зелеными ставнями громоздились островерхие черепичные крыши. Каждый дом — крепость. Между ними выгнулись мощенные крупными голышами узкие кривые улочки с ленточками

плиточных тротуаров, отполированными до маслянистого блеска башмаками многих поколений пешеходов.

Это север Германии — Померания. Городишко называется Вольгаст. Он точно уснул надолго. Изредка на улицах появлялись прохожие: озабоченная фрау с хозяйственной сумкой, подросток или ветхий старик.

Померания полупуста. Ее «морозоустойчивые» гренадеры воевали в далеком волжском городе, где, по слухам, на лету мерзнут птицы и плевков летит на землю комочком звонкого льда.

Отголоски Сталинградской битвы докатились и в эту глушь. Окруженные русскими, гитлеровские войска, дескать, проявляют чудеса храбрости и героизма. Фюрер за них возносит молитвы, и провидение ему подсказывает, что с ними ничего худого не случится. Но почему-то от гансов и карлов уже месяц нет писем. Померанцы притихли, как, впрочем, притихла и вся Германия.

Но со стороны военного училища, стоящего несколько дальше по берегу моря, целыми днями доносились строевые песни и бравые приветствия «хайль Гитлер». Это должно было свидетельствовать о неистребимом германском боевом духе.

Мглистое утро никак не могло пробиться сквозь туман. Заканчивалась поверка. Вдоль строя шагами крадущейся кошки прохаживался фельдфебель. Из кармана шинели торчал золоченый эфес офицерской шпаги. Несмотря на рань, фельдфебель был уже пьян. Он разглагольствовал, принимал опереточные позы, скопированные с многочисленных фотографий любимого фюрера. Переводчик из пленных переводил из его болтовни самую отъявленную чепуху. Пленные стояли с каменно-серьезными лицами, внутренне давясь от смеха.

— Ауфвидерзейн! — наконец бросил фельдфебель.

— Ауфвидерзейн! — гаркнули пленные, и, как



гигантские кастаньеты, шелкнули две сотни колодок.

— Разойдись!

Из тумана неслышно выдвинулся инженер Мальхе — тот самый, который отбирал нас в Нюрнберге. Он шеф команды. На длиннополом пальто осели капельки росы, под плоскими полями шляпы блестели очки. За ними, казалось, — пустота. Мальхе походил на мрачное привидение, затянутое во все черное. Но это привидение превосходно говорило по-русски с характерным московским выговором.

— Сегодня вы пойдете на работу. Немиров!

— Я!

— В чертежку.

— Господин инженер, в чертежку я не пойду.

— Очень хорошо. Станьте в сторону! Семенов!

— В чертежку не пойду.

— В сторону!

Мальхе невозмутимо продолжал называть фамилии. В стороне уже стояли восемнадцать человек, в их числе и я. Остальные распределены по другим работам.

— Так. Теперь с вами. Я предусмотрел все. Те, что сейчас там, — Мальхе кивнул на ярко освещенную чертежку, — начинали примерно так же. Сейчас вы отправитесь на работу в лес. Не думаю, чтобы там кому понравилось. Поэтому оставляю лазейку: если благоразумие возьмет верх — вы заявите мне и в тот же день пойдете в чертежку. Там тепло. До свиданья!

Лес стоял темной стеной. Угрюмый, мокрый, глухой, он будто ссутулился под тяжестью сизых туч, грузно налегших на его лохматую спину. Даже птиц не было слышно. С ветвей срывались тяжелые капли, цепляли по пути мелкие веточки, и они долго потом дрожали в сыром воздухе, пропитанном запахом перегнившей хвои и листьев и чего-то еще неуловимого и терпкого. Наши колодки грузили в податливой мокрой хвое, выжимали прозрачную, как хрусталь, ледяную воду. В лунках застывали маленькие зеркала — отражали зеленые вершины

да свинцовую каску неба. Изредка попадались замшелые пни давних порубок. Ни бурелома, ни ваlejника, ни милого сердцу мелколесного кустарника. Лес убран, точно причесан, и от этого он был печальный и чужой.

Я в паре с Немировым. Бревно, обросшее слоем плесени, вырывалось из рук как живое. От натуги лицо Немирова налилось фиолетовым румянцем — вот-вот сквозь тонкую кожу брызнет кровь. Я помог ему взвалить на плечо толстый комель, потом через силу поднял хлыст. Мы понесли бревно. Каждый неверный шаг отражался тупой болью в плече, пояснице и где-то в позвоночнике.

Нас восемнадцать человек. По лесу плыли девять бревен. Это цепь. Бревна — звенья.

Колодки ожили, начали ерзать, тереть ноги, проваливаться в рыхлый наст. Ноги в них были как поршни: выдавливали струйки воды. Края колодок ссаживали кожу до крови.

Иногда кто-нибудь не выдерживал, опускал бревно. Тогда многоголосое эхо подхватывало злобную солдатскую ругань и катилось по лесу, как пьяный разнузданный хохот. Цепь останавливалась. Пленный вскрикивал от боли, слышалась натужная возня, и снова мы шагали меж стволов, согнувшись под тяжестью скользких набухших бревен.

Через полкилометра вышли к асфальту, свалили бревна на обочину и без минуты передышки двинулись в обратный путь. Солдаты запаслись дубинами.

Перед вторым рейсом я снял шинель и колодки. Ноги околели. Из многочисленных ссадин текла сукровица.

В середине дня один из пленных, шедший сзади, споткнувшись о корневище, упал. Бревно догнало, вмяло голову в торф; вторым концом оно стегнуло по спине напарника — вырвало клоч куртки и от лопатки до поясницы спустило кожу. Упавшему помощь оказалась не нужной: из ушей хлестала кровь, глаза опустели, без выражения уставились в дальние сосны.



Пасечный стоял, прижавшись к проволоке.

(к стр. 78)

Остаток дня превратился в пытку. Мы уже носили бревна по трое, по четверо, но с каждой минутой убавлялись силы. Продрогшие конвоиры клялись все на свете и, не жалея палок, лупили нас уже безо всяких причин — из простой потребности согреться. Только наступление ночи прекратило эту сумасшедшую работу.

На следующее утро нас построили отдельно. Мальхе спросил:

— Ну-с, как работенка?

В ответ мы угрюмо молчали.

— Вижу, работка пришлась по вкусу. Сегодня будет еще получше, — пообещал он и ехидно улыбнулся, блеснув толстыми стеклами очков.

В тот день мы переносили злополучные бревна от асфальта снова в глубь леса.

После работы, едва добравшись до койки, я забрался под жиденькое одеяльце и долго лежал без движения. Голоса доносились четко, ясно, а я не мог пошевелить даже пальцем. На тело навалилась неимоверная тяжесть, и каждый нерв, каждая клетка и жилка пели тягучую песню безмерной усталости. Так в морозную ночь гудят телефонные провода.

Сосед по койке Волин, опустив в проход длинные ноги, огрызком гребня плавно расчесывал удивительно красивую каштановую бороду.

— Не спите, сосед?

— Нет.

— Я так и думал. После этой идиотской работы заснуть мудрено. Хочу с вами поговорить. Не возражаете?

— Я слушаю.

— Зачем себя гробить? Через несколько дней вам из лесу уже не выбраться. Нужна ли такая жертва? Тем более...

— Что же, Волин, лучше продаться в чертежку?

— Тем более, — спокойно продолжал Волин, — что в чертежке никто ни черта не чертит.

— Агитируете? Катитесь...

— Зачем грубиянить? Скворцов уговаривал нас

по долгу службы. Он начальник чертежки, а я простой смертный. За пять месяцев я сделал единственный чертеж, да и тот попросту перенес со старой синьки на ватман. Я не знаю, к чему сводится работа чертежки, но твердо уверен, что она пока ничего полезного немцам не принесит. Вы слушаете?

— Слушаю. Красиво врете.

— Ну, знаете, вы не красна девица, чтоб вас уламывать. — Волин замолчал и отвернулся.

За столом играли в преферанс.

— С бубен надо ходить! С бубен, а не с пик, — раздраженно колотили костяшками пальцев по столу. Мне казалось, что стучат чем-то острым прямо по черепной коробке. — Дубина чертова, короля подыграл.

— Послушайте, — Волин пересел на край моей койки, — мне будет жаль, если вы неразумно себя погубите. Я такой же русский и, смею говорить, такой же честный человек, как и вы. В свое время тоже таскал проклятые бревна. А потом оказалось, что это вовсе не нужно. Чертежка — ширма. Она создает лишь видимость нашей деятельности. На ее фоне стушевывается работа нескольких продавшихся сволочей вроде Скворцова, Присухина, Будяка. Эти нужны Мальхе. Остальные — мелкота. Пересидел день до вечера — да и ладно.

— Лучше уж в лесу буду пересиживать.

— Как вам угодно. Только ослиное упрямство не является признаком волевого характера. Вы упрямы во вред себе. Неужели же не поняли?

— Понял.

— А сделаете по-своему. Так, что ли? Ну и шут с вами, живите как хотите! — Волин встал и отошел к печке.

От стола доносились возбужденные голоса играющих. Я с огромным усилием повернулся на бок и неожиданно уснул, будто унесло меня, покачивая, в бездонную пустоту.

Через восемь дней я уже без помощи Волина не мог подняться. В глазах все время плыли разно-

цветные круги, ноги опухли, и первые несколько десятков шагов приносили нестерпимую муку, словно забивали в ступни сотни гвоздей.

В команде нас осталось шестеро. Остальные уже сидели в тепле чертежки.

Как обычно, после поверки подошел Мальхе.

— Ну что? Все еще упорствуете?

От нашей группы отделились трое.

— Мы раздумали, господин инженер.

— Поздравляю! — он насмешливо осмотрел их с головы до ног. — Идите в чертежку. А вы? — спросил остальных.

— Я тоже пойду, — ступил шаг вперед Саша Ерохин — высокий худой парень, больше похожий на скелет.

— Пойдем и мы? — толкнул меня Немиров.

Мальхе выжидал молча.

— Что ж, Лева, один в поле не воин. Идем.

— Нет, погодите. Вы идите в чертежку. А вы, — Мальхе кивнул Немирову, — в слесарную мастерскую.

Мы разошлись в разные концы двора. Уже взявшись за дверную скобу чертежки, я оглянулся. Мальхе продолжал стоять посреди двора. Его узкогубый рот кривился в торжествующей улыбке.

## 2

С моря наплывал туман.

Пробивая мгlistую темень, серую от мельчайших водяных капелек, однозвучным альтином тоскливо всхлипывал колокол:

«Ба-лам... Ба-лам... Ба-лам...»

Железный язык бесстрастно и равномерно выколачивал из меди единственный однообразный звук. Он приближался, ширился. За нудным надтреснутым звоном слышалась тяжелая одышка паровоза. Он, кашляя, выталкивал в туман ядовитый сероводород, и газ стлался по земле, отравляя ее, и без того чахлая и унылая.

К подагрическому локтю шатуна подвешен ко-  
локол.

«Ба-лам... Ба-лам... Ба-лам...»

Вечерний дачный поезд протащился в Грейф-  
свальд. Еще долго в тяжелом сыром воздухе висел  
заунывный звон, точно похоронный напев.

Я дремал под вытертым суконым одеялом и,  
подтянув к подбородку колени, отогревался. После  
работы в лесу меня трясло даже возле жарко горя-  
щей печки в чертежке.

За решеткой по стеклам сползали слезливые кап-  
ли дождя, оставляя извилистый черный след. Недав-  
но по баракам прошел низкорослый квадратный ун-  
тер Рыбий Глаз — полусумасшедший злобный кретин.  
От его водянистых выпученных глаз не укрывался  
ни один пустяк. За малейшую оплошность он изби-  
вал круглой оранжевой резиной. Бил только по лицу,  
молча, мастерски, с оттяжкой. На месте удара спол-  
зала полоска кожи.

В тамбур выставили обувь. В комнату затащили  
парашу. За дверьми прогремела связка ключей.  
Ставни завинчены. Из щели под дверью тянуло хо-  
лодом. На пороге нарастал синеватый иней.

Дневальный затопил «буржуйку». Любители по-  
дразнить вечно тоскующий желудок клеили на нее  
пластики хлеба. Аромат печеного связывал в узел  
пустой кишечник.

У стола, подтянув ноги на табурет, резались  
в преферанс. За проигрыш рассчитывались махор-  
кой, а ее ценили на вес золота. Поэтому игра прохо-  
дила азартно, с обязательной руганью. В стороне от  
печки — замораживающий холод.

Я подружился с Волиным. Он большой, сильный,  
хорошо знает жизнь. Люди в его рассказах всегда  
внутренне красивы, собраны, как и сам рассказчик.  
Я был уверен, что фамилия Волин не его и за нею  
он прятал свою настоящую, должно быть имея на  
то особые причины. Все, что он мне рассказывал  
о чертежке, оказалось правдой. В чертежке по-насто-  
ящему работали только четверо: Будяк, Присухин,  
Скворцов и Степанян.

Будяк и Присухин — пожилые опытные инженеры — проектировали мощную турбину. Скворцов и Степанян разрабатывали проект какого-то сверххитересного моста с пролетами между опорами чуть ли не в километр. У их досок подолгу торчали инженеры-немцы, и в случае надобности эти «труженики» могли, взяв с собой чертежи, уйти за проволоку «на консультацию» в стоящий напротив приземистый барак. Таким правом не пользовался даже старшина лагеря Меньшиков.

В чертежке были убеждены, что «спецов» там подкармливали. У Присухина и Будяка под куртками упруго круглились животики. Оба они низкие, коренастые, круглоголовые — Бобчинский и Добчинский. У Скворцова на пунцовой сытой физиономии топорщились рыжие усики, из-под них в улыбке осклаливались мелкие желтые зубы. Остальные делали мартышкину работу: перечерчивали вылинявшие синьки на ватман, копировали затем с них на кальку, и все это для того, чтобы получить такую же синьку, только новую.

Мальхе в чертежке почти не бывал. Вместо него хозяйничали инженеры унтер Пеллерт и рядовой Енике. Унтер щеголял округлыми мягкими жестами, крепкими, как скипидар, духами и медалью за Восточный фронт. Он постоянно улыбался холодной гадючьей улыбкой, был подл и мелочен. Высокий сутулый Енике — страшный с виду — был бесконечно добрым скептиком. От него постоянно несло водочным перегаром, от всего он отмахивался огромной вялой ладонью и даже не вытирал длинную желтую каплю, постоянно дрожавшую на кончике носа.

В течение дня они бывали в чертежке час-полтора. И только в это время мы делали вид, что заняты работой. Остальное время проходило в ничегонеделании и спорах. Самыми заядлыми спорщиками были все те же Будяк и Присухин. Измена Родине все еще щекотала их совесть, и в спорах они пытались обелиться, выгородиться, убедить не только себя, но и других в правоте и необходимости своего подлого поступка.



Спор начинали спокойно, с выдержанными интонациями салонного разговора. А под конец кричали друг на друга и откровенно матерились.

— Я не согласен с вами, Пушкарев, — вернулся к прерванному спору Будяк. — Вы говорите, что наша интеллигенция обязана отдать войне все и даже жизни свои. Подумайте, ведь это же разрушение, смерть. Во имя чего мы должны жертвовать собой? Где же враг? Разве немцы — враги интеллигенции, враги культурных людей?

Пушкарев только хмыкнул.

— Не хмыкайте! Немцы воюют и знают за что. А за что мне воевать? — Атласный череп Будяка покраснел. — За то, что большевики нас колошматили в революцию как хотели? Подозревали, преследовали нас за шляпу, за ношение галстука, за интеллигентные манеры, за то, что мы отличались от мужичья и не хотели с ним якшаться и лобызаться. Перестреляли цвет страны!

— Цветик лазоревый. — Пушкарев улыбнулся колко, ехидно. — Не за тем ли вы и перебежали к немцам, чтобы тут вонять?

Будяк вскипел:

— Да! Перебежал и не скрываю! Не хочу воевать за кусок ржаного хлеба, за котелок пшенной баланды с селедкой!

— Ахинею несешь, — сдержанно ответил Пушкарев. — Народ воюет не только за кусок хлеба. А вообще жаль, что вас, таких типчиков, своевременно не убрали. Цвет!

— Хам! — завизжал Будяк.

На подмогу дружку подскочил Присухин.

— Послушайте, Пушкарев, какими силами вы собираетесь победить немцев?

— Обыкновенными: людскими, лошадиными.

— Вы знаете, я не перебежчик, но...

— Переходчик?

— Язвите? А надо плакать. Именно плакать.

— Плачьте на здоровье. Гнилушки из интеллигенции обычно слезоточивы. Мне тоже не радостно, что мы много кричали о бдительности, а у себя под

носом проглядели будяков и присухиных. Но я же не плачу?

— Вы переходите на личности!

— А вы не кричите. Большая река течет спокойно, а умный человек не повышает голоса.

— Ответьте на мой вопрос: чем вы собираетесь воевать? Нас лупят второй год по загривку...

— А война и не может быть веселой прогулкой. Гитлер своим бюргерам обещал молниеносную войну. Где она? Завязли по шею! Теперь дай бог ноги вытащить да убраться восвояси.

— Кто, немцы завязли?! — От удивления белесые брови Присухина полезли на лоб.

— Вы слепы, как трехдневный котенок.

Присухин протестующе поднял руку. Пушкарев продолжал, не обращая на это внимания, и перед самым носом Присухина загибал пальцы.

— Под Москвой — раз, на Северном фронте — два, под Сталинградом — три... Это начало их конца.

— Ха-ха-ха-ха. Вы шутник, Пушкарев.

— Боюсь, что немцам не до шуток. А вам надо бы умишко иметь хоть маленький, да свой. Интеллигенция! — напомнил ему Пушкарев и, грустно улыбувшись, покачал головой.

— Да, интеллигенция, — подхватил Присухин. — Будяк прав: как бы там ни было на фронтах — мы обязаны сохранить себя. Наша творческая мысль после войны будет на вес золота.

— Правильно! Только вы свою творческую мысль продали немцам и именно за кусок ржаного хлеба да черпак баланды. Лижете им зад! Но в наше будущее не лезьте. Оно вас не примет. И ваши мозги можете выбросить на свалку, они у вас подпорчены.

— Как это?

— А так... — неопределенно буркнул Пушкарев.

— Нет, ты объясни!

— Пошел к черту! Продался с потрохами, а девственницу корчишь, вертишь тут подолом. Иди перед Мальхе поверти — приласкает, подкормит.

— А ты видел? — Присухин уже не владел собой. — Слишком много знаешь, голубчик! Я доложу!

— Катись докладывай! Скворцов, убери эту вертушку! Мешает работать! Как-никак трудимся.

Присухин с радостью донес бы на Пушкарева, но подлая его душонка была очень труслива. Он до икоты боялся сурового суда коллектива. Подполковник же Пушкарев пользовался всеобщим уважением. Был он старше всех по возрасту и званию, отличался безупречной честностью и твердостью характера. Мальхе обращался с ним подчеркнуто вежливо, а фельдфебель откровенно ненавидел, но, уважая начальство, от выражения чувств воздерживался.

Недели через две нам припомнилась фраза Пушкарева: «Это начало их конца». Предсказание сбылось: 1 февраля 1943 года по всей Германии был объявлен трехдневный траур. Окруженная группировка Паулюса сдалась. В Сталинграде с немцами было покончено.

Первое февраля началось, как и обычно, утренней поверкой. Ночью валил густой снег, перешедший к утру в унылый дождь, мелкий, будто просеянный сквозь мучное сито. Белесой вуалью ледяная влага обволакивала двор, бараки, неяркие электрические фонари, колкими капельками сыпалась за воротники. Пленные стояли, зябко приподняв острые плечи, прятали в рукавах разномастных шинелишек посиневшие руки. Под ногами шуршало и чавкало месиво мокрого снега. Перед строем расхаживал фельдфебель. Он был трезв и поэтому особенно зол. То и дело раздавался треск пощечины, сопровождаемый сиплой бранью:

— Рехтс ум!

Вразнобой пленные повернулись направо. Дружно щелчка не получилось. По глубокому убеждению фельдфебеля, строевая подготовка была нужна пленному как хлеб насущный. Четкий солдатский шаг и громкий щелчок каблуков — неотъемлемый признак культурного человека.

Во имя культуры мы месили колодками снежную кашу. Фельдфебель зеленым змием летал по двору, обучая нас сложным перестроениям в движении и на месте.

Команды он дублировал взмахами шпаги, и часто этот атрибут офицерской доблести со свистом ложился на лопатки пленных.

— Нале-во! Напра-во! Круго-ом... марш!

Мокрые колодки скользили, стучали, точно высыпаемая на пол картошка.

— Бегом... марш!

Посреди двора фельдфебель подсчитывал ногу.

— Айн, цвай... Айн, цвай...

Темп ускорялся.

— Бистро, бистро! — кричал фельдфебель, полодея отставших клинком. — Бистро, гер гот сакраменто!

В хвосте едва плелся Жихарев, — задыхался в приступе астмы.

— Вперед! Вперед, доннерветтер!

Взбешенный фельдфебель налетел на него, размахнувшись, ударил по лицу.

Жихарев остановился совсем. Он хватал ртом воздух и налитыми страданием глазами смотрел на фельдфебеля не в силах ни двинуться, ни перевести дыхание.

— Вперед, ты, лодырь, собачий сын!

В электрическом свете клинок сверкнул, как короткая вспышка молнии. Тихо вскрикнув, Жихарев опустился на снег.

— Вперед! — окончательно озверев, фельдфебель сделал выпад. Клинок с хрустом прошел сквозь сухенького, тщедушного Жихарева. Он выгнулся дугой назад, схватился рукой за шпагу и враз обмяк, повалился на бок. Изо рта хлынула кровь.

Похоже было, что Мальхе наблюдал из окна. Он влетел во двор, грубо оттолкнул фельдфебеля и с силой выдернул лезвие шпаги. По двору раскатилась звонкая пощечина. Потирая щеку, фельдфебель, как нашкодивший пес, быстро пошел к выходу, вовсе не по-строевому загребая вывернутыми внутрь огромными ступнями.

Жихарев был мертв.

— Меньшиков! — позвал Мальхе. — Уберите труп в холодную. Людей распустите по баракам.

В середине дня под конвоем подслеповатого солдата двое пленных отвезли Жихарева на кладбище.

После обеда Скворцов принес газету «Фолькишер беобахтер». Первая полоса была окаймлена жирной траурной рамкой. Не обращая внимания на Енике, пленные сгрудились у доски Волина. Спотыкаясь на словах, прочли сообщение о сталинградском разгроме.

Впервые за время войны гитлеровское правительство открыто признало убийственный для немцев затяжной характер войны с русскими. Геббельс не жалел слез для оплакивания двухсот тысяч своих соотечественников, павших в далеком, разрушенном и невообразимо холодном волжском городе.

С грустью глядя на откровенно радостные лица пленных, Енике морщился, как от кислого, и, безнадежно махнув рукой, пробасил:

— Э-э... Дрянь... Гитлер капут.

За его сутулой спиной глухо притворилась дверь.

— Пошел пить.

— Помяни их душонки!

— Ну, Присухин, есть у нас чем воевать?—Пушкарев похлопал толстяка по плечу.

Присухин поежился, как от холода, что-то буркнул и ушел в свой угол.

— Хорошенько подумай, по какой дорожке идешь! На этот раз кривая не вывезет. Будут вешать — попроси, чтоб намылили веревку. Насухо это не совсем приятно.

К Пушкареву подлетел Будяк. Он заикался от злости, розовая лысина стала малиновой.

— Р-р-рано т-торжествуешь. Т-тебя скорей повесят, коммунист проклятый, м-может, и завтра.

— При твоём содействии повесят, — уверенно подтвердил Пушкарев. — Только всех не перевешают. Кое-кто и вами займется.

— Иди к Мальхе! — Между Будяком и Пушкаревым крепко встал Волин. — Иди пожалуйста, Иуда. — Он подтолкнул Будяка к выходу. — Не забудь только гроб заказать. Ну, марш!

Будяк трусливо вобрал голову в плечи, но еще пытался защищаться:

— Вот она, советская демократия: рта не открой! В двери появился Мальхе.

— Скворцов, занятия в чертежке прекратить на три дня. Распустите людей по баракам и зайдите ко мне.

Мальхе долгим испытующим взглядом оглядел взволнованные лица пленных, молча повернулся кругом и ушел, громко бухнув дверью. По двору он прошел, высоко вздернув голову, по-военному припечатывая шаг.

Вечером вернулась в лагерь рабочая команда из больших механических мастерских, расположенных на острове. Из кузова грузовика пленные бережно сняли тяжелый тюк, обернутый несколькими шинелями.

— Кто это?

— Что с ним?

— Да говорите же, черти! Кого это?

— Яша Суков, — неохотно обронил грузный Симаков. — Пропустите.

Сукова пронесли в комнату. Во дворе осталась возбужденно шумящая группа пленных. Мимо них проскочил Рыбий Глаз, зло покосился...

Через несколько минут, дребезжа, к лагерю подкатил допотопный автомобиль. Устало чихнув, он остановился, вытолкнул из себя такого же старого доктора с потертым кожаным саквояжем. У Сукова старик пробыл не меньше часа...

Утром Суков получил от мастера очередное задание, подвез к станку заготовки, заточил резцы. Шпиндель завертелся, с болванки пополз блестящий завиток стружки. Новая деталь, только что вынутая из патрона, сияла на стеллаже. Подошел мастер, повертел ее в руках, поставил на место, перешел к соседнему станку, но, что-то вспомнив, вернулся, прихватил деталь и размашисто пошагал в конторку.

Через минуту он выскочил, будто его вытолкнули в шею. Длинный унылый нос покраснел, очки в тяжелой оправе подпрыгивали при каждом шаге, а по-

лы развешающегося халата дополняли сходство с разъяренным индюком.

— Это что? Саботаж? — Он вертел деталью перед носом Сукова. — Я тебя спрашиваю: это что?

— Господин мастер...

— Я давно мастер. Сколько болванок запорол? Раз, два, три... шесть. Ты знаешь, чем это пахнет?

— Что здесь происходит?

За мастером появился командир конвойной роты барон фон Вальк. Никто не заметил, откуда он взялся — словно вырос из клинкерного пола. Обер-лейтенант — худой до странности. Даже вата, обильно подложенная под сукно мундира, не могла выровнять впалую грудь. Ремень с кобурой миниатюрного пистолетика кривобоко висел на заделанных в боковые швы крючках. Узкие лакированные голенища все-таки казались слишком свободными.

— Что здесь происходит? — переспросил он жестяным голосом.

— Небольшая неудача с деталью. — Мастер достаточно хорошо знал скорого на руку барона.

— Вы хотели сказать — шесть деталей? Это уже не неудача, а производственный саботаж. Вероятно, вы так и хотели сказать? — Вальк не спускал с мастера близоруко прищуренных глаз.

Мастер пожал плечами.

— Ты почему не работаешь? — Вальк перевел глаза на Сукова.

Взяв новую заготовку, Суков начал зажимать ее в патроне.

Пустить станок ему уже не удалось. В гуле мастерской детской хлопушкой щелкнул пистолетный выстрел — слабый, едва слышный, но достаточно сильный, чтобы бросить Сукова вперед головой поперек токарного станка. Рука повисла рядом с пусковой кнопкой.

Обер-лейтенант фон Вальк деревянными шагами отмерил расстояние до остекленной входной двери. Минув ее, вложил пистолет в кобуру и, сложившись, как деревянный метр, бросил свое угластое тело на сиденье «оппеля». Автомобиль рванулся с места,

оставив в воздухе голубую струю бензиновой гари.

Случилось чудо: пуля только контузила Сукова. Пробив на затылке кожу, она обогнула часть черепа и застряла выше уха.

В чугунной печке пламя лизало кубики брикета. В чертежке было тепло. От ярких ламп разливались потоки ровного света.

За тонкой деревянной стеной разгуливал порывистый ветер, захватывал в широченные пригоршни тысячи дождевых капель и с размаху швырял их в окна, время от времени гремел листом железа, отставшим где-то на крыше. Косые струи дождя секли пустой двор и жалкую фигуру человека, поникшего между рядами проволоки.

После убийства Жихарева фельдфебель стал реже бывать на поверках — не чаще одного-двух раз в неделю. Шпагу носить перестал и не раздавал пощечин, но каждое его появление приносило нам все новые и новые издевательства, на которые фантазия этого кретина была поистине неистощимой. Он нас ненавидел слепой животной ненавистью и каждую, даже самую малую, возможность насолить нам он старался использовать как можно полнее. Действовал он в тесном союзе с погодой, будто нарочно ставшей нашим врагом.

В то утро фельдфебель устроил осмотр на вшивость. Мы стояли под дождем раздетые до пояса, держали на руках вывернутое наизнанку белье, сразу намокшее. По спинам скатывались струи ледяного душа. Между шеренгами издевательски медленно продвигался фельдфебель, за ним — Рыбий Глаз, оба в плотных прорезиненных плащах.

— Это что? Почему одет? — Фельдфебель остановился перед капитаном Пасечным. — Ты лучше других? Что?

— Я болен. У меня туберкулез.

— У меня тоже туберкулез. Раздевайся!

— Я не могу, господин фельд...



— Не можешь? Не надо. Грюнблат, поставьте его за проволоку. Да, да, к нашим собачкам.

Рыбий Глаз рванул капитана за рукав, осмотрел кругом, будто впервые видел, втолкнул в тесную загородку между рядами проволоки и замкнул его в обществе сторожевых псов. Ощерив клыкастые морды, псы набросились на капитана, но, привязанные на коротких поводках, до человека не доставали. Между псами и человеком оставалось несколько сантиметров. Пасечный стоял, прижавшись к проволоке.

Часа через два собак увели в барак. Оставшись один, капитан тяжело обвис на проволоке, потом в изнеможении опустился прямо в мутную лужу.

Дождь все лил. Пленные столпились у заплаканных окон чертежки, жалели капитана, проклинали фельдфебеля, погоду и свое бессилие.

Перед обедом в чертежку вскочил Пеллерт. Пленные бросились врассыпную по местам. Я ковырял в печи проволочной кочережкой.

— Почему вы сегодня целый день торчите в окнах? Почему не работаете?

Никто не ответил. В дальнем углу из-за доски показался Скворцов, пошел по проходу к Пеллерту.

— Почему не работаете?

На этот раз Пеллерт уже обращался прямо ко мне — я был к нему ближе всех.

— Гляньте, господин Пеллерт. — Я показал за окно. По стеклу тонкой пленкой сливалась вода. Фигура Пасечного, распростертого на земле, казалось, шевелилась, менялась в размерах. — Разве это допустимо?

— Понятно. Протест против административных мер?

Подошел Скворцов.

— Все в порядке, господин Пеллерт. Люди на местах и работают.

— Я доложу инженеру Мальхе. — Пеллерт крутнулся юлой, выскочил из чертежки.

— Черт вас дернул с вашими объяснениями. Теперь вони не оберешься. Идите на место! — рассер-

женный Скворцов глянул на меня чертом и, бухнув дверью, выскочил за Пеллертом.

Минут через пять в чертежку пришли двое солдат и Рыбий Глаз.

— Иди сюда! — поманил меня пальцем унтер. — Оглох, что ли?

Я вышел в проход. Чуть откинувшись, унтер взмахнул рукой. Страшная боль резанула меня поперек лица, и в следующую секунду от дюжего пинка унтерского сапога я вылетел из чертежки, открыв голую дверь.

Унтер, злобствуя, долго не мог открыть забухшую дверь в холодную. Из раскрытого темного зева пахнуло промозглым холодом и гнилью. Инстинктивно я отшатнулся и получил удар между лопаток. Споткнувшись о порог, я полетел к противоположной стене, оттолкнулся от нее, но меня настиг новый удар, свалил на пол, и не успел я приподняться, как ураган тяжелых ударов смял меня, превратил в комок нервов, кричащий от острой боли. Меня топтали, били прикладами и просто кулаками, швыряли, поднимали и снова швыряли от стены к стене. Я ударялся с размаху о гулкое дерево и отлетал от него, как от пружинного матраца. Потом перестал видеть, кто бьет, только чувствовал тупую боль, слышал злобую ругань...

Беспамятство сменилось ознобом. Тело стало непослушным, дрожало, корчилось; порознь прыгали руки и ноги, бились об пол и причиняли все новую боль.

Усилием воли я заставил себя подняться и, придерживаясь за стену, начал передвигаться вдоль нее. Переламывая себя, я ходил все быстрее и, наконец, хоть частично подавил этот изнуряющий озноб.

Прошло, наверное, не меньше часа. Ржаво взвизгнул замок, со света внутрь шагнул фельдфебель. На боку желто блеснул эфес шпаги. Он нацепил ее вновь, и уже это одно не предвещало ничего хорошего.

— Идем! Выходи!

Под дождем выстроилось четырехугольником каре

солдат с винтовками наперевес. Один посторонился, дал мне дорогу внутрь.

Сердце ухнуло и тоскливо замолчало: такие каре я уже видел и всегда только в одном случае — перед расстрелом.

Стоя внутри каре, я оглянулся на чертежку. К зеленноватым стеклам прилипли расплюснутые носы. Лица пленных были вытянуты и бледны. Запомнился Волин. Он меня ободрял: кивал своей широкой, венником, бородой и сжимал поднятый над головой кулак.

Встав впереди, фельдфебель широко зашагал к выходу. Мы быстро пересекли двор, повернули к морскому побережью. Оттуда доносились тяжелые вздохи накатных волн и тоскливые крики чаек.

У приземистой замшелой постройки нас поджидал Мальхе, с ним барон фон Вальк и еще один штатский в широкополой шляпе, из-под которой растекался по груди сигарный дым.

Меня поставили к стене. Сердце билось редко, сильно, точно молот. Было жаль себя. Верткой холодной змейкой юлила в груди тоска по уходящей жизни, в каком-то уголке что-то щемило жалобно и одиноко, точно звенела на одной ноте тоненькая дрожащая струнка.

Напротив выстроились в ряд солдаты. Со мной повторяли то же, что было со старшим лейтенантом Власенко. Он дорого продал свою жизнь. А я?

Не изменяя обычной вежливости, подошел Мальхе.

— Я не могу поверить тому, что произошло в чертежке. Это бунт. Забастовка! Кто зачинщики?

— Не было никакого бунта! — крикнул я в отчаянии. — Ничего же не было!

— Неправда! — Голос Мальхе прозвучал металлом. — За свою глупость вы поплатитесь головой.

Вскинутые на изготовку, повисли длинные стволы винтовок, нацеленные, казалось, прямо мне в переносицу. Сердце отсчитывало последние долгие секунды. Я не выдержал, закрыл глаза.

— Отставить!

Мальхе подошел снова.

— Так кто же зачинщики? Я даю вам возможность поумнеть. Используйте ее. Не хотите?

Винтовки снова смотрели мне в глаза нестерпимой чернотой выходных отверстий.

— Считаю до трех с промежутком в пять секунд. Последний счет — ваша смерть. Раз!

Обрывки мыслей лихорадочно прыгали с предмета на предмет. Это были пустяки, не имевшие никакого отношения к происходившему.

— Два!

Отчетливо представилось, куда попадут пули: в сердце и в лоб. И вдруг стало так больно, что я ухватился за грудь руками, пытаюсь зажать боль в ладонях.

Снова команда:

— Отставить!

Ехидно сощурившись, откуда-то сбоку подкрался ко мне фельдфебель. Накинув на лицо пахнущую мылом тряпку, он стянул ее на затылке жестким узлом.

— Последние секунды, — донесся голос Мальхе. — Итак?

«Сейчас... Сейчас...» Безумно хотелось жить, еще хоть секунду. Хоть взглянуть на мир в последний раз, а потом...

Я судорожно рванул с лица повязку.

Мальхе вкрадчиво спрашивал:

— Что? Испугался? Хочется жить? Кто же зачинщики?

— Не мучайте, Мальхе. Не было бунта.

— Упрямышься, осел? Мне тебя убить проще, чем раздавить клопа. Жаль Пасечного? Солидарность? Благодарю судьбу, что здесь я хозяин. Попади к другому — уже протянул бы ноги. Дурак!

Мальхе и толстяк в штатском несколько минут совещались. Потом все пошло в обратном порядке: то же каре, и я в центре, но шли уже к лагерю.

Когда переходили линию узкоколейки, за спиной ударил выстрел. Я шарахнулся в сторону, зацепился ногой за рельс и упал. Сзади скрипуче рассмеялся

фон Вальк, сдержанно улыбнулся и Мальхе. От злобы у меня потемнело в глазах.

Снова был леденящий холод карцера. С одежды стекали струйки воды. Напряжение последних минут схлынуло. Холод схватил в цепкие клещи. Вновь крупный озноб колотил меня о щелястые доски пола, и остановить его я уже был не в силах.

Спустя полчаса потащили к Мальхе.

— Я считаю, что вы наказаны достаточно. Сегодня отделались мелким испугом. — Он улыбнулся. — Но из этого сделайте вывод, что Германия — страна, не подходящая для разных большевистских штук. Вам понятно?

— Понятно.

— Идите в барак. Отдыхайте.

Я «отдыхал». Меня накрыли одеялами, собранными с половины коек, но я не мог согреться. Прыгали нервы, плясала в ознобе каждая жилка, и только к вечеру я согрелся и кое-как успокоился.

На краю койки примостился Волин.

— Так-то, друг мой. — Он долго сидел, задумчиво опустив голову, большой, тяжелый и очень грустный. Широкая рука гладила поверх одеяла мое плечо. — Считайте себя воскресшим из мертвых. Радуйтесь. Вот, возьмите подкрепиться. — Он сунул мне под одеяло нарезанный дольками хлеб. — Ребята собрали.

Теплый комок подкатил к горлу. Я попытался говорить, но вместо этого в груди что-то булькнуло и в глаза будто брызнули кипятком. Электрическая лампочка замигала косо и тускло.

В первых числах марта Мальхе отобрал одиннадцать человек из бывших тогда в лесу и с двумя конвоирами отправил нас в один из лагерей Польши.



## Глава V

### 1

**В**здрагивая на рельсовых стыках, поезд увозил нас на юго-восток. Тяжело отдувался паровоз. Встречный ветер выхватывал из его трубы длинный хвост черного дыма и, поваляв его по спине поезда, бросал под колеса.

За окнами пронеслись закопченные окраины Штеттина. Последние дома растаяли в мутной пелене дождя. Потянулись скучные, набухшие водой поля. Вдоль полотна дороги однообразно вышагивали

телеграфные столбы. На провисших проводах кое-где дремали сгорбленные вороны, спросонья испуганно встряхивались, косо оглядывали поезд и тут же засыпали в прежней унылой позе.

Временами казалось, что и поля, и столбы, и прозрачные, насквозь редкие леса мчались на нас и лишь перед самой стеной вагона податливо расступались, пропускали поезд и затем смыкались снова.

Во всем уныние и однообразие. Вокзалы были забиты военщиной. Серо-зеленые шинели, ранцы, винтовки, гофрированные банки противогазов... Изредка показывалась шляпа обывателя или худая толстоногая немка.

На всех лицах одно выражение — озабоченность. Люди в вагоне менялись, но почему-то они были все очень похожи: пережевывали скудные бутерброды с маргарином, дремали, неохотно обменивались такими же скучными, как и бутерброды, фразами.

Мы мало знали этот народ, и все же перемена в нем стала заметна и нам.

— Другими немцы стали, — сказал Немиров. — Не те, что в прошлом году. Старье пошло под ружье. Посмотрите-ка!

— Нам «от ентаго не легче», — басом отозвался из угла Воеводин словами знакомого нам анекдота.

— Как это не легче?

— А очень просто. Как лупили нас с тобой, так и лупят. Ты вот умница, а какой-нибудь вислоухий немец бьет тебя по ушам — только треск идет.

— Не обо мне речь. Германия в целом слабеет. Ты обратил внимание на «тотальных» старичков? Винтовки «гра» видел?

— Сдаюсь! В мировом масштабе ты прав. Но на нас с тобой еще хватит этих... собак. — Воеводин кивнул в сторону солдата, задремавшего у двери.

— Хватит. Только, вероятно, и они теперь думают по-другому, — не сдавался Немиров.

— Вероятно, — передразнил Воеводин. — Много им еще надо, чтобы поняли все по-настоящему. Поймут и то будут соваться в драку.

— С такими солдатами много не навоюешь.

— Ошибаешься. Сопротивляться они будут долго. Те, кто надеется, что еще один-два хороших русских тумака — и дело пойдет к концу, глубоко заблуждаются. Прямо скажем, вредно заблуждаются. Пленным нельзя ожидать. Надо самим приближать этот конец.

— Как?

— Подумай, может, и до другого чего додумаешься. Эх, закурить бы!

На вторые сутки небо стало проясняться. Сквозь прорехи в облаках солнце бросало на землю снопы лучей, и, пройдя сквозь оконное стекло, они растекались по вагону мягким теплом.

Изменился и пейзаж. Вместо расчищенных лесов, точно выстроенных к параду, появились веселые березовые перелески. На взгорьях размахивали крыльями ветряки, словно прохожие, остановясь, приглашали остановиться и нас. Мелькали соломенные крыши хуторов, началась Польша. И хотя до Родины было далеко, а до свободы еще дальше, повеяло чем-то родным, и на душе стало теплее.

В Познани поезд стоял около часа. Против нашего хвостового вагона на перроне стоял небольшой опрятный барак, окрашенный веселой голубенькой краской. Дверь его то и дело пропускала деловито спящих женщин в форменных серых платьях и крахмальных наколках, закрепленных по-монашески у самых бровей. На белоснежных передниках — красные кресты.

По соседству с дверью на стене барака висела скромная надпись: «Питательный пункт Красного Креста».

— Для кого этот пункт? — спросил Немиров часового.

Солдат был занят: разрывал сигаретные окурки и набивал ими трубку. Не глядя в окно, он молча пожал плечами.

Мимо вагона, семена лакированными туфлями, проходила сестра милосердия.

Немиров постучал в окно. Сестра остановилась, недоуменно вскинула шнурочки бровей.



— Эсен... Эсен... — Немиров к словам прибавил понятные всему миру жесты.

— Кто вы?

— Русские военнопленные. Мы уже сутки не ели.

— Я спрошу... Только мы не кормим русских.

Через несколько минут к вагону подошли высокий красивый офицер и пожилая дама в форме Красного Креста. Перед ними в почтительной позе застыл наш старший конвоир. Через открытую дверь доносились обрывки разговора.

...— Но господин капитан знает, что мы не обязаны обслуживать русских! — возмущалась дама.

— Фрау Веллер, Красный Крест не станет беднее, если мы накормим десяток голодных людей. — Офицер нажал на последнее слово.

— У нас ничего нет! — Мятое лицо фрау Веллер от возбуждения порозовело.

— Неправда, — спокойно возразил капитан.

— Как хотите, господин Крамер. Я умываю руки.

Величественно вскинув голову, пожилая дама ушла в барак, в сердцах бухнув дверью так, что звякнули стекла. Капитан продолжал стоять у вагона.

Немного погодя принесли алюминиевые тарелки, ложки и бачок с раздражающе пахнущим варевом.

С заученной казенной полуулыбочкой молодая сестричка раздала нам почти прозрачные ломтики хлеба и обидно малые порции гороховой похлебки. Животы наши были основательно затянуты под ребра. Пока получал еду последний — первый с нею уже расправился.

Кто-то подставил тарелку вторично. Сестра вопросительно поглядела на капитана. Кивнув на барак, тот отрицательно покачал головой: к оконному стеклу прилипла злая физиономия фрау Веллер.

Скудный завтрак только раздражил пустые желудки, но и за него мы были благодарны.

— Спасибо, господин капитан.

— Нитшево. Я знайт, что такой голод, — ответил он по-русски.

Вечером приехали в Лодзь.

В высоком вестибюле вокзала бросились в глаза надписи: «Только для немцев» и «Только для поляков».

Воеводин дернул за рукав Немирова:

— Видал?.. Чертовски похоже на объявления: «Цветным вход воспрещен» и «Только для белых». Вот тебе и цивилизация!

На привокзальной площади шумно дышал большой город. Сигналили многочисленные автомобили, трещали звонки трамваев. Одолеваемая множеством забот, шумела подвижная толпа. Часовые наши насторожились и чуть ли не держали каждого за рукав.

На подошедшем трамвае — те же надписи.

В прицепном вагоне, давая нам место, поляки потеснились. Конвоиры стояли над нами, как наседки, тревожно посматривали по сторонам. Улучив удобный момент, поляки поднимали над головой сжатые кулаки, подмигивали, сочувственно улыбались.

Ехать пришлось через весь город. На окраине, где дома поменьше и почти не видно прохожих, мы вышли из трамвая и загромыхали колодками по булыжной мостовой. Встречные пешеходы жались к стенам, как безликие черные тени. Где-то в конце улицы мы нырнули в длинный узкий проход и, наконец, вышли к ярко освещенному лагерю.

Была уже ночь. В пустом бараке стояли клетки двухэтажных коек. Бумажные матрацы были холодны, как лед.

— Воеводин! — позвал я. — Ты где?

— Тута!

— Давай сюда, вместе ляжем.

— Идет. Вдвоем теплее.

Поверх шинелей я набросил матрац. Лежа рядом, мы согревали друг друга. Говорили о победе, о трудности организованной борьбы пленных с немцами.

Уже далеко за полночь Воеводин доверительно прошептал мне в ухо:

— Я тебя в Вольгасте проглядел. С неба звезды не хватало, но кое-что все же делали. Теперь надо ко всему присматриваться заново. Немцы нас пере-

тасовывают не зря. Они, сволочи, понимают: чтобы организовать, нам необходимо принюхаться, присмотреться. Перебросками из лагеря в лагерь они нас лишают этой возможности.

— Значит, мы так и не сумеем ничего сделать?

— Погоди. Где-нибудь да остановимся, где-то да зацепимся. Посмотрим еще, что здесь за лагерь. Одним словом, утро вечера мудренее. Спим.

## 2

Лодзинским лагерем ведали имперские воздушные силы. Контингент военнопленных состоял, за редким исключением, из сбитых летчиков, штурманов, стрелков-радистов, техников — народ развитой, непримиримый и решительный.

На второй день нас начали «обрабатывать». Передо мной за широким письменным столом сидел светловолосый, рано облысевший лейтенант. Вежливо улыбаясь, он подвинул коробку польских папирос «Юнак».

— Закурите.

— Благодарю вас.

Душистый дым не немецкой сигареты, которую курил лейтенант, смешался с тяжелой вонью папиросы, сделанной из бросового табака.

Огонек быстро передвинулся к мундштуку. С сожалением я загасил папиросу и покосился на коробку. Перехватив мой взгляд, лейтенант любезно предложил:

— Возьмите себе несколько штук. Где вы попали в плен?

Я отвечал на вопросы. Перо легко бегало по белому полю бумаги.

— Назовите известные вам крупные военные объекты. Ну, там, аэродромы, склады, заводы...

— Пожалуйста. В Харькове на окраине города расположен ХТЗ — Харьковский тракторный завод. До войны он выпускал...

— Нет. Это меня не интересует. — Лейтенант ра-

зочарованно вытянул губы. — Расскажите о тех объектах, что там, за Волгой, — он махнул узкой кистью вперед себя, куда-то в угол комнаты.

Я с сожалением развел руками.

— Дальше Сталинграда я на востоке не был.

— Это правда?

— Правда.

Лейтенант помолчал, рисуя ниже текста протокола какие-то завитушки, потом, скомкав его, бросил в корзинку. Я заметил в ней не один уже такой комок. Сморщившись, он кисло процедил:

— Я вас больше не задерживаю. Пусть войдет следующий. Э-э-э, погодите минутку, — услышал я, взявшись уже за дверную ручку. — Положите папиросы на место.

После меня вошел Воеводин и вышел оттуда, откровенно смеясь.

— Разведчики... чтоб вы скисли.

Постепенно наша группа распалась. Каждый пристроился там, где ему показалось лучше. Мы с Воеводиным держались вместе.

— Ты на чем-нибудь играешь? — спросил он однажды.

— Преимущественно на патефоне. На нервах тоже.

— Я серьезно спрашиваю.

— Ну, если серьезно, то когда-то пиликал на скрипке. Тебе на что?

— Ты оркестр слышал? — ответил он вопросом на вопрос. — Туда попасть — мечта поэта. Баландишки лишний черпак, посылают на работу в город... Если повезет — рванем домой. А, братишка?

— Ты хорошо узнал? Может, от того оркестра надо, как от чумы, сторонкой да подальше?

— Все в порядке. Оркестр из пленных и для пленных. По субботам в лагерном клубе дают концерты для нашей же братии. Разве это плохо?

— Небось «Боже, царя храни» играют да разную фашистскую дрянь?

— Ничего подобного. Ребята там подобрались правильные.

Я еще сам присмотрелся издали к оркестру, потом с Воеводиным мы пошли к дирижеру «наниматься».

— На чем играешь? — спросил он строго.

— На гитаре, — уверенно ответил Воеводин.

— Не надо. А ты?

— Лет пять назад играл на скрипке.

— Володя, дай скрипку. Сыграй, что помнишь.

Я решил действовать по принципу «пришел и победил». Когда-то мне не плохо удавался «Чардаш» Монти. Взяв скрипку и подстроив опустившийся басок, я уверенно бросил на струны смычок. Начало получилось терпимо. Затем из-под смычка посыпались фальшивые мяукающие звуки, временами скрежещущие, будто я драл по стеклу гвоздем. Дойдя до вариаций, я окончательно запутался и замолчал.

Костин не рассердился, не выгнал.

— Не плохо. — Он улыбнулся. — Нам нужна вторая скрипка. Поупражняешься — будешь играть. Вон там будет твое место.

Из дружбы к Воеводину я готов был отказаться и от второй скрипки и от места. Поняв мое состояние, Воеводин бодро сказал:

— Прекрасно, дружище. Живи здесь. Видеться нам не помешают. Пойдем, заберешь шинельку.

Несколько дней я усердно пиликал в своем углу. Настолько усердно, что успел всем надоесть.

— Да брось ты, ну ее к черту, твою скрипчонку. Хоть удирай! — Солист Дядюшков взмолился: — Костин, скажи ему, пусть заткнется.

— Пусть играет.

Субботними вечерами в лагерном клубе устраивались концерты. Клуб — обыкновенный барак, только междуконнатные перегородки в нем разобраны и в одном конце «зала» возвышалось некое подобие сцены. На простенках между окнами с большой любовью и мастерством написаны лубки на темы русских сказок.

Последняя неделя — почти непрерывные репетиции: предстоял концерт для лодзинского белоэми-

грантского общества. По поводу такого торжества нас обрядили в английские солдатские брюки и синие рубашки с отложными воротниками. На правой штанине брюк был карман, в который можно было сложить все пожитки пленного. Колодки нам заменили нормальными кожаными ботинками, и, вероятно, если посмотреть со стороны, вид у нас был не такой уж плохой. А то, что подтянуло животы, не видно.

Подошла очередная суббота. Часов с семи начали собираться гости. Среди них не было ни одного свежего молодого лица. Пришли потертые мужчины в лоснящихся костюмах и старомодных шляпах. За их локти цеплялись такие же потертые дамы, шуршали подкрахмаленным старым шелком и пугливо оглядывались на пленных. Некоторые проходили надменно, высокомерно, не повернув головы. Некоторые кивали пленным, сохраняя на лицах непрístupную холодность и заученную барскую скуку.

В первом ряду уселись офицеры охраны во главе с комендантом лагеря. За ними — гости. Остаток «зала» заполнили пленные. Невместившиеся толпились за раскрытой дверью.

Рывками разошелся ситцевый занавес. Торжественные звуки марша из «Аиды» наполнили зал, выхлестнулись через узкую дверь, понеслись над лагерьем в посиневшую даль.

На лицах гостей обозначились снисходительные улыбки. Они тихонько перешептывались, кивали головами, награждали нас вялыми хлопками безмускульных рук.

После нескольких вещей классического репертуара на авансцену вышел Женя Дядюшков. В зале зазвучала русская музыка.

Гости перестали улыбаться. «Средь шумного бала» напомнил им, видимо, лучшие времена: домашние гостиные, зальцы с лакированными ящиками роялей, каминами и мягкими креслицами вдоль стен. Женщины извлекли из сумочек крохотные платочки, прижали их к усталым выцветшим глазам.

Но вот снова тихо и задушевно зазвучал оркестр.

Задумчиво и грустно, заунывно и тоскующе пропела фразу валторна. Подхватив ее тоску, запел Дядюшков:

Спит деревушка. Где-то старушка  
Ждет не дождется сынка.  
Старой не спится, вялые спицы  
Мелко дрожат в руках.

И мелодия и рожденные войною слова песни волновали не только нас, пленных. Чопорные дамы в черном, уже не стесняясь, сморкались в скомканные платочки, мужчины подозрительно низко опускали головы, а Женя все крепче овладевал слушателями. В голосе певца слышалась такая неподдельная тоска, что под рубашку закрадывался легкий холодок, сжимал грудь — хотелось плакать просто, по-человечески.

Ветер соломой шуршит в трубе,  
Сладко мурлыкает кот в избе.  
Спи, успокойся, шалью накройся —  
Сын твой вернется к тебе.

Казалось, в зале не было ни души. В тишине дрожали тихие голоса инструментов, и мягкий тенор Дядюшкова звучал приглушенно, скованный большой человеческой грустью.

Но не бесконечна эта грусть! Придет время, закончится война, и вот:

Утречком ранним гостем неожиданным  
Сын твой вернется домой,  
Варежки снимет, крепко обнимет,  
Сядет за стол с тобой.

Будешь смотреть, не спуская глаз,  
Будешь качать головой не раз,  
Тихо и сладко плакать украдкой,  
Слушая сына рассказ.

Закончилась песня. Как прозрачный затихающий звон хрустала замер последний звук. И когда он растаял, в зале все еще было по-прежнему тихо. Потом, как взрыв, на нас обрушились аплодисменты, крик, топот ног, и все это долго бушевало в переполнен-

ном зале. Мы раскланивались и едва сдерживали подступавшие слезы.

И вот снова звучит вступление. Это новинка, только неделю назад записанная Костиным с голоса «свеженького» пленного. И сам он сидел в зале, белея завернутой в бинты обожженной головой.

Бьется в тесной печурке огонь,  
На поленьях смола, как слеза.  
И поет мне в землянке гармонь  
Про улыбку твою и глаза.

Дядюшков пел тихо, проникновенно. Каждое слово западало прямо в сердце, находило живой отзвук на понятную и близкую нам жалобу солдата:

Ты сейчас далеко-далеко,  
Между нами снега и снега.  
До тебя мне дойти не легко,  
А до смерти четыре шага.

И вдруг Женя преобразился. Голос зазвучал уже не грустно, а бодро, жизнеутверждающе. Песня полилась уверенно, напористо, и нет уже прежней тоски.

Пой, гармоника, вьюге назло,  
Заплутавшее счастье зови.  
Мне в холодной землянке тепло  
От твоей негасимой любви.

Зал уже не аплодировал — он ревел. В маленьком бараке было тесно звукам, а крохотной сцене тесно от людей. Гости ринулись к нам. По щекам их катились слезы, и они их не стеснялись, не вытирали, а сквозь слезы улыбались, и тут же всхлипывали, и крепко жали наши руки.

— Милые... Наши... Русские...

Мужчины торопливо совали нам весь свой личный запас сигарет. Комендант это заметил, вскочил на эстраду.

— Отдать! Вернуть немедленно!

Офицеры охраны отобрали сигареты, растерли на полу в рыжую пыль.



Комендант обратился к гостям:

— Господа! Прошу освободить сцену. Через пять минут в лагере отбой.

Уже улегшись, Костин, улыбаясь, похвалил Дядюшкова.

— Здорово же ты их пронял. До слез!

— Кого? — не сразу понял Женя.

— Да ну тех, эмигрантов,

— Нет, Костин. Я тут ни при чем. Жизнь их допекла. От хорошей жизни не плачут.

### 3

Картофель в человеческой жизни стал продуктом совершенно необходимым, однако домашние хозяйки чистят его не всегда с охотой. А если картошка прошлогодняя, проросшая, гнилая и вялая, и тупой нож сдирает кожу с пальцев с большей охотой, чем с картошки, и начистить надо ее ведра четыре — тогда она может опротиветь на всю жизнь.

На кухне сидело нас четверо. Иными словами — четверо пленных и часовой, усердно выколачивающий из нас норму чистки проклятой картошки. Вчетвером мы ее должны были начистить шестнадцать ведер, но они наполнялись убийственно медленно. Бить нас солдат не осмеливался, но замахивался весьма добросовестно и между сеансами злой ругани успевал некстати вернуть: «Война — дерьмо» и «Гитлер капут».

Я впервые попал на кухню, и мне было совершенно непонятно, почему пленные с такой радостью шли на эту работу. Есть нам не дали, сырую картошку грызть не будешь, а работа была противной. Уворовать тоже не удавалось: часовой, как цербер, недремлющим оком следил за каждым движением. В обед мы получили свои порции наравне со всеми. В чем же заключалось преимущество этой работы перед другими?

Я понял это, когда с остальными членами команды отправился после обеденного перерыва на работу в склад.

Большой серый дом с узенькими бойничками стрельчатых окон был до краев загружен армейским хламом, снятым с убитых. Все было свалено в огромные кучи, источающие удушливое зловоние.

В развороченных касках попадались куски мозга и бурые пятна крови с клочьями волос. В сапогах нередко из массы разложившихся тканей торчали кости. Мундиры, брюки, белье — все продырявлено, испачкано — годились только в утиль. И на всем — кровь, бурая, зловонная.

Нам пришлось сортировать и чистить эту смрадную дрянь.

Я с грузом дотягивал день до конца, как вдруг в заднем кармане шегольских офицерских брюк с настроченными поверх сукна замшевыми леями нашупал что-то твердое. Оказалось, записная книжка.

В потертом кожаном переплете она хоть и разбухла от сырости, но сохранилась. Исписанные химическим карандашом страницы не затекли, а карандаш от влаги стал только более четким.

Слово за словом я перевел записи. Времени у меня было много, а книжка с первой страницы увлекла меня раскрывающейся тайной немецкой души. И эта тайна сама взывала к тому, чтобы ее прочли другие.

Я много работая над текстом и потому запомнил его дословно.

«Милая моя далекая Эльфрида!

Я уже давно не получаю от тебя писем, и мое сердце тоскует в одиночестве. Друзей я не приобрел. Действую по поговорке: «Избавь меня бог от друзей, а от врагов я сам избавлюсь». Трудно сейчас разобраться, где враги и где друзья. Все перепуталось, потеряло привычную ясность, и мне временами кажется, что война — безумная авантюра, из которой единственный вероятный выход для нас — смерть.

Ты, конечно, удивлена тоном моего письма. Еще бы!.. Я, вероятно, до сего дня сохранился в твоей памяти таким, каким был в день нашего знакомства:

в груди бушевала неизрасходованная энергия, жгла жажда подвига... Тогда я был готов обнять весь мир и бросить его к твоим ногам.

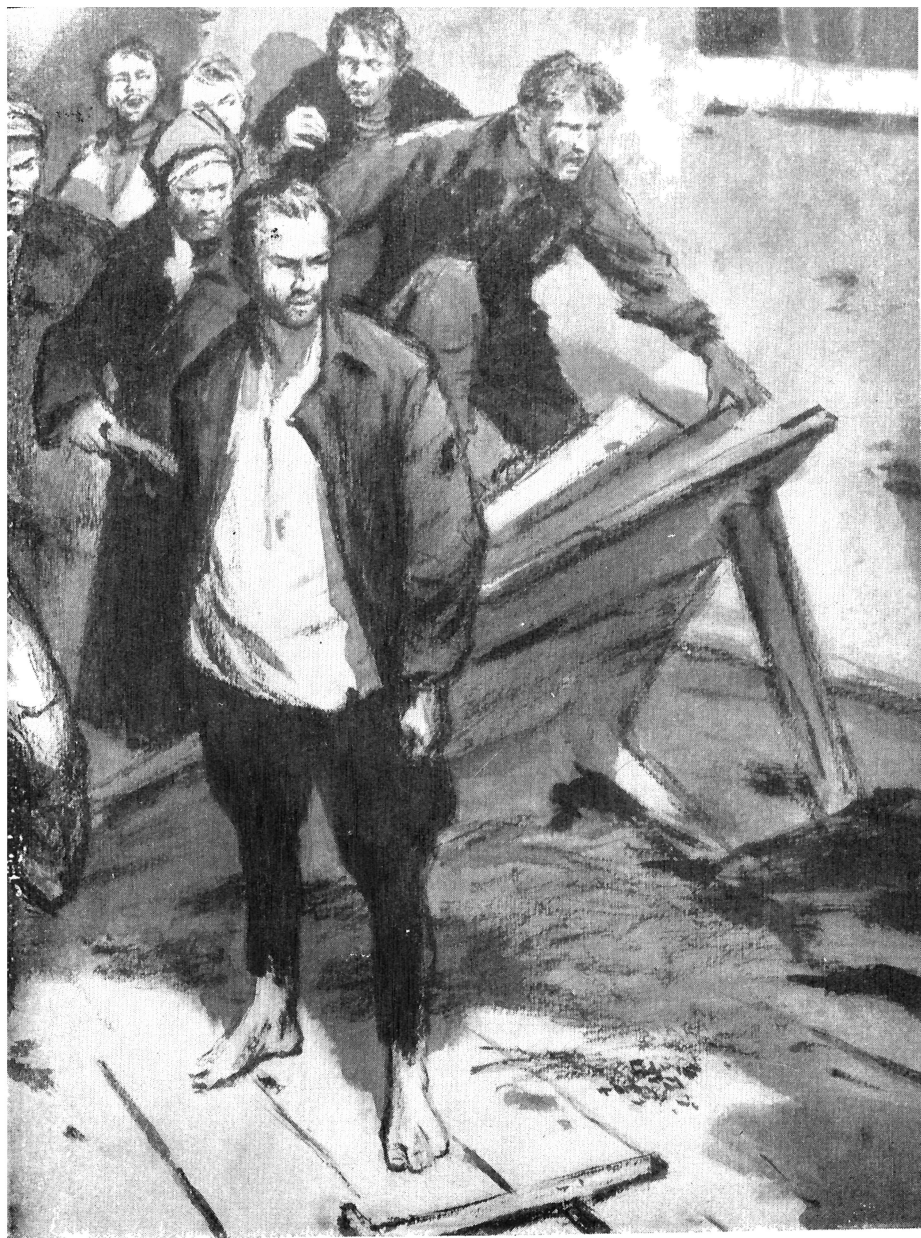
Но то было перед походом во Францию, а теперь... Тогда была веселая прогулка в веселый край. Правда, при нас французы не веселились, но зато было сытно и весело нам, арийцам. «Мы — высшая раса, и нам должен принадлежать мир!» От этой фразы милого фюрера тянуло хмелем возможного господства и сознанием исключительности своего положения. Во Франции именно так и было...

Я припоминаю чудесный огромный ковер, который ты распорядилась повесить в нашей столовой, и он занял целую стену. Севрский фарфор украсил наш новый сервант, старое чрево спальни обновилось чудной мебелью, а белье?.. Что за белье умели делать эти французишки!

...Прости, дорогая. Несколько дней я не мог продолжать беседу с тобой. Да, именно беседу. Коротенькое письмо я уже ухитрился отправить тебе третьего дня, а эти записи я решил продолжать как большой душевный разговор с тобой. Кто может сказать, попадут ли эти строки в твои руки?.. Отправить их по почте я не рискну, а оказии можно и не дожидаться. Вчера на моих глазах снарядом разорвало капитана Гохберга, а сегодня пришел приказ о его производстве в майоры. Такова ирония судьбы.

Однако я немного отвлекся. На западе пахло жасмином и терпкими французскими духами. На востоке пахнет порохом и мертвечиной. Россия — не Франция, а русские — не французы. Эти варвары, черт их побери, умеют драться не хуже нас, а терпению и выносливости нам надо у них поучиться.

По-моему, русские нас перехитрили. Я сам допрашивал последних пленных — это здоровые, молодые ребята, а мы уже проводим тотальные мобилизации. Но, думается мне, не только в этом суть. Немцы оказались обокраденными, и обокрал их обожаемый фюрер. Попросту он оказался банкротом. Где обещанный блицкриг? Где наше господство? Где богатство?.. Мы захлебываемся войной, как в топком



...В бараке взбунтовались.

(к стр. 111)

болоте, и чем больше мы машем руками, тем глубже вязнем в трясине.

Мы грабим русских. Но ведь и грабить уже нечего: многое они ухитрились увезти просто из-под нашего носа, а остальное мы, не задумываясь над завтрашним днем, перетащили в наш фатерланд, переварили и выбросили. Сейчас же нам приходится каждую булку хлеба тащить из Германии.

Русские не хотят работать. Мы принимаем ряд особых мер, но этим только растравляем муравейник, на котором сидим. За каждым кустом можно напороться на партизана. Прости меня — сейчас, даже идя по естественным надобностям (в русских селах нет теплых уборных), для охраны приходится брать с собой солдата с автоматом. Я, твой чистоплотный Артур, никак не могу избавиться от вшей. Мысленно я угадываю, как твои глаза округлились от ужаса, но знай: меня жрут вши. Я меняю ежедневно бельё, но они заползают на свежее еще охотнее.

Но и это не так страшно. Страшно то, что многие солдаты разобрались во всем не хуже меня. Сейчас солдата не ударишь по морде, не испугаешь карцером. Карцеру он только рад, как блаженному отдыху и убежищу от смерти. Сообщи тебе по секрету: в немецкой армии есть дезертиры! Сознаюсь тебе честно, что если бы не стояли на пути такие дурацкие понятия, как офицерская честь, долг, совесть, я бросил бы все к черту и ушел без оглядки. Все чаще ловлю себя на этом желании. Надоело все, осточертело, как вся та немислимая бурда, которой нас пичкает Геббельс.

Блажен мой отец: на том свете ему спокойно, не приходится расхлебывать эту свистопляску, и мои записи не дойдут до него. Иначе он бы умер вторично или пристрелил бы меня. Чувствую, что еще немного и...»

На этом обрывались записи в блокноте.

Изменив почерк, я переписал их несколько раз и отдал Воеводу. Через несколько дней мне под большим секретом передали один экземпляр. Он вернулся ко мне зачитанный до дыр.

Апрель растекался по земле волнами теплого воздуха, наливал деревья липким молодым соком. Лопались почки, пробивались робкие ростки яркой весенней зелени. От фиолетовых Альп и лесистых Карпат долетал тончайший аромат оживающей природы, и в нас вновь начинала бродить, как хмельная брага, неистребимая мечта о воле.

Лагерь гудел, как пчелиный улей. Кое у кого появились обрывки карт, некоторые счастливики зашивали в брючные пояса компасы и адреса приятелей, иные через городские команды доставали гражданскую одежду. Впечатление было такое, будто сейчас все поднимутся и уйдут каждый своей дорогой.

Да и как не бродить весеннему возбуждению, если в лагере вдруг, будто свалившись с неба, появлялся свежий пленный летчик — в унтах, в длинноухом шлеме и с золотом погон на плечах. Погоны рассматривали, щупали, даже нюхали — мы-то их раньше не видели, — и, наверное, у многих зудели плечи. А то вдруг, как взрыв фугаса, в лагерь ворвалась новость: отправленные вчера из Лодзи, в пути бежали двадцать шесть человек во главе с Героем Советского Союза капитаном Козулей. А кто из «летунов» не знал Козулю — ветерана парашютного спорта в СССР! Говорили, что кое-кого поймали, но в лагерь пока еще никого не доставили. Может, убили по дороге? Думали и об этом, и вероятная смерть товарищей остальных не пугала. Что же из этого? Ведь не каждого поймают!

#### 4

Как песчинка в глазу, мешающая смотреть и вызывающая не столько боль, сколько раздражение, в лагере ежедневно, а иной раз и по нескольку раз на день появлялся власовский поручик.

Он строен и подтянут. Офицерский китель без морщинки облегал крепкую грудь, на брюках отутюжена острая как нож складка, и только на ногах были диссонирующие всему его лошеному виду про-

стые солдатские ботинки на толстых подметках и с подкованными каблуками. На левом рукаве пестрела нашивка: на бело-красно-синем поле три желтые буквы РОА — Русская освободительная армия. Так величали себя власовцы. Мы их называли значительно проще и короче — рогатики, и это название исчерпывало все: и нашу к ним ненависть и авантюрную беспочвенность их «движения».

Фамилия поручика мне так и осталась неизвестной. Его звали Лешей. Случается, что человека до старости называют уменьшительным именем и относятся к нему не серьезно, а как к занятому, но неумному ребенку или душевнобольному. Примерно так относились и к Леше — уж слишком дурашливыми, бестолковыми и нарочито путаными были его объяснения «нового порядка», к которому звали нас власовцы.

Он регулярно приходил в нашу комнату. Каждый раз приносил с собой скандальную газетку «Заря», свежие немецкие новости и похабный анекдот, а в боковом кармане кителя — несколько номеров немецкой центральной газеты «Фелькишербеобахтер».

Костин под каким-нибудь предлогом выпроваживал меня из комнаты. Видимо, как новичка, меня остерегались. Мне было это не особенно приятно: как-никак недоверие, — но и большого горя я не испытывал. Беседы власовского агитатора меня отнюдь не привлекали. Я привык к своему положению лишнего, и как только входил Леша, я уходил за дверь.

Но однажды он остановил меня сам.

— Пойдите, куда же вы?

— Пойду поброжу.

— А беседа?

— У вас достаточно слушателей. С ними и побеседуйте.

— Значит, вам неинтересно?

Я молча пожал плечами.

— Садитесь с нами, — совсем другим тоном предложил Леша. — Расскажите нам, как вас выводили на расстрел.

— Ничего в этом нет интересного.

Предложение было для меня неожиданным и очень неприятным и ничего не сулило в будущем хорошего, кроме «особого положения» в лагере. Были люди на таком положении и незаметно исчезали.

— Кого? Его выводили на расстрел? — удивился Костин.

— Да. Его, — спокойно ответил Леша. — Не бойтесь, рассказывайте. Тут народ свой. — Он улыбнулся.

«Подлаживается...» — подумал я.

Судя по навоящим вопросам, Леша был кем-то хорошо информирован о жизни в Вольгасте и обо мне, в частности.

— Кто вам рассказал? — спросил я с досадой.

— Земля слухами полна, — уклончиво ответил Леша. — Для вас в этом нет ничего худого и скрывать не к чему. Я же вам сказал: вы среди друзей.

«Вот он какой!» — догадался я и сказал:

— Но и болтать об этом не следует.

— Болтать — одно, а говорить — совсем другое. Такие люди, как вы, нам нужны. Вы правильно сделали, что распространили записки убитого офицера. Это не просто частное письмо. В наших руках такие письма приобретают большую политическую ценность. Только действовать надо не в одиночку.

— Спасибо, Леша, за совет, но я тут ни при чем.

— Не доверяешь? Понятно, понятно...

Дверь комнаты открыли настежь. Вливаясь широким потоком, ароматный воздух пробивался в самые дальние затхлые углы. На пороге сел капитан Иванов, привалился, скучая, к косяку двери и, позевывая, перебирал струны гитары. У стола над раскрытой «Зарей» тесно склонилось несколько голов, рассматривали фотографию хозяйства какого-то преуспевающего бауэра. Леша читал сводку Совинформбюро:

— «Итоги зимней кампании Красной Армии...»

Я вслушивался в официальные слова сводки, и в тихом голосе читающего мне чудился бас московского диктора.



— «Всего противник за время нашего зимнего наступления потерял самолетов — 5 090, танков — 9 190, орудий — 20 660.

С 10 ноября 1942 года по 31 марта 1943 года захвачено в плен 343 525 вражеских солдат и офицеров. За это же время противник потерял только убитыми более 850 000 солдат и офицеров».

— Вот это дают прикурить!

— За четыре месяца потерять миллионную армию!

— Запомнили? — Обычно веселые глаза Леша прищурились, заострились.

Папиросная бумажка вспыхнула на короткое время и опустилась на пол невесомым комочком пепла.

Гитара зазвенела громким перебором «Сербиянки». В углу огромный Мельниченко загнул Чижу салазки. Тот визжал, а Леша читал монотонным бесцветным голосом сводку немецкого командования, переделанную «Зарей» на свой лад. Ретивому редактору было мало немецкой брехни — он ее удвоил и подкрасил. «Чужой» прошел мимо. Тревога миновала.

— Для сравнения почитайте вот это. — Леша положил на стол «Фелькишербеобахтер». — До встречи.

Пружинистой походкой беззаботного повесы он прошел мимо часового, слегка кивнув на его приветствие.

— Головой Лешка играет, — возмущился Мельниченко. — Что она у него — брюква, что ли?

— Хотел бы я, чтоб у тебя такая брюква была!

— Зато я не хочу. Тоже мне, дружки-приятели. Парень потерял всякую осторожность, — Мельниченко посмотрел на меня, — и хоть бы кто ему намекнул. Молчат, как...

— Брось ты страхи придумывать, — отмахнулся Чиж.

— Страхи? Думаешь, если немцы чуть послабили узду, так это уже все — можно во весь рот орать, заниматься антифашистской пропагандой? А лагерные шпики, думаешь, повыходили?

— А ты, друг, — Мельниченко положил на мое

плечо тяжелую руку, — все, что здесь слышал, или забудь сразу, будто тебе приснилось, или я тебе за Лешку сверну башку на затылок вот этими руками. — Он повертел перед моим лицом большими узловатыми кистями, похожими на грабли.

От возмущения я задохнулся. Кровь бросилась в голову, зазвенела в ушах комариным писком.

— Ты что пристал к нему? — из угла крикнул Чиж.

Дальше я не слышал, выскочил за дверь.

Спорить и доказывать что-то Мельниченке было бесполезно. Все они были свои, давно сжившиеся, и я среди них был пока что инородным телом. Я долго бродил по двору и успокоился лишь после того, как передал все Воеводину.

— За сводку спасибо. Обрадовал. Порадую и я ребят. А обижаться на недоверие не приходится: дело-то очень серьезное.

— Кто Лешке обо мне рассказал? Ты?

— Я.

— Медвежья услуга. Такого, что сегодня мне говорил Мельниченко, мне в жизни не доводилось слышать.

— Плюнь ты на амбицию. Дело важнее. Через тебя я буду держать с Лешкой связь.

— А не проще ли самому?

— Нет, не проще.

— Значит, ты знал, кто он, Лешка?

— Догадывался, что он лишь маскируется под власовца.

Больше я из Воеводина ничего не смог выжать. Все попытки расспросить его подробнее разбивались о веселое отшучивание.

— Много будешь знать — скоро состаришься.

## 5

Две субботы прошли без концертов. Пленные привычно собирались у клуба, подолгу толпились перед закрытой дверью и недовольные расходились.

Костин спрашивал у коменданта, в чем дело; тот неопределенно отвечал:

— Пока репетируйте...

Мы подумали, что ему досталось от начальства за допущенный концерт для эмигрантов, неожиданно вылившийся в наглядную демонстрацию единения чувств русских людей разных поколений и разных политических убеждений.

Позже наша догадка подтвердилась. Костин принес новость: нас не сегодня-завтра распустят.

Леша был очень озабочен и чем-то взволнован, особенно в последнее посещение.

— Был у меня серьезный разговор с начальством. Посоветовали запастись веревкой. Совет, конечно, дельный. Значит, кто-то донес на меня, следят.

— Я ж говорил, — ввернул Мельниченко, — допрыгались!

— А ты не бойся. — Леша посмотрел на него с нескрываемой неприязнью. — Рано еще паниковать.

— Узнать бы...

— Вот это я вам и поручаю, — подхватил Леша. — Вот список записавшихся в РОА. Последите за ними.

Прошел день, два, целая неделя. Леша в лагере больше не появлялся. Как-то сразу забылось о том, что подобные случаи бывали с ним и раньше. Тогда к его отсутствию относились спокойно, а теперь его исчезновение вызвало большую тревогу, и она уже не оставляла нас ни на минуту. В щемящей неизвестности дни растянулись в бесконечно длинный угрюмый ряд. Все валилось из рук.

Никем не замеченный, в двери вырос солдат. Засосало под ложечкой, в углу виновато замолчал кларнет, оборвав пассаж на полутоновом робком звуке. Солдат вошел, развязно улыбаясь, молча прошелся вдоль стены, где висели инструменты, потрогал банджо и долго стоял, приблизив ухо к струне издающей тихий замирающий звук.

— Альзо! — Он вскинул голову. — Лешка вам передал гостинец.

На стол шлепнулась коробка «Юнака», а солдат ушел так же неожиданно, как и появился. Он направился в стоящий рядом барак, смешно вскидывая каблуки сапог с широкими раструбами коротких голенищ.

Мельниченко предложил не трогать папирос.

— Откуда вы знаете, что это за солдат. Может быть, Лешку схватили, а это провокация, на которую нас хотят поймать.

— Если папиросы останутся целыми, будет вдвойне подозрительно, — с жаром возразил Чиж. — Ты только подумай: пленные — и вдруг не взяли папирос! И вообще ты брось!

На Мельниченко набросились и остальные. В мундштуке папиросы был спрятан кусочек кальки.

«Меня отстранили от работы в лагере. Положение загадочное. Возможны неприятности. Готовится большой транспорт».

— Я ж говорил, — закипел Мельниченко. — Допрыгались! Распустили языки, как коровье ботало!

На этот раз его не останавливали. Каждый чувствовал какую-то досадную неловкость, был угнетен этой недоброй вестью.

Через несколько дней тем же способом Леша еще раз дал знать о себе:

«Немцы ничего толком не знают. Спокойствие. Транспорт готовится в Моосбург. Берегитесь Мороза!»

Почему беречься Мороза? Кто он?

Дальше в записке мелкими, почти микроскопическими буквами была написана сводка Совинформбюро.

— Молодец Леша! — восторгался Чиж.

Мельниченко мрачно пробасил:

— Был молодец, да волки съели. Будь он осторожнее — все было бы по-другому.

— Да ну тебя к черту с твоим «осторожнее». Под лесом живешь, а соломой топишь.

— Не к черту, уважаемый мудрило. Осторожность — залог конспирации.

— Конспиратор! — Дядюшков насмешливо фыркнул. Мельниченко разозлился.

— Валяй иди немцам прочти сводку. Что, слабит? А того не чуешь, что Лешка тянет нас под топор! Добро было бы за что, а то... сводочки, газеточки...

— Жаль, Николай, очень жаль, — с искренним сожалением покачал Женя головой. — Голова у тебя хорошая, да дураку досталась.

— Идем, Женя, пройдемся. — Чтобы избежать скандала, я увлек Чиж за дверь и дальше, на лагерьную площадь.

В начале мая нас отправили в Моосбург. Было нас не так уж и много, как мы предполагали вначале, — сто пятьдесят человек. В отправку попали все приехавшие со мной из Вольгаста и девять человек из оркестра. Оркестр прекратил свое существование; остальных разогнали по баракам.

Для лагеря это был большой удар. Музыка и фронтовые песни не давали отупеть, подогревали приторможенные неволей чувства.

О Лешке нам не пришлось узнать ничего более достоверного. Уже в Моосбурге до нас докатились кое-какие слухи о нем. Говорили, что он подпольщик и все же не избежал петли. Другие утверждали, что ему удалось незаметно пробраться в немецкий самолет. Легкой птицей он взмыл в небо и даже на прощанье качнул машиной, словно бы помахал крыльями.



## Глава VI

### 1

**Б**авария богата и живописна. От Баварских Альп до Мюнхена тянутся хвойные леса. В их зеленом разливе прячутся старинные замки и аккуратные городишки, похожие на картонные макеты, выставленные среди сочной парковой зелени.

Мюнхену от роду почти тысяча лет. Среди множества городов он старик, от старости и забот покрылся седым налетом. В его недрах копошится почти миллион людей, там делают паровозы, вагоны, авто-

мобили, самолеты, оптику... Городу постоянно нужны люди, множество рук, умелых и безотказных.

Поэтому и выросли неподалеку от Мюнхена два невольничьих центра: Дахау и Моосбург.

На берегу Изаре — притока Дуная — среди похожих одно на другое местечек затерялся тихий, ничем не примечательный городок. На географических картах его не обозначали, и остался бы он неизвестным, если бы не выросли рядом приземистые бараки, точно паутиной, опутанные колючей проволокой. И город сразу приобрел известность, правда мрачную, зловещую. Все пути пленных в Баварии стали сходиться в этом месте, названном «Шталаг Моосбург VII-а».

Свежему человеку разобраться в лагерной планировке трудно. Лагерь разделен на несколько зон; основная территория обросла лабиринтом вспомогательных служб: изоляторами, следственными бараками, карцерами, пересылками.

Русские в лагере строго изолированы, как в холерном карантине. У ворот в русскую зону постоянно торчал часовой.

Пригибая голову, прилаженную к длинной тощей шее, через порог шагнул худой и длинный человек в немецкой форме.

— Здравствуйте, господа!

Гомон в бараке стих.

— Судя по дружному ответу, можно думать, что здесь никого нет.

На шутку не откликнулись.

— Придвигайтесь к столу, поговорим.

Расставив ноги, долговязый уселся на табуретку за столом, положив перед собой пачку газет.

— Подходите, подходите. — Жестом радушного хозяина он приглашал к длинному обеденному столу. К угловатому скуластому лицу приклеилась натянутая улыбка; глаза оставались серьезными, прилипчиво останавливались на лицах.

— Кто это? — спросил я у одного старожилы.

— Мороз. Черт его принес на нашу голову! — Сосед, кряхтя и чертыхаясь, полез с нар. — Идем, все равно, гад, не отцепится. Рогатик.

К столу медленно сходились пленные. Мороз, выжидая, нервно потирал руки.

О нем я уже многое слышал, но видел его впервые. Ненавидели его лютой ненавистью; о его тупости, злобности и фанатичном упрямстве рассказывали истории, граничащие с вымыслом, но, как оказалось, ничего вымышленного в них не было. Мороз и впрямь был страшен.

Нацелившись глазами в угол, он заговорил:

— Европу потрясла весть о новом злодеянии большевиков... — Длинные прокуренные пальцы тербли страницу «Зари», будто ощупывая прочность бумаги, способной вынести любую клевету, политическую сплетню, грязь. — Перед началом войны большевики стянули в район Смоленска множество заключенных. Их морили голодом, избивали, принуждали работать на самых тяжелых каторжных работах.

— Ох, и ладно брешет! Как по писаному!

— Та де там бреше! То ж вин про нас читает.

Мороз впился глазами в угол, откуда доносились голоса. Около ушей заходили желваки, и весь он мгновенно подобрался, повысил голос:

— Действия немецких войск были так стремительны, что Советы не сумели вывезти заключенных и расстреляли их в лесу заученным энкаведистским приемом — выстрелом в затылок.

— От этого приема воняет эсэсовцами...

— Десять тысяч ни в чем не повинных людей расстреляны! — Мороз патетически вскинул кверху руки. — Десять тысяч напрасных жертв! Большевики и не собирались их вывозить — об этом свидетельствуют показания очевидцев. Чекисты просто выжидали удобного момента и, воспользовавшись суматохой, жестоко расправились с ними. А за что? — Голос Мороза наигранно задрожал подступающими слезами. — За что их убили? Весь цивилизованный мир возмущен! Возмущен и негодует!



Утомленный искусственно взвинченными нервами, он замолчал, медленно провел дрожащей рукой от костлявого лба к тяжелому раздвоенному подбородку.

К столу продвинулся высокий грузный человек, обросший окладистой черной бородой, перевитой нитями седины. Длинные ширококостые руки вылезали из короткого кителька, плечи прикрывала выношенная шинелишка.

— Позвольте спросить: а чем вы можете подтвердить свое сообщение? — Голос раскатывался по барраку гулким, чуть хриплым басом.

— Вот! — Мороз веско приподнял над столом пучок газет.

Человек в шинели бегло просмотрел газеты, сложил их вместе и бросил на стол с гримасой отвращения, точно притронулся к чему-то очень гадкому.

— «Заря», «Голос народа», «Фелькишербеобактер». Сомнительные газетки, брехливые. Если верить ихней болтовне, то немцы сейчас должны быть уже где-то за Уралом.

— Это не имеет отношения к сегодняшней беседе.

— Нет, имеет! И самое прямое! «Заря» — орган кучки проходимцев, именующих себя «русскими освободителями». А «Голос народа»...

— Ты занимаешься большевистской агитацией! — едва сдерживаясь, крикнул Мороз. — Им нельзя не верить! Там опубликованы заключения экспертов, снимки...

— Экспертов купили так же, как купили вас с вашим Власовым. Одна шайка.

— Ты заплатишься! Кровью будешь плакать за эти слова! — Мороз вскочил со скамьи, уперся побелевшими костяшками пальцев в стол. — Это большевистский агитатор! Не слушайте его!

— Я не агитирую, — спокойно прогудел бородач. — Занимаетесь агитацией вы! Чем вы докажете, что это дело рук большевиков? До-ка-жи-те!

— Но кто же другой их мог расстрелять?!

— Кто? На снимках — трупы. Чьи они? Нас не убедите филькиными грамотами. У каждого из нас,

кроме живота, есть еще и долг перед Родиной, порядочность, совесть. Пойти с вами — значит продать все, стать сволочью, изменником.

— Это зависит от убеждений!

— У изменника нет убеждений! Еще Горький сказал, что даже тифозная вошь оскорбилась бы, если б ее сравнили с предателем. Вы же хуже тифозной вши.

Мороз побагровел. Хорьковые острые глаза уперлись в лицо человека в шинели с такой злобой, что в них вспыхивали зеленоватые искорки, и гасить он их уже не мог и не пытался.

В бараке поднялся шум.

— Правильно!

— Катись ты...

— Убирайся, Мороз!

— Иуда!

Мороз трясущимися руками подхватил со стола газеты и боком стал пробираться к выходу.

— Запомните, большевистская рвань, что, даже если красные звездочки появятся под стенами Моосбурга, вы их не увидите! А с тебя, — он погрозил кулаком своему противнику, — я сам сдеру твою красную шкуру от затылка до пяток!

Последние слова потонули в общем гневном крике. По ушам резанул разбойный свист. Перед Морозом выросла плотная толпа. Втянув голову, он продирался сквозь нее к двери.

Люди уже не сдерживались. Отбросив всякую осторожность, они выплескивали в лицо Морозу свою ненависть. Я тоже что-то кричал и, работая локтями, старался пробиться ближе, плюнуть, ударить.

Мороз продолжал кричать:

— Каленым железом будем вас жечь! — В углах узкогубого рта вскипела вязкая пена. — Сволочи!

— Иди, гад, иди! — Кто-то ударил его кулаком по затылку.

С головы слетела пилотка. Трехцветная жестяная кокарда хрустнула под деревянной подошвой колески.

Мороз вылетел в двери, с трудом сохранив рав-

новесие. Раскинув над землей руки, он пробежал несколько шагов, и вслед ему вылетела пилотка, шлепнулась на мелкую дворовую гальку. Подхватив ее, он рывком напялил на лысеющий череп, погрозил нам поднятым в иступлении кулаком и размашисто запетлял к выходу.

На земле осталась наглая газетка «Заря», начиненная «фактами» и «фотографиями». Кто же снят на них? Не наши ли соотечественники в лагерях Проскурова, Умани, Владимир-Волынска? Может быть, это действительно наши пленные, расстрелянные фашистскими особыми отрядами? Мы ведь видели их «работу»!

В бараке стало тесно от набившихся извне пленных. Кипели страсти, крикливо, возбужденно гудели голоса.

— Скоро отыграется, сука!

— Не те времена пришли! Хватит!

Припомнился «бунт артиллеристов» и групповой отказ команды ехать на патронный завод.

Это было осенью 1942 года. Из русской зоны начальство отобрало около двухсот военнопленных и перевело их на изолированное положение во 2-й барак. Сразу же заговорили, что группу отобранных отправят на патронный завод. Народ заволновался, кое-кто посмелее предлагал всем отказаться от работы. Начальнику лагеря послали письменный протест. Прочтя его, он только весело рассмеялся.

Тогда в бараке взбунтовались. На построение не вышли, требовали прихода коменданта, на угрозы расправиться с ними ответили, что лучше умереть, чем идти против своего народа.

К ним послали фельдфебеля Мороза, только начинавшего тогда в Моосбурге свою карьеру «рогатика». Мороз добросовестно уговаривал, убеждал не противиться немцам: дескать, если уж попал в плен, то помалкивай и подчиняйся. Он приходил в барак несколько раз. Нервный, легковозбудимый, при малейшем возражении он переходил на крик и, теряя

над собою власть, разражался оскорблениями и угрозами.

В бараке упорно стояли на своем: требовали вернуть их в общий лагерь. Взбунтовавшихся лишили пищи, замкнули, вокруг барака поставили часовых.

Дело приняло серьезный оборот и уже не могло закончиться полумерами. Иностранные пленные тоже заволновались, требовали прекратить репрессии — бунт угрожал стать общелагерным.

Комендант пошел на более крутые меры: приказал всех выгнать из барака и силой оружия заставить подчиниться.

Это оказалось не так просто. Пленные изнутри забаррикадировались койками и выйти отказались. И тогда к ним еще раз пошел Мороз.

После долгих переговоров его пустили внутрь. Как и прежде, он не сказал ничего нового — начал с уговоров, закончил оскорблениями. Кто-то не выдержал, запустил в него колодкой.

— А-а-а! — Мороз качнулся, схватился руками за голову. Из-под пальцев показалась кровь — черным надрезом виднелась раскроенная щека. — А-а-а!..

Шурша в спертom воздухе, вторая колодка пролетела мимо, едва не задев его, и громко бухнулась в дерево койки. Мороз, округлив в страхе глаза, побежал к выходу, споткнулся о чью-то ногу и под громкий крик и улюлюканье с размаху растянулся на затоптанном полу. Дико озираясь по сторонам, он пружиной вскинулся на ноги и выскочил из барака.

Жалобно зазвенело в окне стекло. Острое рыльце автомата выплонуло ленту огня; длинная очередь прошла по койкам, вырывая из досок мелкую щепу.

— Выходи!

В бараке громко стонал раненый.

— Выходи!..

Вылетело еще одно окно, рама косо повисла на одном креплении. В пролом снаружи втокнули собак. В них полетели десятки колодок. Громкий крик потряс стены барака. Двери затрещали, развалились.

На сорванную с петель половину встал солдат и запустил поверху длинную автоматную очередь.

— Выходи!

Подгоняемые избитыми озверевшими собаками, пленные вытолкнулись скопом на улицу. На многих висела клочьями окровавленная одежда. Несколько раненых солдаты выволокли волоком.

— Становись!

Перед строем пленных встали человек двадцать солдат, комендант и Мороз с забинтованной головой.

— Отберите зачинщиков!

Мороз с перекошенным злобой землистым лицом пошел вдоль строя. Спустя короткое время у стены барака поставили пятерых пленных.

Длинная, очень длинная автоматная очередь сломала их, бросила под стену и бешеным стуком прошла вторым заходом по неподвижным трупам.

Начальник лагеря подошел к строю ближе.

— Я расстреляю из вас каждого десятого, но добьюсь полного повиновения. Или вы поедете на завод, или на тот свет. — Полковник указал на небо. — Третьего выхода нет.

Но получилось иначе: людей продержали еще сутки в бараке, а потом под усиленным конвоем увезли в штрафную команду. На патронный завод их не послали.

Это случилось осенью 1942 года, в период наибольшего развития немецкого наступления. А в 1943 году обстановка на фронтах изменилась, несколько изменилось и отношение к нам. На власовских же агитаторов немцы стали смотреть с нескрываемым презрением: слишком незначительны были результаты их возни. Немцы перестали им верить. К тому же они прекрасно понимали, что предавший Родину предаст, не задумываясь, любого хозяина новому, условия которого окажутся выгоднее.

После изгнания Мороза из нашего барака Воеводин отозвал меня в сторону.

— Читать еще не разучился?

— Нет еще. Печатное разбираю.

— Тогда прочти вот... — Он передал мне измятый листок бумаги, серый от грязи.

«Товарищи! Друзья по плену!

Банды фашистских палачей и их подлые наймиты пытаются нас уверить, что массовое убийство политзаключенных под Смоленском совершили органы советской власти.

Это очередная грязная провокация! Сейчас для немцев ухудшилась политическая обстановка, и эти опившиеся человеческой кровью палачи лезут из кожи, чтобы переложить свои злодеяния на плечи русских. Это им нужно, чтобы натравить союзников против нас, чтобы зажечь ненависть и в сердцах поляков, к границам которых скоро подойдет Красная Армия».

— Крепко завинтили! Это ты нашел?..

— Да, пока только листовку.

— А кто тот бородатый, в шинели?

— Полковник Тарасов. К нему сейчас соваться не надо.

Листовку я передал Дядюшкову. Женя быстро прошелся глазами по тексту, обрадованно улыбнулся, и не успел я ничего подумать, как он встал на край нар и, держа листок высоко над головой, зычно крикнул:

— Товарищи, слушайте!

## 2

В дальнем углу барака у окна в любое время дня сидел человек, занимаясь какой-то работой.

Подойдя ближе, я увидел у него на коленях кусок фанерки с приколотым к нему листком бумаги. На бумаге постепенно возникало чье-то лицо — словно очень медленно проявлялся фотоснимок. Работал человек быстро, профессионально. Это меня заинтересовало, и я издали долго наблюдал за его работой. Листки менялись, менялись лица, а человек все рисовал и рисовал до рези в глазах. Иногда он отклады-

вал в сторону фанерку, закрывал глаза и с наслаждением разгибал усталую спину.

Я стал приходиться к нему каждый день. Человек не отличался разговорчивостью. Иногда он молчал по целым дням, бросал на меня исподлобья мимолетные хмурые взгляды. Все же мы мало-помалу познакомились.

Мой новый знакомый — Владимир Александрович Гамолов — профессиональный художник. Лет ему давно за тридцать. Черные волосы уже значительно поредели, сквозь них проглядывала кожа, виски стали серыми. Лицо у него круглое, крепкое, будто дубленое, но под глазами — нездоровые отеки.

В течение дня к нему приходили многие. Одни приносили заказы, бумагу и плату: хлеб, консервы, табак. Другие забирали это все и куда-то уносили. Некоторые приходили в его угол поговорить о каких-то делах. В такие минуты я, чувствуя себя лишним, уходил и возвращался, лишь когда видел, что Гамолов остался один.

От него почти не отходил молодой парень. На щеках у него золотой пух, глаза синие, и щеки розовые и нежные, как у девушки. Лицо никак не вязалось с крепким узловатым телосложением и глухим, как из бочки, голосом. За Гамоловым он ухаживал, точно хорошая нянька.

— Виктор, ты сапожника Андрея знаешь?

— Знаю. Рябоватый такой, в двадцать девятом бараке.

— Он самый. — Гамолов заговорил с Виктором, не обращая внимания на то, что я сидел рядом. — Отнеси ему, — и подал Виктору сверток. — Да, постой. Передай ему записку.

Я бросил случайный взгляд на полоску бумаги под быстро бегущим карандашом и сразу же вспомнил листовку. В ней был другой почерк, но я уже не мог оторвать глаз от первого слова записки: «Андрей!» — сочетание букв «Д» и «Р» было точно таким же, как и в листовке, — закрученные привычной для его руки затайливой вязью.

Листовку писал Гамолов. Я в это поверил сразу и безоговорочно. Я смутно догадывался и раньше, что Гамолов связан с нашим подпольем значительно теснее, чем казалось на первый взгляд, и частые посетители, получавшие от него хлеб, уносили и нечто другое, что пряталось в недрах души, толкало на смелые поступки. Только мои догадки так бы и остались догадками, если бы не записка.

Виктор ушел. Мы остались в углу одни. Я решил, не откладывая, использовать удобный момент для разговора. Но с чего начать?..

— Можно взять лезвие?

— Попробуйте... Только не зарежьтесь.

Нужные слова потерялись. Я боялся, что Гамолов может только насторожиться, заподозрит меня в провокации, и тогда моя попытка может послужить только во вред.

— Владимир Александрович, у меня есть документ, с которым не плохо было бы познакомиться и вам.

— Почему «и вам»? — оторвался он от работы. — Что это за документ?

— Письмо немецкого офицера к своей жене.

— Любопытно... А зачем оно мне?

— Мне почему-то кажется, — начал я, запинаясь, — что вам можно доверять...

— Когда кажется, крестятся, — перебил он нетерпеливо. — Степень доверия зависит от знания человека. Вы меня знаете? — Зрочки Гамолова стали как булабочные острия.

— Нет, — признался я чистосердечно.

— А хотите мне что-то подсунуть.

— Давайте говорить прямо, Гамолов. Вашу листовку я читал на днях. Вы почерк изменили, но забыли о чисто механических навыках вашей руки. Я вот сейчас увидел, как вы написали «Андрей», и сразу вспомнил «Друзья». В обоих словах сочетание «Д» и «Р» написано одинаково.

Гамолов посмотрел на меня с интересом.

— Любопытно... Допустим, что писал листовку действительно я. Что же из этого?



— Значит, вы тот человек, которого я ищу.  
— Гм... Снова встает вопрос о доверии.  
— Вы мне можете пока не доверять...  
— Имею к тому основания, — ввернул Гамолов.  
— Но я вам доверяю. Наша жизнь в любую минуту может стать очень короткой, а я не хочу и не могу тратить время попусту. Впрочем, к черту разговоры. Возьмите письмо. Пригодится.

Я выпорол из пояса брюк мягкие зачитанные листки письма Артура Блюма.

Потом меня мучили сомнения: «Правильно ли я поступил? Что, если Гамолов не тот, за кого я его принял?» Хотелось переговорить с Воеводиным, но что-то удерживало от этого. Надо было подождать.

Несколько дней прошли в бесцельной болтанке из барака в барак. К Гамолову я в эти дни не ходил. К чему?.. Понадоблюсь — найдет.

Поздно вечером в тусклом свете единственной лампочки кто-то остановился у моего изголовья. Я чутьем угадал — Гамолов.

— Вы почему не приходите? Сердитесь?

— Нет.

— Тогда, может, побродим перед сном? Душно в бараке.

Над утихим лагерем перемигивались голубые звезды. Приглушенный расстоянием донесся крик петуха, где-то очень далеко залилась лаем собака. Повеяло чем-то хуторским, очень знакомым и незабываемо родным.

Мы сели под стеной барака, закурили. Язычок пламени зажигалки выдвинул из темноты нос, губы и раздвоенный ямочкой подбородок Гамолова.

— Я прочитал письмо. По совести говоря — интересно, но применения ему не вижу. Все мы достаточно хорошо знаем, что теперешние фрицы — не прошлогодние. Другое дело — пустить бы его в массу солдат охраны, но с этим у нас дело пока туговато. Где вы его раздобыли?

Я рассказал о Лодзинском лагере, о Лешке, о Вольгасте, о Сукове, о капитане Пасечном и о том

памятном дне, воспоминание о котором жило во мне до сих пор так отчетливо и болезненно, будто все произошло вчера.

— Этого вы, вероятно, никогда из себя не изживете. Не забудется. Но это и лучше — злее будете. Я думал о вашем желании со мной работать. А продумали ли вы до конца, что грозит в случае провала? Хватит ли у вас мужества, выдержки, такта? Работа опасная.

— А я и не ищу развлечений. На фронте тоже опасно.

— Там совсем другое. Здесь вы в случае провала ставите под удар не только свою жизнь, но и людей, связанных с вами.

— Я подумал об этом. Что я должен делать?

— Пока немного. — Он передал мне клочок бумаги. — Вызубрите, бумажку уничтожьте, а содержание передайте надежному человеку. Есть у вас таковой?

Я вспомнил Воеводина, Женю, Немирова.

— Есть.

— Прекрасно.

Гамолов поднялся, с хрустом потянулся.

— Вы идете?

— Нет. Посажу пока.

Я долго сидел под стеной барака. Неслышно подкрался рассвет, рассыпал по земле росу, поджег зеленоватое небо широкими полосами малиновых перистых облаков.

### 3

Поручения Гамолова были более чем скромными. Я был недоволен, хотелось выдающихся дел.

— Чего ты хочешь? — спросил Гамолов, когда я высказал ему свои мысли. — Взрывов? Поджогов? Убийств? Как в детективных романах? Только это ты называешь настоящей борьбой? Значит, живое слово правды, что мы, советские офицеры-подпольщики, несем людям лагеря, — не борьба?

— Борьба, конечно...

— Каждой сводкой мы поднимаем дух людей. Вера в победу заставляет их выше держать голову, тверже переносить тяготы плена, а слабым духом избежать измены.

— Что ж, за неимением гербовой...

— Погоди, придет время и пулеметов.

До войны я учился в изостудии, мечтал стать художником-архитектором. За много дней сидения рядом с Гамоловым я хорошо изучил его приемы работы и однажды попросил листок бумаги.

— А что же, попробуйте. Не боги горшки обжигают.

Он тактично не заглядывал мне под руку.

— Любопытно! — Гамолов удивленно поднял брови, рассматривая мой первый портрет. — Не плохо. Ей-богу, не плохо. — Он снова посмотрел на карточку и на портрет. — Любопытно! А молчал...

Позже он уже только изредка просматривал мою работу. Заказов было много. Рисовали мы и для конвоя и для пленных иностранцев. Я мог бы ежедневно оставлять у себя плату за труд: хлеб, консервы, маргарин, табак и даже шоколад, — но я видел, что Гамолов все свое передает в лазарет, оставляя себе ровно столько, сколько нужно было, чтобы не голодать; и я не мог поступать иначе.

Только однажды я попытался расспросить Гамолова об организации и потом горько жалел, а урок запомнил на всю жизнь. Мучимый вполне законным любопытством, я поддался порыву и спросил его, кто возглавляет нашу группу.

Владимир Александрович посмотрел на меня очень долгим тяжелым взглядом.

— Любопытно... Я считаю, что достаточно тебя узнал, верю тебе и вопрос твой расцениваю как простое проявление бестактности. Иначе... Никогда, слышишь, никогда никому не задавай таких детских вопросов. А может быть, стало жаль? — Он прищурился и смотрел пытливо.

— Чего жаль?

— Продуктов. Проверяешь?

Кровь прилила к ушам, шее. Вид у меня, очевидно, был настолько растерянный и огорченный, что Гамолов, положив на плечо руку, примирительно сказал:

— Ничего, не обижайся. Придет время — все узнаешь. Но помни: чем меньше будешь знать, тем лучше для тебя же.

На другой день он в раздумье сказал:

— У меня есть мысль. Не знаю, как ты отнесешься к ней, но, по-моему, она стоящая. Я уже примелькался здесь за год, а вот ты — человек свежий. Что, если попробовать тебе пробраться в общий лагерь, к иностранцам?

— Зачем?

— Рисовать будешь сербов, поляков, французов...

— Да зачем? Работы и здесь...

— погоди. Хорошая беседа работе не помеха. Тебя обязательно обступят зеваки. Используй момент, завяжи разговор, а дальше пойдет как по писаному: только слушай да вовремя вверни нужное слово. Теперь понял?

Я обрадовался:

— Понял.

Виктор раздобыл для меня одежду «под француза», и через несколько дней я, зажав под мышкой грубую картонную папку, изготовленную из краснокрестовской посылки, отправился в свой первый рейс к иностранцам. Сопровождал меня Виктор. В воротах он сунул часовому пачку сигарет. Тот оглянулся кругом, пропустил и потом разорался: получалось, вроде мы подошли к проволоке с той стороны и он прогонял нас, не давал приблизиться к зоне, где жили эти собаки — русские.

Мы повернули на Лагерштрассе и, пройдя по мягченному асфальту сотню метров, остановились неподалеку от барака с поляками.

— Подожди здесь. — Виктор скрылся в черном зеве двери.

Я чувствовал себя не совсем уверенно, озирался по сторонам. Мне казалось, что кто-то обязательно подойдет ко мне, схватит за шиворот и заорет:

— Вот он!..

Спустя несколько минут вернулся Виктор с широким крепким парнем.

— Знакомьтесь: Эдмунд Гржибовский. С ним говори свободно.

Я пожал широкую плоскую руку, крепкую, как брусок дерева.

— Мы поговорим где-нибудь здесь, — смущенно предложил мой новый знакомый. — В бараке не покойно...

Несколько раз мы прошлись по Лагерштрассе. Припекало. Воняло смолой. В тени под торцовой стеной сербского барака никого не было, небольшая скамеечка пустовала. Мы сели.

— Что же все-таки говорят о нашем фронте?

— Разное.

Гржибовский рассказывал обо всем не спеша, обстоятельно и вбирал в себя все новое так же медленно, основательно, будто размалывал на жерновах.

— Все зависит от того, кто говорит. Паны офицеры тянутся к немцам.

— А солдаты?

— Солдаты не верят в фашистскую брехню о победе. Простой народ Польши бошам не верит. Освенцим, Штутгоф... Опутали нас дротом, позагоняли в концлагеря, тюрьмы, жгут в крематориях... Только за то, что мы любим свою родину и не хотим, чтобы ее топтал немецкий сапог.

Гржибовский замолчал, угрюмо глядя под ноги.

— Сейчас наши подкручивают немцам гайки. Не сегодня-завтра фронт придвинется к польской земле. Вот немцы вас и натравляют против русских, так сказать, укрепляют тыл.

Эдмунд оживился.

— Об этом и я говорил с ребятами. Многие думают так же. Во всяком случае, нас больше, чем тех. — Он кивнул на офицерский барак. — Не понимают только те, кто не хочет понимать, кому это не выгодно.

— Прочсть вам листовку?

— Давайте, — живо повернулся Гржибовский.

— Нет, она только в памяти. «Товарищи! Друзья по плену! Банды фашистских палачей...»

Я прочитал листовку до конца. Эдмунд напряженно стянул к переносице густые белесые брови и шевелил губами, повторяя за мной слова листовки.

— Хорошо! Прочтите еще раз.

Немного погодя я спросил:

— Почему вы так не любите своих офицеров? Среди них ведь есть и честные, передовые люди. У нас существует Союз польских патриотов, сформирована первая польская дивизия имени Костюшко. Все командные посты в ней заняты вашими же офицерами.

— Возможно... Но было бы лучше, если б на их местах стояли офицеры ваши.

— Почему?

— У меня перед глазами стоит сентябрь 1939 года. Мы кичились своей армией, носились с нею, как дурень со ступой. А куда она годилась? Мы проиграли войну задолго до того, как немцы перешли границу... Нет, не верю я офицеришкам. Пусть делом докажут.

#### 4

Советские войска медленно, но уверенно продвигались на запад. Наши победы заставили многих иностранцев лагеря изменить свое отношение к русским. Иностранцы поняли, что от плена их избавит не милость фюрера и не победа Германии, а ее разгром.

Жить в русской зоне стало немного легче. Часть лагерного пайка иностранцев в виде баланды и картошки стала попадать и к нам; иногда среди сербов или французов устраивались сборы продуктов для русских пленных. И хотя эта помощь была незначительной, все же среди нас меньше умирали от истощения.

В те дни я приходил в свою зону только на ночь. В каждом почти бараке у меня были друзья: у сербов — железнодорожник из Любляны Мирко Вуко-

вич, юрист из Белграда Бранко Обрад, врач Кичич; среди поляков — Эдмунд Гржибовский и Стефан Милявский; у французов — марсельский докер Шарль Менье. С ними надо было повидаться, поговорить, передать нужное. Всегда мы встречались «случайно» в условленных ранее местах.

С особой симпатией к русским относились сербы. Вокруг Вуковича и Обрада сколотилась довольно значительная группа решительных, крепких парней.

— Здраво, братко!

Мою ладонь стиснули горячие жесткие ладони Мирко. Он невысок, но широкоплеч и похож на веретено, поставленное тонким концом книзу. Из разреза рубашки лезла густая растительность, и говорил он рыкающим басом. В приветствии я различал только раскатистое «р-р».

— Здрррр-рво, брр-ртко!

Человек двадцать сербов столпились вокруг меня, наблюдая за тем, как на бумаге постепенно прорисовывалась голова пожилого капитана с пышными прокуренными усами. Он сидел, подбоченясь, напротив, сосредоточенно уставясь выпуклыми глазами в пятно на грязной стене за моей спиной. Слово за словом, принаравливаясь к течению разговора, Мирко пересказал сводку Совинформбюро, услышанную от меня получасом раньше.

— Значит, братушки русские выходят на свои границы. Это хорошо. А пойдут ли они дальше, или остановятся? — спросил кто-то.

Вопрос был явно адресован мне, но Мирко его перехватил и уверенно ответил:

— До самого Берлина дойдут!

— Хо! Ты был на приеме у Сталина?

— А может, и был! — хитро прищурился Мирко. — Ты думаешь, русские остановятся, не отомстят за замученных людей, за сожженную землю? Не-ет, не остановятся!

— Кто ж его знает... Силы, может, не хватит?

— Силы? — Мирко от полноты чувств чуть не задохнулся. — Эх, ты-и! Когда поднимается весь народ — сила его неисчерпаема.

— А война все равно тянется, как на волах, — мрачно вставил высокий горбоносый серб.

— Она пошла бы быстрее, если бы вы не выгребали зады в Моосбурге, а удирали к Тито, — живо обернулся к нему Мирко.

— Почему же ты не удираешь?

— Не пришло время. А придет — удеру. Кто хочет помогать своему народу, те давно уже в горах. Вспомните Кревича, Джуру, Милковича и других. Поэтому-то в Югославии немцы и сидят, как на раскаленной сковороде.

— Закрутятся еще и не так! — пообещал мой натурщик. — Мы им все припомним. А разговор придется прекратить. Здесь не место. М-м-да... Так-то.

Он снова устался в пятно на стене, молчаливо приглашая меня продолжить работу.

— Разве среди вас есть предатели? — спросил я, оставшись с Мирко наедине.

— Люди разные. В душу не заглянешь.

— Вот именно надо заглянуть. Надо, чтоб все сербы думали так же, как думаешь ты.

— Трудно.

— Да, трудно, — согласился и я, — но в этом пока весь смысл нашей борьбы.

— Надо к партизанам идти. Не могу я больше здесь сидеть.

— Успеешь, Мирко. От твоей работы и здесь большая польза.

— А там еще больше. — Он махнул рукой в сторону гор. — О чем же может еще мечтать солдат, как не о том, чтобы снова взяться за оружие.

Я с ним согласился.

Из рабочих команд началось бегство, и ни карцер, ни зверские расправы с беглецами не могли уже остановить пленных.

Они втихомолку расправлялись с предателями. Французы убили лагерного полицая — тоже француза, — разрезали на куски и утопили в выгребной яме. Немцы долго искали его в лагере, потом решили — бежал.



Народ зашевелился. Многие стали нам помогать по собственному почину.

И вдруг я самым неожиданным образом попал в число отправляемых в команду. Узнав об этом, я хотел перейти на нелегальное положение в лагере, но Гамолов отговорил.

— Не надо. Крайней нужды в этом нет. Когда потребуется — найдешь способ выбраться из команды сюда. А команда хорошая. То есть я имею в виду людей — в основном это все те люди, что приехали с тобой из Лодзи. Крепкий народ, и тебя знают. Это важно. А в числе конвоиров с вами, вероятно, поедет Эрдман. Запомни: Эрд-ман. Им занимался один наш товарищ, но не успел приобщить его к нашему делу, а сейчас Эрдман уходит из поля зрения. Ты присмотришься к нему. Человек он интересный и небесполезный. За рогатиками следи в оба. Твои старые знакомые: Цымбалюк, Хмельчук и Рваный.

— Напутствуешь? А оставить меня в лагере никак нельзя?

— Нельзя. Мы думали. Ну, вот как будто и все, что я хотел сказать. Да! Настраивай людей на победы, пусть используют каждую щель. Конечно, и сам не сиди, пробирайся на восток, а если окажется не под силу, иди к чехам или к партизанам в Югославию. Люди и там нужны.

— А ты?

— Пока здесь останусь. Не с моими ногами...

Гамолов ходил с трудом. Даже в жаркую сухую погоду жестокая боль терзала застуженные ноги.

И снова я — в который уж раз! — прислушивался к стуку чужих колес на чужой земле. Поезд мчался еще дальше на запад, колеса стучали-перестукивались однообразным монотонным ритмом:

«Е-дем ку-да-то, е-дем ку-да-то...»

Два товарных вагона прицеплены к хвосту пассажирского поезда. В них — мы. В зеленых классных вагонах ехали господа завоеватели.



## Глава VII

### 1

**П**огожим днем над зеленым массивом хвойных лесов виднеются Баварские Альпы — издали фиолетовые, кое-где прорезанные штрихами ледниковых складок, затянутые голубоватой дымкой лесного марева. И когда подует ветер с юга, он доносит в Мюнхен аромат альпийских лугов, едва уловимую свежесть снежных вершин и терпкий запах нагретой сосны. С этой стороны лес подходит к городу вплотную, укрывает в себе многочисленные

дачные коттеджи, виллы, живописные местечки пригорода.

Километрах в восьми от Мюнхена спрятался под соснами Оттобрун — маленький дачный поселок с игрушечным вокзальчиком и сотней домов, разбросанных под высокими кронами столетних великанов.

На лесной вырубке выстроились в ряд бараки. Три из них огорожены колючей проволокой. В одном — кухня, кладовая и столовая; в двух других — жилье, сапожная мастерская и вечно запертый крошечный медпункт. На пустыре между столовой и проволочным ограждением виляло зигзагами противоосколочное убежище, выложенное поверху пахучим дерном. Над бараками поднялась дощатая стожевая вышка, успевшая уже почернеть.

За проволокой — короткая улочка барачков для иностранных рабочих, а еще дальше, за перелеском, виднелись крыши огромных строений, похожих на ангары: механические мастерские и материальный склад. Еще чуть поодаль открывалась глазу просторная строительная площадка. На ней шли подготовительные работы к сооружению очень крупной аэродинамической трубы для завода Мессершмитта.

Строительство почти не двигалось. На стройке лемцев было мало, а иностранные рабочие соревновались с нами, кто меньше сделает.

Вытянувшись в цепь, мы медленно продвигались вдоль бетонированной траншеи; за нами грузно раскручивалась двухметровая катушка кабеля. Разматываясь, кабель ложился на наши плечи и дальним своим концом укладывался в траншею, словно огромный удав, непомерно тяжелый и толстый.

Мы волокли его рывками.

— Хо-о-о... рюк! — командовал мастер.

Кабель продвинулся на несколько сантиметров.

— Хо-о-о... рюк!

В глазах плыли радужные круги.

— Хо-о-о... рюк!

Еще рывок. У кого-то подвернулась нога. И словно цепь с разорванным звеном, один за другим попадали

все тридцать человек, придавленные тяжестью толстого кабеля. Кто-то надсадно охнул, кто-то приглушенно вскрикнул...

Выпучив бешеные глаза, к нам бросился мастер.

— Встать! Встать, свиньи!

— Вста-а-ать! — заорали конвоиры.

Жирно лоснясь на солнце, замелькали приклады. Снова кабель рывками продвигался по траншее и в воздухе висела надрывная команда мастера:

— Хо-о-о... рюк!

Спустя несколько дней кабель улегся в траншею, мы накрывали ее армированными бетонными плитами и засыпали землей. От склада до места работы плиты пришлось переносить на себе.

Снова по лесу потянулась живая людская цепь. Плечи до крови обтирались ребристой тяжелой плитой, на разбитых руках заворачивались ногти.

— Бисстро! — надсаживался мастер. Он напоминал фельдфебеля из Вольгаста, и я мысленно усмехнулся: «Боже мой, как же вы все похожи!»

— Бисстро! — подхватывали конвоиры и лупили прикладами по костлявым спинам, облепленным потными тряпками.

— Бисстро! Ви, рюски свиня!

Впереди меня тяжело переступал рослый Концедалов. Синяя куртка меж лопаток почернела, длинные волосы, перевитые прядями ранней седины, взмокшими жгутами болтались перед глазами. Сбоку к нему подскочил мастер, ткнул кулаком под ребра, размахнулся, и, соскользнув с плеча Концедалова, плита чуть-чуть зацепила голову мастера и, разодрав рукав куртки, села ребром на его ногу.

— А-а-а-а... — обхватив ступню руками, мастер раскачивался из стороны в сторону и выл, выкатив глаза в небо.

Над Концедаловым повис приклад, и в тот же миг мы, не сговариваясь, подняли над головами плиты. Побелевший от страха солдат отскочил на несколько шагов назад, передернул затвор, но выстрелить не решился.



...На разбитых руках заворачивались ногти.

(к стр. 128)

Вечером, после работы, сто человек команды выстроились во дворе. Обеспокоенный обер-ефрейтор Штихлер — толстый пожилой астматик — спешно вызвал командофюрера-унтера.

Люди стояли спокойно, выровняв ряды строя.

У командофюрера-унтера — тонкое аристократическое лицо. За стеклами очков голубели задумчивые, печальные глаза. Он был спокоен, может только точку бледнее обычного.

— Я слушаю вас.

Вперед вышли Концедалов и Иван Лаптев.

— Нас привезли сюда не для того, чтобы над нами мог издеваться каждый, кому захочется. Мы — русские офицеры. Мы требуем человеческого обращения, требуем прекратить избиения. — Глаза Концедалова налились откровенной ненавистью. — Если не прекратите избиения, мы откажемся от пищи и не выйдем на работу. Лучше умереть стоя, чем на четвереньках под прикладом дурака-конвоира!

Лаптев перевел, значительно смягчив выражения.

— Господа офицеры забыли, где они находятся. Вы можете только просить, но не требовать. Об избиениях я слышу впервые. Можно было из-за этого не поднимать столько шума, а просто доложить мне. Если вы вздумаете не выйти на работу, я вызову специальный отряд, и многие из вас больше никогда не будут волноваться. Итак, просите улучшить отношение? Я вам это обещаю, но за хорошую работу. С вами лично, — он ткнул в Концедалова пальцем, — у меня будет особый разговор. Что еще?

Люди заговорили все разом. Унтер переждал галдеж. Пригнув к плечу белокурую голову, он присматривался к возбужденным лицам и превосходно все понял без переводчика.

— Я понимаю вас: здешние условия вас не устраивают, оскорбляют побои, изнуряюще действует недостаточное питание. Но и вы должны понимать, что плен — не пребывание у нежных родственников. Улучшить питание не могу, освободить от работы не в моей власти, но побоев больше не будет. Собирайтесь, как сегодня, категорически запрещаю. Это массо-

вый протест — иными словами, бунт. В следующий раз я буду вынужден принять самые крайние меры. Разойдись!

Унтер ушел не торопясь, даже не оглянувшись назад, на продолжавших шуметь людей.

Штихлер, исполнявший обязанности помощника унтера по хозяйству, освободил перед столовой темный чулан и под конвоем двух солдат водворил туда Концедалова. Он отсидел там десять суток, вышел еще более похудевший, бледный, с сухим, злым блеском запавших темных глаз.

Позже я понял, что унтер, не захотев давать огласки происшедшему, ограничился местными мерами и тем самым спас Концедалова от больших неприятностей. Попади он за это в Моосбург — могла быть петля.

Мастер не выходил на работу несколько дней, потом явился, опираясь на толстую суковатую палку. Он всматривался ищущими глазами в лица пленных и не находил Концедалова — в то время он отсиживался в карцере.

Вскоре мастера заменил тощий унылый немец с лицом заезженной лошади. Этот больше молчал и отлеживался в дощатом сарайчике, безучастный ко всему, кроме своей язвы желудка, на которую он жаловался при каждом удобном случае. По его словам, Гитлер — кретин, правительство — шайка воров, а война... Он безнадежно махал желтой рукой: — Война — дрянная мясорубка.

Когда же мы указывали на лацкан заношенного мундира, где краснел значок члена фашистской партии, он брезгливо кривил длинные губы, точно хотел сплюнуть, и цедил:

— Э-э-э, дрянь! Все — дрянь!

Нам он был не ясен: или неудачник, которому при дележке ничего не досталось, или хитрый тип, вызывающий нас на откровенность. На всякий случай мы держались от него в стороне.

Вскоре работы по прокладке кабеля закончились. Часть пленных перебросили на строительство железнодорожной ветки, других — в механическую мастер-

скую и на стройплощадку. Меня перевели в мастерскую слесарем.

Переступив порог мастерской, новички остановились в стороне. Подошел молодой рыжеватый мастер. С видом доктора он рассматривал нас несколько минут, затем стал распределять по рабочим местам.

Наступил и мой черед. Испытующе оглядев меня с ног до головы, «герр мастер» спросил:

— Слесарь?

Я не очень уверенно кивнул головой.

— Идем.

В конторке он дал мне два листа чертежей.

— Чертежи умеешь читать?

— Умею.

— Здесь все вычерчено. Разберись и механизм этот собери точно по чертежу. Детали в этих ящиках.

Прибор был сложный: что-то вроде специальных электромеханических весов. Над монтажом я проработал около недели. Требовалась ювелирная точность и большое внимание. Мастер подходил по несколько раз на день, одобрительно хмыкал, и все было бы хорошо, если бы не валик с гайкой. Гайка навинчивалась на валик очень туго, а надо было, чтобы она проходила по всей метровой длине валика свободно, безо всяких усилий. Прогонять гайку вручную было и долго и трудно. Я зажал конец валика в патроне токарного станка и, чуть навинтив гайку на другой конец, включил станок. Валик быстро закрутился, и придерживаемая мною гайка плавно поползла по валику к другому его концу.

Я уже стал радоваться своему успеху, как вдруг незакрепленный конец валика завихлял, причем с каждым оборотом все больше и больше, и через мгновение он уже, подобно длинному хлысту, лупил по станинам.

Все произошло очень быстро. Валик погиб безвозвратно, и если бы Николай Полковниченко не успел выключить станок...

Сильный удар в ухо бросил меня на шашки торцового пола, и надо мной хищно изогнулся мастер с высоко занесенным над головой злосчастным вали-



ком, и быть бы мне похороненным, если б Полковниченко не вырвал из его рук валик. Круглое лицо немца стало малиновым, настолько темным, что серые глаза казались совершенно бесцветными.

Вторым ударом он сшиб Полковниченко. Однако припадок злобы стал спадагь, и это спасло меня, хотя лицо вспухло и посинело.

— Са-бота-а-а-аж! Шестьсот марок! Где я возьму шестьсот марок? У ты, собака! Поганая русская собака! Вон! Вон отсюда!

Мастер бушевал еще долго.

На следующий день меня перевели в грузчики.

## 2

Через узкую улочку от нас жили женщины из Франции. В воскресенье они сбрасывали рабочее тряпье, прихорашивались и становились, хоть на день, обычными людьми — женщинами.

Пленные жадно прилипали к проволоке. Женщины это видели, кокетливо покачивали бедрами, отпускали двусмысленные шуточки.

По воскресеньям отдыхали и мы. Стояло мягкое лето. Над землей проплывали потоки прозрачного воздуха. Несло терпким дыханием хвойного леса. В бараке не сиделось. Тянуло на простор.

Сбросив тряпье, пленные с наслаждением валились на прохладный дерн бомбоубежища и выгревались на нем до вечера, поворачиваясь за солнцем, как подсолнухи.

Дядюшков запевал. Звонкий тенор будил сонную тишь. Мужские голоса подхватывали песню, и она неслась в лесной простор. На смену одной песне приходила другая, и все они были протяжные, грустные; сосредоточенными в себе и грустными были лица поющих. Взгляды устремлялись поверх синего леса в голубую бездну небес, и не было края тоске по далеким родным местам, по дорогим сердцу людям, давно похоронившим нас в своих невеселых думах.

В воскресенье я сидел на своем обычном месте

у окна в столовой и рисовал портрет миловидной немки.

За спиною скрипнул пол.

— Работаем?

По голосу я узнал Эрдмана — нашего каптенармуса и переводчика.

— Тружусь помаленьку.

Эрдман навещал меня каждое воскресенье. Входил почти всегда неслышно, некоторое время наблюдал из-за плеча за работой, потом усаживался напротив.

— Ну, ну... Трудитесь. Удивительная техника! Карандаш, кусок ваты, резинка. Просто. По принципу «голь на выдумки хитра». Я пробовал, и ничего не вышло. Почему?

— Видимо, нужно больше практики.

— Видимо, да, — соглашался Эрдман. — Практика... Хорошо поют, — добавил он погодя. — Прекрасно поют. Я вот слушаю и вспоминаю Одессу.

— Вы там были?

— Да. Жил там. Бывало, заканчивается день, в порту собираются артелями грузчики, отдыхают да как затянут песню. Стоишь наверху, слушаешь — и душа замирает. Море тихое, ласковое. По берегу начинают огни загораться. Одесса... — проговорил он задумчиво. — Хороша! Двадцать лет прошло, а вижу ее, будто вчера уехал.

Худое длинное лицо Эрдмана помрачнело. Возвращаясь к воспоминаниям о России, он хмурился и заметно волновался. Я приглядывался к нему, будто изучал интересную, пока малопонятную книгу.

Знакомство наше состоялось быстро и просто. Однажды, в воскресенье, почувствовав, что кто-то стоит за спиной, я обернулся. Худой сутуловатый ефрейтор смущенно кашлянул — совсем не в духе наглой развязности, присущей большинству солдат конвоя.

— Я, кажется, помешал?

— Нисколько. Интересуетесь рисованием?

— Искусство всегда интересно, даже если оно превращается в ремесло. Архитектор Эрдман, — представился он. — Не помешаю?

— Напротив. Я рад знакомству. Садитесь.

Эрдман говорил по-русски совершенно свободно, с чуть заметным одесским пришепетыванием.

Завязался разговор, и через час Эрдман уже говорил со мной, как с хорошим знакомым. В последующих встречах беседа наша затягивалась иногда до вечера.

— Мой папаша совершил две роковые ошибки, — рассказал Эрдман. — Первая ошибка в том, что, бросив родину, он уехал наживать денежки в Россию. Жил там чужаком, и хотя женился на русской, от этого своим не стал: не прирос к русским душой, считал Россию временной квартирой. Вторую ошибку отец совершил спустя двадцать лет. В революцию он потерял все, что нажил: ну, значит, и сиди на месте — терять-то больше нечего! — а ему не сиделось, уехал в Германию. Добро бы сам, а то потянул и нас за собой. На этот раз он уже нас оторвал от родины, и сам не нашел того, чего искал. Бросился очертя голову в политику — Мюнхен тогда кипел страстями, но отец не в ту сторону бросился. В 1934 году его как упрятали в Дахау, так и по сей день...

— Погиб?

— Не знаю. Наверное. Я никогда к нему не пылал большой сыновней любовью. Вначале, правда, жалко было, а теперь... Переломанная жизнь получилась, исковерканная, плохая. Мать жалею. Старуха тоскует по России, меня тоже к русским тянет, а мундир на мне гитлеровский. Архитектор Эрдман — ефрейтор немецкой армии! — он шелкнул под столом каблуками.

— Но у вас же есть диплом, образование...

— Добавьте еще воспитание, убеждения и прочее. Все это дополнительный груз. Кандалы!

— А творческий труд архитектора?

— Вы смеетесь надо мной? Кто и что сейчас строит? Концлагеря? Бомбоубежища? Сейчас приемлем только тот труд, который прямо или косвенно работает на войну. Остальное — макулатура, не стоящая пфеннига. Разумеется, я это говорю не для длинных ушей.

— Бойтесь, донесу?

Эрдман рассмеялся:

— Страх перед ближним стал нашей национальной чертой. Просто машинально вырвалось. Думаю, что в гестапо есть уже мой исчерпывающий портрет. Нового к нему не добавите.

— Однако в армию вас взяли?

— Ничего не поделаешь: тотальная мобилизация. Заговорился я с вами. Хотел домой заглянуть, а теперь уж поздновато.

— Ничего не поздно. Поезжайте, навестите мать, жену. Небось скупают?

— Не удосужился жениться.

— Как?! До сих пор не женаты?

— И слава богу! Семья связала бы меня по рукам и ногам, приковала бы к месту, а я лелею мечту вернуться в Россию. Как вы думаете, примут?

— Не знаю, Эрдман, право, не знаю.

— Да, да, понимаю. Пока! Поеду домой.

— До свиданья. Лучше позже, чем никогда.

Уже от порога Эрдман обернулся, грустно кивнул:

— Вы правы: лучше поздно, чем никогда.

У меня складывалось впечатление, что Эрдман очень несчастный человек, одиночка, эстетствующий интеллигент, упрятавший на дно души свою трагедию. Но мог ли я ему довериться вполне?

Вечером бараки становились мастерскими по изготовлению игрушек. Сбытом наших изделий занимался конвоир Ганс Шмуклер, уже давно разменявший шестой десяток: рот провалился, череп лыс, спина сутула. Шмуклер содержал в Мюнхене кабачок, и на его доходы откупался от фронта, да, кажется, еще откупал и сына. Днем он находился в команде, вечером — в своем заведении.

Молча не работалось. Спорили, друг друга вышучивали. Частенько споры переходили в серьезные потасовки.

— Цымбалюк, — пристал Немиров к медлительному украинцу, — Расскажи нам, как ты в плен сдавался?

— А нема що розказувать. Пидняв руки та пишов.

— Значит, ты изменник? — не отставал Немиров.  
— Та який там изменник! Отступали, отступали, пришли в мое село, а комбат и на пивчаса не отпустив, побоявся. А дома — жинка, диты. Я просив, просив його, а потом взяв и пишов. А тут и нимци прыйшли.

— Значит, прошли село, ты штык в землю — и до мой. Дальше пусть дядя воюет?

— Угу.

— Сволочь ты, Цымбалюк. «Угу»! С такими навоюешь!

— Зачем в РОА записался? — за спиной Цымбалюка вырос Дядюшков.

— От присталы, чудни люди, що ж мени, з голоду пропадать?

— За котелок похлебки в своих стрелять...

— Ни в кого я стрелять не буду. Ни в ваших, ни в наших. Мени б тильки до Украины доихать.

Из угла подскочил Гранкин. После контузии он тряс головой, был нервный, вспыльчивый и злой.

— Изменник! Сволочь! Ни нашим, ни вашим. Подстилка фашистская!

— От як дам подстилку...

— Ты?!. Мне?!.

Цымбалюк коротко охнул и повалился на сторону, но, падая, успел ударить Гранкина в живот.

— Бей рогатика!

— Бе-е-е-ей!

Кто-то задел лампу. В комнате сразу все зашаталось, замелькало, и стало тесно от разгоряченных тел и шума. Никто не слышал, как щелкнул замок и в комнату вошел унтер.

— Что случилось?

Избиение прекратилось. Люди неохотно разошлись, освободив середину комнаты. С пола поднялся Цымбалюк и, цепляясь за койки, проковылял в свой угол.

— Этот тип — вор, — пояснил унтеру Немиров.

— Вор? Эй ты, это правда?

Цымбалюк повернул к унтеру разбитое лицо и медленно качнул головой.

— За это следует. Но барак не место для расправы. Поломаете мебель.

Унтер ушел. В комнате водворилась гнетущая тишина. Двое других власовцев — Хмельчук и Рваный — испуганно притаились на своих койках.

Хмельчук — красивый молодой парень, почти юноша, но человек конченный. Плен тяжело давил на его психику: с некоторых пор он стал подкрашивать губы, жеманиться, точно бульварная кокотка. Несколько раз его прихватывали за онановым грехом. При виде женщины на него нападал столбняк, а глаза зажигались сумасшедшим блеском.

Рваный играл под одесского жулика. Когда-то он отбывал наказание за мелкое воровство, нахватался блатного жаргона и вихлястой развязности. Но он трус. В Моосбурге был жестоко бит за кражу.

— Ну и «кадра» же идет к Власову, — сказал Воеводин, — сидеть с ними рядом и то стошнит. Откуда берутся такие выродки?

— А Будяка и Присухина забыл?

— Ну, не-е-ет! То птички идейные, а это так... Мразь.

С понедельника продолжалась каторга.

Вдоль стройплощадки выстраивались в длинный ряд уродливые детали трубы. По рельсовому пути катался бревенчатый порталый кран с ручной талью. Грузы снимались с платформ нечеловеческим напряжением наших мышц.

Нас — восемь человек пленных, один конвоир и мастер Гебеле. Мастера из домашней спокойной шели, где он уже несколько лет сидел на пенсии, вытряхнула тотальная мобилизация.

Гебеле суетлив, подвижен и криклив не в меру. На крючковой фигуре болтался, как на вешалке, длинный черный пиджак. Из просторного воротника торчала гусиная шея с острым кадыком, и на ней капустным кочаном ворочалась большая седая голова с огромными, будто полтавские вареники, ушами. Длинный фиолетовый нос оседлан очками с тяжелыми стеклами. Если их убрать — Гебеле слеп, как летучая

мышь. Он почти постоянно орал старческим дребезжащим тенорком:

— Вы не умеете работать, глупые русские верблюды! Я вас научу!

Крики Гебеле надоедали, как жужжание осы.

— Господин обер-мастер, — подошел к нему капитан Корытный.

Гебеле выжидающе остановился.

— Вы видели глупого старого верблюда? Нет? Тогда поглядите в зеркало.

— Что? Что?!

Старик подскочил как ужаленный, угрожающе вытаращил подслеповатые глаза и запрыгал руками по пуговицам пиджака, под которым бугрилась кобура пистолета. Потом стремительно убежал в склад, и оттуда долго слышалась плаксивая ругань. В работе наступила длинная передышка.

Конвоир Люк был ко всему безучастен. Целыми днями он насвистывал, зорко следя за каждым нашим шагом. Не менее зорко следили и мы за ним. Работа шла своим чередом.

Однажды привезли десятитонный трансформатор. Сгружали его на специальные подмости из шпал. Старый Гебеле очень боялся, что мы его уроним, он охрип от крика, бесновался и налетал на нас, точно рассерженный петух.

К вечеру следующего дня трансформатор встал на место. Его тщательно зачехлили, и только две пары глаз видели, как из спускного отверстия потянулась тонкая бесшумная нить янтарного масла. За ночь оно ушло сквозь пористый щебень в землю, оставив небольшое темное пятно, но со временем и оно подсохло и выветрилось. Внешне все было хорошо, нормально, и даже спускная пробка оставалась на месте, удерживаясь на последних витках резьбы.

### 3

С некоторых пор небо над Мюнхеном перестало быть спокойным. Ночами тоскливо завывали сирены, бездонную черную глубину полосовали прожекторы,

буравили трассы зенитных снарядов, подсвечивали красные отсветы пожаров. Поначалу налеты были редкими, протупывающими, но со временем стали бомбить почти каждую ночь, и мы по два-три часа проводили в убежище, определяя на слух количество самолетов, силу огня и район бомбежки.

Лающие выстрелы зениток глушили ухающие тугие раскаты бомбовых взрывов.

— Фу, черт, — кто-то тяжело передохнул. — Рядом садит...

Земля качнулась, охнула и зашуршала, осыпаясь за досками обшивки. Потом донесся звук — тупой, тяжкий и могучий; после него несколько секунд стояла тишина, только в ушах шумела кровь.

— Тонновая, — определил чей-то голос.

— Где-то совсем близко.

— Аэродром бомбят.

— Давайте, давайте, родненькие!

— Смотри, дадут — больше не захочешь!

— Ну и...

Новый взрыв качнул стены убежища, затолкнул в легкие теплый упругий ком. Солдаты кинулись к выходу. В его прямоугольнике бушевало красное пламя. Очень близко в городе горел гигантский факел, медленно раскачивался, ронял на землю куски кроваво-красного пламени и длинные хвосты черной копоти. Взорвался нефтеперегонный завод.

Утром мы тащились на работу усталые, сонные, но сердца ликовали, радовались.

— Скоро, братцы, ско-о-ро!

И хотя не говорилось, что именно «скоро», нам это было понятно без слов.

В сентябре дни стали короче, летняя жара спала, явственнее ощущалось дыхание гор. На утренних поверках пленные зябко передергивали плечами.

За три месяца из Оттобруна многие бежали. Некоторых после моосбургского карцера вернули в команду, о других не было ничего слышно. Люк не отходил от нас ни на шаг. В черных глазах вертлявым бесен-



ком торчала неусыпная настороженность, и можно было не сомневаться, что, ни на миг не задумавшись, он пошлет в беглеца разрывную пулю. В этом было его спасение от фронта.

Мы тоже следили за ним, и зазевайся он на секунду — кто-то из нас кинется в зеленую гущу леса.

В субботу незадолго до конца работы к складу подъехал грузовик. После короткой перебранки с Гебеле мастер механической мастерской отобрал из нас четверых и, спешно погрузив их с Люком в кузов, уехал в Мюнхен. Оставшись с подслеповатым Гебеле, мы безмолвно переглянулись: другой такой возможности не будет.

Вероятно, то же думал и Гебеле. Он вертелся между нами, часто поглядывая с тревогой на часы. Что-то мы переставляли, двигали, переносили с места на место, а сердце отсчитывало быстрые тревожные секунды.

Наконец где-то за стеною склада пробили шабаш. Машины с остальными нашими товарищами все еще не было. Гебеле нервничал, черной тенью носился по складу, потом скрылся за стеклянной перегородкой конторки, озабоченно подсел к столу и достал свои бутерброды.

Будто кто-то толкнул меня в спину: с прохода я свернул за тюки и ящики грузов и, пробираясь между ними, словно по тесному извилистому лабиринту, направился к двери. Еще шаг, еще несколько секунд, и... свобо-о-ода!

Бросив взгляд назад, увидел выскочившего из конторки Гебеле.

— Стой! Куда? Стреляю! Сто-о-ой!

Прыжком перемахнув дорогу, я бросился в молодую хвойную поросль и понесся, не разбирая дороги, не обращая внимания на стегающие по лицу длинные хлысты веток. Впереди трещали кусты, мелькали в зелени головы остальных товарищей. Сзади простучали четыре пистолетных выстрела.

На стройплощадке не было ни души. Я с ходу втиснулся в прямоугольную горловину железного короба, согнутого в виде большой дуги. Коленями и локтями протолкнул тело до середины и замер, едва пе-

реводя дыхание. В таком положении меня не могли увидеть, даже если бы заглянули в короб. По железу что-то стучало гулко, ритмично. Я враз похолодел и в тот же миг понял, что стучит собственное сердце, гудит не короб, а кровь, приливающая к голове тугими волнами.

Снаружи тихо. Отдышавшись, я несколько успокоился, вновь обрел способность нормально мыслить.

В коробе накопилась дождевая вода, воняло мокрой ржавчиной. С опозданием обожгла мысль: «Если пустят в короб пулю — конец. Любой рикошет попадет в меня. А если овчарка?..»

Время шло. Ничто не нарушало тишины. Незаметно для себя я уснул.

Проснулся внезапно, будто от удара. Кто-то, крадучись, проходил мимо; чуть слышно шуршал мелкий щебень. По стенке короба кто-то шерхнул, остановился, шерхнул еще раз, и громкий шепот позвал:

— Леша, ты где?.. Выходи... Леша...

Я сразу узнал Корытного. Попробовал двинуться и не смог. Весь левый бок окоченел, стал совершенно чужой, нечувствительный, будто кусок дерева.

— Костя! — позвал я громко.

— Кто? Кто здесь? Где ты?

По стенке короба зашуршало смелее, громче.

— Ты здесь?

— Помоги, не выберусь.

Моя рука нашла горячую руку Корытного.

— Ну и залез...

На синем небе ярко светила серебряная половинка луны. Воздух, тихий и прозрачный, широким освежающим потоком врывался в легкие, отравленные вонючим коробом. Несколько минут я, улегшись на траве, прислушивался к тому, как возвращалась к жизни омертвевшая половина тела. Покалывали тысячи мелких-мелких иголочек, потом пришла тупая боль, словно стягивала тело длинная судорога.

Часом позже мы вчетвером шагали гуськом по лесу. Шли молча, прислушиваясь к каждому звуку, и, когда уже начали меркнуть звезды, сделали короткий привал.

— Хотел бы я знать, куда нас занесло. — Русанов устало присел на пенек. — Мы слишком долго шли на юг. Там — горы. Пропадем: идти трудно будет.

— Зато прятаться легче.

— Сомневаюсь. Плотность населения везде одинакова. По-моему, надо выходить к железной дороге Мюнхен — Регенсбург и двигаться вдоль нее, используя каждую возможность подъехать. Это ускорит...

— Приезд в моосбургский карцер. — Корытный не очень весело рассмеялся. — Куда бы мы ни шли, а разделить надо. Вчетвером идти опасно.

На лесной полянке мы раскурили единственную сигарету и, молча пожав друг другу руки, распрощались. Корытный и Гранкин пошли в прежнем направлении на юго-восток, мы с Русановым двинулись в обход Мюнхена с целью выйти к железной дороге на Регенсбург. Этот путь нам казался вернее.

#### 4

Под дождем лес потемнел, нахохлился, молча подставил свою лохматую спину под густую сетку водяных струй. Шурша в листве, они скатывались на раскисшую землю, наполняли лесные овраги мутным отмывом глины. Идти было тяжело. Ноги грузили в рыхлом многолетнем листовом слое, а на глинистых откосах разъезжались в стороны, скользили, будто по льду. Одежда прилипла, знобило.

Впереди меня, прихрамывая и тяжело опираясь на сосновую жердь, шел старший лейтенант штурман Русанов. Двое суток непрерывно моросил обложной дождь; двое суток почти непрерывно двигались и мы. Ни обсушиться, ни отдохнуть. В такую погоду лучше идти: меньше опасности кого-нибудь встретить. И мы шли даже днем.

Русанов остановился на краю неглубокого оврага. — Устал? Отдохнем.

Я молча сел, уперся каблуками развалившихся ботинок в глинистый скат. Из него торчали узловатые корневища, напоминали мне скрюченные руки трупов

в яру под Ефремовкой. По дну оврага переливался на камнях, журчал, точно всхлипывал, мутный ручей.

— По-го-о-ода...

— Да-а...

Веки тяжелые, плечи давила, как мешок с песком, усталость. Дождь шелестел тихо, настойчиво, натаскивая одуряющую пелену сна.

— Не спи.

Я встряхнулся. Как раз в эту минуту мне показалось, что лег я в теплую постель и с наслаждением вытянул усталые ноги. И вот нет никакой постели. Тот же унылый, сумрачный лес, тот же дождь, тот же Саша сидит сбоку, растирает зашибленное колено.

— Фу, черт, спать хочется.

— Потерпи... Перекусим?

— Давай.

Мы достали из карманов полдюжину яблок и столько же луковиц. Есть один лук — горько, яблоки — мало. Поэтому мы грызли лук, закусывая яблоками. Получалась горько-кислая противная смесь.

— Нога болит?

— Да вроде не очень.

— Пойдем?

— Пошли, пожалуй.

Саша, кряхтя, поднялся, потуже затянул брючный ремешок и, опираясь на палку, сполз по склону.

И вновь потянулся нескончаемый мокрый лес. Снова разъезжались в грязи ноги. Мы шли упорно, согнув спины, опустив низко головы, налитые свинцовой мутью. Вероятно, так бродят по лесу волки — усталые, мокрые и очень голодные.

Начало побега было более удачным. После прощанья с товарищами на затерянной лесной лужайке мы с Русановым повернули на северо-восток. В лесу было темно, но привыкшие к темноте глаза сравнительно легко выбирали дорогу. Ноги сами по себе неслись вперед легко и пружинисто.

Мы шли без остановок до рассвета, и когда первые лучи солнца позолотили верхушки сосен, а внизу еще стлался голубоватый мрак, лес поредел, расступился. За густым молодняком опушки мы увидели

желтые побледневшие фонари и под ними ряд колючей проволоки, опоясавшей несколько барачков. Проволока была совсем рядом — можно достать рукой. Лагерь просыпался. Хлопали барачные двери, выпускающая заспанных людей, еще не стряхнувших с себя остатков сна. Лес усиливал звуки; в прозрачном воздухе слышалась русская речь. Молодые парни, скорее подростки, сновали между бараками, устраивали возню у длинного желоба умывальника.

Один из хлопцев зашел по нужде за угол.

— Эй, парень! — тихо позвал Русанов.

Юноша оглянулся, испуганно заморгал глазами. Он заметил нас и с опаской огляделся по сторонам.

— Что за лагерь? — спросил Русанов.

— Цивильные мы.

— Подойди ближе.

— А чего вам?

— Поесть бы, одежонки. Мы пленные, вчера бежали.

Парнишка постоял в раздумье, потом скрылся за углом, бросив на ходу:

— Подождите.

Вместо него чуть погодя появился другой: худой, высокий, голубоглазый и постарше.

— Здесь опасно. Пробирайтесь вдоль проволоки к оврагу, — он показал рукой направление. — Заложьте там. Через час мы придем. Сколько вас?

— Двое. Одежонки бы...

Парень понимающе кивнул.

Час показался нам очень длинным, я уже начал сомневаться в искренности голубоглазого.

— Черт его знает, еще приведет полицию.

— Да брось ты ерундить, — успокаивал Русанов.

Однако, выбравшись из оврага, мы замаскировались поблизости. Овраг был хорошо виден.

Через некоторое время на противоположной стороне появилось четверо ребят. По едва заметной тропинке они спустились вниз. Кусты прошелестели, качнулись и снова мертво застыли.

— Э-эй! — донесся тихий голос. — Выходите. Где вы?



— Счастливый путь, пане русский!  
(к стр. 156)

Мы пробрались к ним.

— Здорово, ребята!

— Здравствуйте!

Глаза их горели жадным юношеским любопытством.

— Бежали? Откуда? Куда? — Вопросы ставились прямо, бесхитростно.

Под кустами уселись в кружок. Ребята принесли две буханки хлеба, кусок подозрительно красной колбасы в целлофановой кишке и две бутылки эрзац-пива.

Впережку с разговорами мы расправились с половиной припасов. Остальное отложили на дорогу.

Юноши смотрели на нас, сглатывая голодную слюну, и старательно курили душистый эрзац. Мы тоже закурили.

Голубоглазый натужно закашлялся.

— Солома, пропущенная через лошадь, — проговорил он, чуть отдышавшись, и с сердцем раздавил каблуком окурок. — Я тоже пленный. Из Мюнхена бежал, да не вовремя: болезнь сломила. Вот к ребятам пристроился.

— А дальше... Не думаешь?

— Нет, — задумчиво ответил парень. — Чахотка грызет. Возьмите с собой ребят. — Его глаза — кусочки голубого неба — просительно округлились. — Хорошие хлопцы, не подведут.

— Не можем. Не возьмем, — после глубокого раздумья ответил Русанов. — Бежали мы четверо, а пришлось разделиться. Большой группой идти опасно. Быстро прихлопнут. Если с нами попадетесь — туго придется, — он мягко похлопал курного подростка по угловатому плечу. Тот вспыхнул, залился пунцовым румянцем. — Не обижайтесь, хлопцы, не можем.

Ребята помрачнели, насупились. Мы переоделись, выбрились и стали прощаться.

— Счастливо!

— Спасибо, ребята, спасибо, родные!

Ко мне подошел голубоглазый парень.

— Мне уж не светит вернуться. Если доберешься

до наших, черкни старухе. Она живет в Полтаве. Вот адрес.

В мою руку перекочевал влажный и теплый клочок бумаги.

— Меня зовут Геннадий Круглов. Там есть... в записке.

— Напишу, Гена. Будь здоров!

— Прощайте.

На лацканах пиджаков голубели нашивки ОСТ, в карманах лежало немного денег и хлебных карточек. Мы шагали по твердой дороге и смело смотрели в глаза случайным прохожим. Теперь мы — восточные рабочие, идущие в воскресенье в гости к друзьям в соседнюю деревню.

День был воскресный. По пути изредка встречались старики в черных старомодных тройках и крахмальных манишках. Ведя под руку аккуратных старух, они направлялись в кирху степенно и важно.

Вдали на дороге показался велосипедист. Он крутил педали и, держась за высокие роги старомодного велосипеда, сидел ровно, будто проглотил аршин. В посадке было что-то очень знакомое. И вдруг я узнал:

— Гебеле!

— Вот черт!

Русанов нагнулся завязать шнурок, я прикуривал сигарету, закрыв лицо руками с зажигалкой. Гебеле проехал, даже не взглянув в нашу сторону.

— Фу, пронесло. Откуда он взялся, бес?

— Воскресенье, Саша. Может, в гости поехал.

— Носит его! Тьфу ты, пропасть, напугал как! — Русанов в сердцах сплюнул на каменистую дорогу. — Черт с ними, с нашими костюмами! Давай, брат, поглубже в лес. Береженого бог бережет.

Мы шли, не останавливаясь, пока не стемнело. Ночью лес стал сразу отталкивающим и загадочным. Невидимые ветки цеплялись за одежду, бросались под ноги, больно стегали по лицу, стараясь попасть по широко открытым невидящим глазам. Темнота стояла плотная, пугающая. Казалось, еще шаг — и



полетишь в глубокую пропасть. Пришлось подождать восхода луны.

Я привалился спиной к шершавому стволу. Русланов был рядом — я слышал его дыхание. Не хотелось ни говорить, ни двигаться. Сидел бы вот так, вытянув натруженные ноги, прислушиваясь к тому, как по телу перекачивается волнами кровь, ноют ступни, болят плечи.

Где-то далеко, посылая к безучастным звездам тоскливую жалобу, завывала собака. Донесся едва слышный мелодичный звон башенных часов.

Пробило одиннадцать. Точно по сигналу, в лесу стало светлее. Четче проступили размытые контуры деревьев, по ветвям рассыпались серебристые лунные блики, и с ними рядом углубились тени, черные, как китайская тушь. Мы пошли дальше.

На окраине деревни пили молоко. Хозяева выставляли его с вечера за ограду усадьбы в больших белых бидонах. На рассвете проезжал сборщик, отвозил молоко на сливной пункт, и пока хозяева поднимались, он уже развозил пустую тару.

Мы пили молоко, попеременно наклоняя бидон, и с трудом переводили задержанное дыхание. Бидон наклонялся все больше и больше и, когда молоко уже стало булькать под самым горлом, мы закрыли крышку этой двадцатилитровой посуды, опустошенной почти наполовину.

Незаметно и почему-то очень быстро рассеялась ночь. Над дремлющей на зорьке землей повис оранжевый диск солнца. Мы углубились в лес и, забравшись в непролазную чащу терновника, проспали до вечера.

Сменяя друг друга, потянулись дни и ночи. Днем мы отдыхали, прячась в лесных чашобах. Ночами шли. В населенные пункты заходили только на окраины выпить молока да порыться на огородах. Все, что нам попадалось, съедали сырым. Разложить костер было опасно: ночью далеко видно огонь, а днем голубой безобидный дымок мог привести к нам нежеланных гостей.

Потом лес накрылся серыми слоистыми тучами,

заморосил упорный обложной дождь. В его пелене мягко рисовались дальние сосны — будто отступали перед нами. А мы все шли и шли, и день казался сплошными сумерками.

Когда темень сгустилась, впереди забрезжил красный огонек. Спустя полчаса он увеличился до размеров освещенного окна. Лес черной подковой охватил одинокую усадьбу.

Будто замороженные мы смотрели на спокойные лица людей за окном, на обнаженные руки женщины. Неудержимо потянуло к теплу, к застеленному голубой клеенкой кухонному столу, за которым эти двое — пожилой мужчина и полная женщина — что-то ели, переговаривались, беззвучно шевеля губами.

Желудок сводила голодная судорога.

В доме закончился ужин. Мужчина, почесываясь, ушел. Женщина собрала посуду, снесла ее в подвал. Ненадолго под окном кухни осветился узкий прямоугольник. Женщина вернулась в кухню, нагнулась над духовкой, и у меня сразу рот до отказа наполнился слюной: в руках у нее коричнево лоснился пирог. Свет погас и в кухне. Сразу навалилась непроглядная темень.

Ни одно движение, ни одна деталь не ускользнули от наших глаз. Через час-полтора мы подкрались к подвальному окну. Щелкнул раскрытый нож. Зажав его в зубах, я ощупал оконную раму, просунул под фрамугу голову и стал опускаться в подвал. Русанов держал за ноги. Руки шарили в пустоте, не доставая пола. Под рукой взвизгнула крышка кастрюли. Я замер. Сердце готово было выпрыгнуть на пол, хрипело в застуженных бронхах. Опустился еще ниже, нащупал широкую длинную скамью и еще ниже — пол. Спустя минуту мы уже поднимались в кухню.

Я натолкнулся руками на еще теплую плиту и осторожно отворил дверку духовки. По кухне разлился невыносимо вкусный запах сдобы. Боясь загреметь и едва дыша, я вынул теплые противни с тестом и передал Русанову. Нашел стол, на нем трубку и резиновый кисет хозяина. Около стола нащупал тяжелые горные ботинки, окованные по рантам медью, и на

перекладине стула — толстые шерстяные носки. Чиркнул зажигалкой. На двери глянцевого блеснул дождевик. Прихватил и его.

Выбраться из подвала было уже значительно проще. В ста метрах от дома мы расправились с яблочным пирогом, вкусным, душистым и еще горячим. Второй такой же остался про запас.

— Непуганые, черти, беспечные, — проворчал Саша. — Спят...

Русанову хозяйские ботинки оказались малы. Он взял носки. Мы переобулись и, выкурив трубку, двинулись дальше. Идти стало легче: в кармане дождевика нашелся электрический фонарик. Его вспышки на мгновение выхватывали из чернильной темноты стволы сосен и размокший грунт. Ноги становились на землю прочнее, увереннее.

Уже отойдя километра два, Русанов вдруг присел и весело рассмеялся, впервые за девять дней.

— Ох, не могу! Представь себе их лица завтра. Они к духовке, а там... Ха-ха-ха!

Рассмеялся и я, и дождь, казалось, прислушался к нашему смеху, забылся, стал реже.

Утром мы набрали на старый, по-видимому заброшенный, сарай, набитый до самых стропил прошлогодним сеном. Зарывшись в него, мы быстро согрелись, и незаметно навалился сон, крепкий и непроглядный, как лесная темень, из которой мы недавно выбрались.

## 5

Через широкую гладь Дуная перекинулась лунная дорожка. Она трепетно переливалась множеством холодных искр, и там, где заканчивалась, смутно угадывался противоположный берег.

В нескольких километрах выше по реке мерцала россыпь огней Регенсбурга. Большой придунайский город вскрикивал гудками паровозов, манил и отпугивал переливчатой игрой электричества. Где-то там шагнули через Дунай тяжелые мосты, и по ним перейти через реку было бы просто счастьем: Русанов

не умел плавать, а идти через незнакомый город — безумный ненужный риск. Надо было искать что-то другое.

Река вздыхала холодной сыростью, пугала черной подвижной глубиной.

Голодные и злые, мы рыскали по берегу уже третью ночь и, наконец, нашли затопленную у берега лодку, примкнутую к свае цепью с пудовым замком. Рядом на берегу стоял покосившийся сарай. В нем мы нашли весла, уключины, ломик и вязанку мелкой рыбешки, высохшей до костяной твердости.

С огромным трудом мы спустили свой «Ноев ковчег» на воду. Оттолкнулись от берега. Лодку сразу развернуло, стало сносить течением. Русанов неумело выгребал, ржавые уключины с визгом ворочались в гнездах, словно кричала перепуганная среди ночи чайка.

— Осторожней, Саша, не шуми.

— Какого черта боишься. Скоро уже и тени своей будем бояться.

Противоположный берег приближался. Неожиданно прямо по носу лодки в небо врезался сияющий луч прожектора, постоял секунду и косо упал на противоположный берег, выхватив из тьмы белое пятно сарая, потом, как бы нехотя, перешел правее и погас.

— Влипли, — чуть слышно прошептал Русанов.

— Говорил же тебе...

— А черт их знал!

— Вынимай весла, пойдем без уключин.

Прошло несколько минут. Немцы на том берегу, видимо, не на шутку встревожились. До нас явственно доносились голоса, словно говорили с нами рядом. Снова зажегся прожектор. Ослепительный пучок света, чуть подрагивая, медленно шарил по воде, постепенно приближаясь от берега к нам.

— Нырять! — придушенно просипел Русанов.

— Да ты что?!

— Нырять, говорю! Спасайся ты, дурень! Ведь обоих схватят!

— Саша!

— Скорей! Ну!

Я перевалился через борт. Вода обожгла, захватило дыхание, ботинки потянули ноги ко дну. Стараясь не всплескивать, я отплывал по течению вниз. Русанов изо всех сил выгробал к берегу.

Оглянувшись, я увидел на фоне прожекторного луча аспидно-черный силуэт лодки и в ней пригнувшегося штурмана.

У берега застучал мотор, набирая обороты, взвыл, и, когда Русанов поднялся в лодке, воздух рванула раскатистая очередь.

Усиленная мегафоном, донеслась команда:

— Стой!

Ботинки и одежда неудержимо тянули меня ко дну. Я все чаще погружался с головой, стараясь удерживать дыхание, но грудь сама по себе судорожно выталкивала воздух в воду, и я едва успевал всплыть, чтобы рывком вдохнуть его вместе с водой. И в тот момент, когда тело, отказавшись от борьбы, стало оседать в податливую глубину, я вдруг почувствовал под ногою дно. Было уже мелко.

Я оглянулся снова.

Небольшой катерок, зацепив буксиром лодку, описывал широкий круг, освещая перед собой темную водную гладь носовым прожектором. От его скользящего луча я ушел под воду, и когда вынырнул, катер уже тарыхтел к месту своей стоянки.

Русанова увезли. Меня охватила страшная тоска одиночества. Я долго лежал на холодном береговом песке в бездумном оцепенении, выстукивая зубами ознобную дробь. Потом, подгоняемый липким холодом, я побрел прочь от берега. Утро застало меня километрах в десяти от Дуная, на дне глубокого узкого оврага, прикрытого с боков чахлым еловым перелеском.

Плотно завинченная зажигалка не пропустила воды. К небу потянулся жгутик голубого дыма, жарко вспыхнул мелкий сушняк. Я уже не думал ни о какой другой опасности, кроме одной: как бы не заболеть.

В овраге я обсушился и, забывшись в тревожной дреме, пролежал до заката. Я тогда по-настоящему понял, что такое одиночество. Все страхи и опасности,

голодовки и лишения, все, что мы делили вдвоем, свалилось на меня одного. Я не был очень сильным. Одиночество угнетало, становилось подчас невыносимым.

Рудные горы тихи, задумчивы. В темной зелени хвои горячими пятнами кучерявились красные буки, оранжевые березы, желтые лиственницы. В распадках гор журчали говорливые речушки, прозрачные, как хрусталь. В лужах голубели куски осеннего холодного неба; беспредельно высокое, оно только подчеркивало нарядную спокойную красоту увядающей природы. Днем согревало землю невысокое, но еще теплое солнце; ночью горы прихватывались легкими заморозками.

Со дня побега заканчивался месяц. Одежда моя превратилась в лохмотья, тело покрылось коркой грязи, щеки заросли кустиками колючей щетины; на суставах почти постоянно кровоточили ссадины. Выдерживали только добротные альпинистские ботинки.

Холодными вечерами на короткое время показывался узкий серп луны и быстро заваливался за зубчатый черный горизонт.

Наступила пора безлунных ночей. Я подошел к маленькой железнодорожной станции, приютившейся в просторной долине неподалеку от Карловых Вар. Станция уснула. В узком окне служебного отделения светилась тусклая лампа. Слабо желтели огни semaфоров. На путях сонно растянулся товарный состав.

Крадучись, я переходил от вагона к вагону. Все они были наглухо заперты и опломбированы.

Впереди мелькнула едва различимая тень, хрустнул щебень. Я прижался к колесу вагона. Чуть погодя тень шевельнулась снова, двинулась от меня вдоль вагонов. Под ногой у меня звонко шелкнул камень, и тогда человек не выдержал, метнулся в сторону. Перемахнув кювет, он зашумел в низкорослом кустарнике. Забыв об осторожности, я побежал за ним: «Ведь это же свой, сво-ой!» — и радость затеплилась в душе, измученной одиночеством и постоянными страхами. Кусты прошумели и стихли.

— Эй, товарищ, выходи! Выходи-и-и!

Человек затаился, молчал.

— Выходи, друг, не бойся, — звал я тихо, вкладывая в голос всю свою тоску по человеку. — Выходи, где ты?

Чуть зашевелились ветки, придушенный голос выдохнул:

— Здесь.

Осторожно раздвинулась зелень, рядом выросла темная фигура, выше меня на целую голову.

— Давно бы так. Чего же прячешься?

— Думал — полицай.

— Ты кто, пленный?

— Не... Работаю тут. Грузчиком. В вагонах продукты.

— Откуда ты знаешь?

— Знаю, — уклончиво ответил парень, уныло сопя заложенным носом. — А ты кто?

— Военнопленный. Пробираюсь в Польшу.

— Не дойдешь.

— Чего так?

— Ходили наши и не дошли. Кто в Майданек попал, а кого назад привезли полуживого. Живут теперь хуже собаки.

— А ты лучше?

— Я-то?! — удивился парень. — Я ничего... Кормежка слабая, а так — ничего будто.

— Может, пойдешь со мной?

— Куда? — не понял собеседник.

— Домой, в Россию. Разве не тянет?

— Тянет, да боязно. Печенки поотбивают ежели что. Нет, не пойду, — повторил он упрямо.

— Ну что же, тогда идем к вагонам.

Парень сразу повеселел.

— Это можно.

Мы снова подошли к составу. Парень действовал уверенно. В его руках появился короткий загнутый на конце ломик. Легко подтянувшись, он сорвал пломбу, откинул накладку и, орудуя ломиком бесшумно и быстро, отодвинул тяжелую дверь. В вагоне блеснул лучик фонарика. Я принял от парня три картонных пакета.

— Все, шабаш.

Дверь накатилась на место, чуть стукнула наклад-ка. Из кармана парень достал пломбир, и все приня-ло свой первоначальный вид.

— Ну, брат, ты мастер!

— А мы только этим и живем. Вот принесу, на-кормлю хлопцев... Иначе уже давно бы ноги вытянули.

В пакетах оказались галеты, сухие, чуть солоно-ватые.

— Может, пойдешь со мной? А?..

Парень снова мотнул упрямо головой.

— Боязно. И не один я, нас четверо. А самый здо-ровый — я. Без меня пропадут ребята. Не могу я их бросить. И ни к чему. Намучишься только, а все равно поймают. Вот бери...

Он сунул мне пятикилограммовую картонку галет, подхватил остальные и повернулся уходить.

— Постой, будь другом, дай фонарик.

— Он тебе ни к чему, а мне по вагонам шарить без него что без глаз. Бывай здоров!

Кусты прошумели за ним, сошлись, и больше ни-что не нарушало ночного покоя.

В долине задержались остатки ночи. Между ост-роверхими цинковыми крышами плавал голубоватый сумрак, а на горах солнце брызнуло по макушкам де-ревьев яркими бликами плавленного золота, разогнало туман, заиграло в кристалликах инея множеством раз-ноцветных искорок. Лес ожил, засиял торжественно и нарядно.

Такой красотой можно бы любоваться часами... ес-ли бы поесть горячего да хоть несколько часов ото-спаться в тепле!

Утренний заморозок загнал меня в сенник рядом с бревенчатым домом, прижавшимся к самому лесу.

Постройки усадьбы почернели от времени. На че-шуйчатой деревянной крыше местами зеленел мох. За стеной сенника тяжело вздыхали коровы, фыркала лошадь.

Проскрипела тягучая дверь, и чуть погода из-за



стены донесся упругий прерывистый звон стенки поддояника. Сочный женский голос прикрикнул почесски:

— Стой, стой, глупая... Расходилась!

Начался обычный трудовой день. Со двора слышалась певучая чешская речь, громко тяпал топор, повизгивал барабан глубокого колодца.

Хозяин вывел лошадь. Сипло покрикивая, запряг ее и уехал по дороге вниз.

Широкая, как ворота, дверь сенника раскрылась, вошла невысокая молодая женщина. Подслеповато щурясь со света, она пошарила рукой у стены, ощупью взяла вилы, обернулась и наткнулась взглядом на меня.

— Кто? Кто тут?

Выставив вилы перед собой, она шагнула назад.

— Не бойтесь. Я русский... Пленный.

— Почему здесь?

— Ночью холодно, — я показал на свои лохмотья, — а здесь тепло.

Женщина успокоилась, опустила вилы и оглядела меня пристально большими серыми глазами, в которых светился настоящий живой интерес и немножко человеческого участия.

— Вы голодны, да-а?

Я кивнул головой. Она понимающе улыбнулась, пошла к дому, но, с полпути вернувшись, сказала, словно бы извиняясь:

— Мне неудобно пригласить вас в дом.

— Нет, нет, не надо! На мне слишком много грязи.

Позже передо мной появилась полуведерная кастрюля, над нею клубился душистый пар. Обжигая ладони, я чистил крупную рассыпчатую картошку, набивал ею рот и запивал еще теплым парным молоком.

Женщина молча стояла в просвете двери, участливо наблюдала, как появилось дно кастрюли и мои движения утратили первоначальную жадность.

— Спасибо вам, добрая женщина!

— О нет, не надо благодарить. Вы голодны и одиноки, вам надо немножко помогать.

Пока варилась картошка, я сбрил хозяйской

бригвой отросшую за месяц бороду, умылся с мылом, натянул на себя толстый свитер, шерстяные носки и чертовой кожи брюки. Все было старое, во многих местах зачищенное и полатанное, но чистое и теплое.

Сердце согрелось участием, жизнь показалась светлее и легче, и все, что ожидало впереди, уже не представлялось таким пугающе страшным.

— Спасибо, спасибо вам. Вы хорошая, добрая женщина.

Я нагнулся и от всего сердца поцеловал широкую натруженную руку. Женщина покраснела, опустила голову. В серых глазах показались слезы.

— Счастливый путь, пане русский!

## 6

В неглубокую водомоину я натащил ворох опавших листьев, зарылся в него и только тогда почувствовал огромную непреодолимую усталость. Листья уже припахивали прелью. Было сыро, но тепло и мягко. Уснул сразу же, точно потерял сознание.

Сон оборвался как-то уж очень нелепо.

— Стой! Руки вверх!

При чем тут «стой»? Ничего еще не понимая, я вскочил. От удара занял бок.

— Руки вверх, ты!

Передо мной стоял коренастый человек. В руках он привычно сжимал ружье, палец уверенно лежал на спусковом крючке.

— Ты кто?

— Человек.

— Вижу, что не скотина. Русский?

— Да.

— Оружие есть?

— Нет.

— Спиной ко мне! Руки назад!

Он очень туго стянул их у локтей. Лопатки сошлись вместе, и в груди стало болеть. Повинуясь команде, я сел на краю водомоины. Напротив опу-

стился владеец смерти и живота моего. С его колена за мной подсматривала двустволка. Вторая нога — деревяшка.

— Так, говоришь, русский военнопленный?

— Да. Военнопленный.

— Откуда бежал?

— Из Мюнхена.

— Ого?! Давно?

— Тридцать четыре дня назад.

— А куда идешь?

— Русскому надо идти в Россию.

В глазах лесника светилось и удивление, и недоверие, и еще что-то, чего я сразу не мог понять.

— Ты сумасшедший! Послушай, неужели же русские все такие упрямые идиоты? Тридцать четыре дня голодный, грязный, усталый. А впереди еще путь в три раза длиннее, и подходит зима. Куда ты идешь? Зачем? На что ты надеешься?

— Ты же был солдатом...

— Но если бы я попал в плен, я бы сидел спокойно.

— Это твое личное дело. Развяжи мне руки, — попросил я. — Вчера плечо разбил, больно.

Лесник осмотрел плечи и, увидев большую ссадину, распустил веревку, но палец снова лег на спусковой крючок.

— Смотри, чуть что — твоя башка разлетится вдребезги! Непонятный вы народ — русские. Вешают вас, убивают, сажают в тюрьмы, а вы все бежите, несмотря ни на что, по чужой стране. Дойти — один шанс из тысячи. Не больше! На прошлой неделе в соседнем лесу убили троих таких же, как и ты. Пришли! — он укоризненно покачал головой. — И ты придешь!

Он докурил трубку и, выбив ее об деревянную ногу, встал.

— Альзо! Пойдем! Но не вздумай бежать, я гнаться не буду. — Он выразительно качнул двустволкой.

Лесник привел меня в полицейский участок.

За большим совершенно пустым столом дремал

старик, одетый в заношенный китель с узенькими погонами полицейского офицера.

Лесник громко стукнул у порога деревяшкой.

— Хайль Гитлер!

Старик испуганно вскочил, прошамкал ответное «Хайль!» и уставился на нас моргающими красноватыми глазами.

— Вот, — сказал лесник, — привел гостя. С вас сорок марок, господин Кламер.

— Да, да, понимаю. Сорок марок за поимку пленного. Да, да, да. Михель! Михе-е-ель!

Из соседней комнаты вышел второй старик — чуть помоложе, чуть бодрее и чуть пониже ростом.

— Господин Нушке привел пленного. Займемся им. А вы, Нушке, идите отдыхайте. Мы вас вызовем.

— Хайль Гитлер!

— Хайль!

Входная дверь ржаво скрипнула. В наглухо запечатанную комнату ворвалась струя свежего воздуха, закрутилась, и сразу запахло многолетней пылью и мышами.

Старик Кламер, порывшись в глубоком чреве стола, достал несколько листов бумаги и, разгладив, положил перед собой. Начался допрос. Фамилия, возраст, национальность, звание...

— Капитан Советской Армии, — ответил я не без гордости.

Кламер встал, шаркнул ногами, согнул в вежливом полупоклоне костлявую спину.

— Рад познакомиться: Максимилиан Кламер — обер-лейтенант семьдесят третьего горно-егерского полка.

Я понял, что этот Макс Кламер был обер-лейтенантом, может, полвека назад и раскланялся со мной по требованиям этикета того времени.

Сморщенная узкая рука, покрытая нитками склеротических вен, отодвинула в сторону листки бумаги. Кламер подбил снизу остро загнутые к вискам прокуренные усы и упер в меня выцветшие глаза с оттянутыми вниз розоватыми веками.

— В прошлую войну я был в России. Русские до-

бры, и им эта доброта вышла боком... м-м-м... беспечность. К пленным офицерам они относились весьма прилично. Потом пришла революция. Появились другие русские — небритые, грязные, с громкими речами и красными бантами. В России стало плохо. А как там сейчас?

— Благодаря вам сейчас везде плохо.

— Да, да, да, — закивал Кламер, — понимаю, война. Война и нам не принесла ничего хорошего. Раньше воевали в белых перчатках, а теперь... Самолеты, танки... Слишком много металла, а человек очень слаб.

Кламер говорил, а второй старик, Михель, сидел у двери — очевидно, чтобы я не удрал, — и, молча соглашаясь, кивал головой.

— Да-а-а... В ту войну от разгрома на Востоке нас спасла русская революция, а теперь уже, наверное, ничто не спасет. Ну хорошо, что же прикажете мне делать с вами? Ночевать вам, хе-хе-хе, ночевать вам есть где. А чем вас кормить? Конвоир из Моосбурга придет не так скоро.

Я достал из карманов продовольственные карточки и двадцать марок.

— Подойдет?

— О! Целый капитал. — Старик забеспокоился: — Вы никого не ограбили?

— Нет. Это мне друзья дали.

Спустя некоторое время на пыльный стол лег хлеб и завернутый в целлофан сальтисон, почему-то сильно разящий аптекой.

— Ну вот, — сказал Кламер, когда с едой было покончено. — Михель ответит вас на место. Ведите себя спокойно — это для вас же лучше.

За низенькой дверью прогремел полупудовый замок. Очень усталый и разбитый, я прилег на засаленный тощий тюфяк. В подполье что-то скреблось, а в мозгу билась одна и та же тоскливая мысль: «Вот и пришел конец воле. Как глупо!»

Я слышал, как немного погодя Михель снова гремел замком — поставил в угол ведро, — но поднять очень тяжелые веки, под которые словно сыпанули табаку, было уже выше моих сил.



## Глава VIII

### 1

**М**оосбургский лагерь встретил меня въедливым осенним дождем. Поэтому он показался мне не таким, как в прошлый раз, а тихим и непривычно безлюдным, будто вымершим.

В комендатуре заполнили какую-то бумажку, мокрый злой фельдфебель влепил мне походя две-три здоровенные затрещины, дежурный солдат отвел в следственный барак.

На Лагерштрассе об асфальт дробились дожде-

вые капли. В тонком зеркале воды ломалось мое отражение — уродливое, жалкое.

В следственном бараке было переполнено. Под толком в сизых слоях табачного дыма тлели огоньки лампочек. В полусумраке стоял гул голосов, двигались люди, вспыхивали огоньки сигарет, несло паленой резиной. Каждый клочок места был занят, даже в проходах лежали люди.

Я тщетно искал мало-мальски сносное место и вдруг встретился с Немировым.

— Ты?! Батюшки! — он радостно всплеснул руками. — И тебя заарканили? Ну, здравствуй!

Он потеснился, уступив мне полоску нар на верхотуре. Нам было тесно, но разговоров хватило надолго. Немиров рассказывал, что на третий день после нашего побега из Оттобруна в команду приехало большое начальство. В течение нескольких минут в бараках все поставили вверх дном. Пленных обыскали, вытряхнули и перерыли даже матрацные стружки. Гитлеровцы мимоходом избили многих пленных и, не найдя ничего подозрительного, уехали так же быстро, как и нагрянули.

Спустя несколько дней после обыска среди конвоя появился обер-ефрейтор Милах, присланный в помощь унтеру. Этот тип с мордочкой грызуна сам никого не трогал, но конвой точно с цепи сорвался: лупить стали ни за что ни про что — хуже, чем было вначале. И ларчик открывался просто: Милах был сотрудником мюнхенского гестапо.

— А унтер? — спросил я.

— Да что унтер? Его теперь и не слышно.

Немиров бежал, улучив минутку, когда конвоир отошел по нужде за угол. Бежал и в первые минуты даже не мог себе поверить, что получилось все так просто. Он шел, даже не выбирая направления — лишь бы подальше от лагеря, потом повернул на восток, и все в общем было очень похоже на мой собственный путь: то же молоко до болей в животе, то же голодное волчье существование, те же страхи. На девятый день к вечеру его схватили на окраине деревни, избили и доставили в Моосбург, от ко-

того он, кстати сказать, находился километрах в двадцати.

— Из Оттобруна сам пришел в Моосбург. Пешком! Вот, брат, приспичило! — шутил Немиров. За унылой шуткой слышались большая тоска и откровенный страх перед будущим.

— Ничего. Не так страшен черт, как его малюют. Здесь долго держат?

— По-разному. Суд, карцер и снова в команду. Всего протянется с месяц. Отпуск. А потом в команде печенки отобьют — и катись на тот свет. Комендант чудит, играет в суд и справедливость. Увидишь сам.

— Русанов, не слышал, здесь?

— Точно не знаю, но, по-моему, нет. Может, убили?

— Все может быть. Что слышно с Востока?

— Наши форсировали Днепр, бои идут за Киев. С Тамани немцев вышибли.

— Так это же хорошо!

— Понятное дело — хорошо, да только медленно будто...

— Ну, тебе бы мед да здоровую ложку.

— Не плохо бы! Appetit у меня хороший.

Мы оба рассмеялись.

В небольшой комнате комендатуры на длинной скамье вдоль стены чинно сидели с десяток военнопленных. Перед дверью в кабинет коменданта для порядка расхаживал часовой. Время от времени он останавливался, выдергивал из кармашка облезший футляр с часами и смотрел на них долго, точно видел впервые. Потом, подавляя зевоту, принимался снова ходить: пять шагов туда, пять — обратно.

Часа через два ожидания входная дверь рывком открылась:

— Ахтунг!

Все вскочили, часовой замер.

— Хайль Гитлер!

Через комнату, не глядя по сторонам, твердо про-



шагал комендант, за ним еще двое: старик в штатском и обер-лейтенант с угрюмым крупным лицом. Обитая дерматином дверь глухо притворилась, через несколько минут суд начался.

Меня вызвали третьим.

За широким канцелярским столом сидел комендант. Слева от него расположился старик с аккуратными расчесанными на прямой пробор совершенно белыми волосами, перед ним лежало несколько листков бумаги. Слева от коменданта, как огромная серая птица, нахохлился обер-лейтенант. Сходство это подчеркивал длинный крючковатый нос и злой, исподлобья взгляд воспаленных глаз. В руках коменданта я увидел свою учетную карточку и листок, заполненный при доставке в Моосбург. Рядом лежали еще какие-то бумажки.

— Переводчик нужен?

— Нет.

— Тем лучше. Фамилия, имя, звание?

Я ответил на два десятка стандартных вопросов. Комендант сличал мои ответы с карточкой, потом, отложив ее в сторону, строго посмотрел на меня.

— М-м-да. Тридцать четыре дня — срок немалый. Вы прошли почти пятьсот километров. Расстояние большое. Чтобы его одолеть, нужно хорошо питаться. Где вы брали продукты?

— Питался я в основном молоком.

— Но ведь этого слишком мало. Вы определенно воровали! Не приходилось ли вам украсть курицу или мелкий домашний скот?

— К сожалению, ничего такого не попадалось.

Обер-лейтенант мрачно улыбнулся и что-то сказал коменданту.

— Вы сказали «к сожалению». Это значит, что вы хотели воровать, но все дело только в том, что ничего не подвернулось?

Я решил, что разница небольшая между двумя и тремя неделями карцера.

— Да. Могли бы вы, господин полковник, выдержать такой путь на одном молоке?

— Здесь вопросы задаю я!

Полковник поочередно спросил у членов суда их мнение и вынес приговор:

— Четырнадцать суток карцера, три дня перерыва и снова четырнадцать суток.

— Благодарю вас.

Полковник чуть нагнул голову. Обер-лейтенант, брезгливо отвесив губы, крикнул:

— Следующий! Говоруха!

— Ну что? — спросили меня в ожидалке.

— Две недели, три дня перерыва и еще две.

— Ого! Влепили на полную катушку. Больше этого они не дают — отправляют в Дахау.

— Да ну-у?! И так бывает?

— Бывает и так. Разно бывает.

Из одиннадцати человек, осужденных в тот день, двое отделались общим карцером, а двое — француз и русский — попали под настоящее следствие. Их передали в ведение старика в штатском — белоэмигранта барона Корша — и сразу же после суда увели в одиночки. Корш — уполномоченный гестапо при Моосбургском лагере — отличался большой жестокостью и пристрастием по отношению к русским. Из его рук пленные шли только по одному пути — в Дахау, и не было случая, чтобы оттуда кто-либо вернулся.

Среди ясного солнечного дня в карцере стояла ночь. Через наглухо заколоченные окна просачивались узкие, как нож, полосочки света, под потолком желтели две маленькие лампочки, и поэтому в помещении стоял желтоватый полумрак, впитавший в себя запахи уборной, давно не мытого человеческого тела и удушливых французских сигарет. Прямо на голом полу лежали русские пленные. Их было человек восемьдесят. Почти все, несмотря на то, что была только середина дня, спали крепким сном сваленных усталостью людей.

С нашим прибытием обитатели карцера несколько ожили. Проснулись спящие, нашлись знакомые, приятели, дружки по плену. Карцерные старожилы старались, сколько могли, смягчить неприглядность своего

узилища, взяли под свою опеку новеньких, и в разных концах уже завязались оживленные разговоры.

Нашелся и у меня знакомый, но не сразу.

Побродив между людьми, я уселся на свободном месте в углу. Напротив меня в неудобной скрюченной позе спал человек. Видимо, его одолевали сны: он бормотал что-то бессвязное и дышал тяжело, неровно.

Лицо спящего показалось мне знакомым. Заросшие до глаз черной щетиной щеки, высокий лоб, рассеченный глубокой поперечной складкой, выпуклые надбровные дуги... Где же я его видел? Когда?

Память раскручивала одну за одной картинки прошлого. Проплывали города, события, встречи, грохотали орудия, переползали люди, к небу рвались огни пожаров, и вдруг в памяти возник крохотный костерчик из сложенных домиком документов. В зеленоватых сумерках рассвета над костерком склонился человек. «Гражданская смерть!» — придушенно прогудел чей-то голос, а сидящий над костерчиком проговорил тихо и грустно: «Жаль старика...» В углах его воспаленных глаз заблестели две крупные слезы, набухли и скатились в густую черную поросль на ввалившихся щеках.

Уйдя в воспоминания, я не заметил, что человек проснулся и, не меняя позы, наблюдал за мной.

— Здравствуй, новичок!

От неожиданности я слегка вздрогнул.

— Здравствуйте, Михаил Иванович.

Майор быстро приподнялся.

— Что? Откуда ты меня знаешь?

— Присмотритесь, может узнаете...

— Нет, не могу припомнить. Время идет, многое забывается. Служили вместе?

— Забывается многое. Но один день я не забуду, пока буду жив. И вам его не забыть, товарищ майор. Вспомните Лозовеньку, подполковника Перепечая...

— Ах, вон вы откуда!.. Теперь помню. Вы тогда были ранены. В ногу, кажется. И с вами был дружок, задорный такой, боевой, раненный в руку. Вот сейчас вспомнил все. Рад, рад встрече. — Майор креп-

ко гряс мою руку. — То, что случилось тогда, на всю жизнь памятно.

В карцере ночь и день поменялись местами. Ночью на людей нападали несметные полчища блох. Они секли, грызли, обжигали тело ядом своих укусов, и ночь превращалась в пытку. Чтобы хоть как-то избавиться от хищных паразитов, пол всю ночь поливали водой. Пленные не спали, собирались группами, разговаривали, играли в карты, пересказывали давно прочитанные книги. В пересказах книги обрастали такими деталями, о которых автор и не помышлял.

Но как только наступал день и блохи, нарезвившись за ночь и напившись человеческой кровушки, успокаивались, в карцере наступала тишина. Спали все поголовно.

Место около майора Петрова не пустовало. Чаще всего собирались в его углу, жарко спорили о положении на фронтах, о крайнем напряжении внутренних сил Германии, о... мало ли о чем могли говорить и спорить! Петров умел любой спор направить в нужное русло — о борьбе с фашизмом — и делал это словно бы мимоходом, без нажима, умело. Беседы с ним давали много полезного, умного, хорошего. Кроме того, майор всегда был в курсе последних новостей с фронтов: связь с «волей» не прекращалась, несмотря на изоляцию и полуголодный строгий режим.

В часы ночных бодрствований от Петрова и его товарищей я узнал о БСВ\* и судьбах некоторых его организаторов — советских военнопленных, офицеров-коммунистов.

18 мая 1943 года в Перлахе за срыв власовского митинга, направленного на вербовку военнопленных в РОА, гитлеровцы арестовали зачинщиков — это и были организаторы БСВ, — привезли их в Моосбург и бросили в 1-й барак — следственный изолятор.

Следствие ничего не дало. Все показания аресто-

---

\* БСВ — Братское сотрудничество военнопленных — подпольная антифашистская организация советских военнопленных, действовавшая в Южной Германии с марта 1943 года по апрель 1944 года.

ванных, скрывавших БСВ, сводились к одному — законной ненависти к изменникам, чем и объяснялся бунт в Перлахе. Версия казалась правдоподобной; о существовании нашей подпольной организации гестапо пока не узнало, и многие члены и руководители БСВ остались нераскрытыми.

После следствия советских офицеров, среди которых были и организаторы БСВ, увезли в штрафную команду в Дорнах на строительство канала. По слухам, это было самое гиблое место из всех команд, приписанных к Моосбургу.

— Скучаешь? — На мою подстилку сел капитан Платонов и сразу же заговорил дальше, не дав ответить: — Скучать вредно. Это вроде как моль в голове заводится: зудит, зудит, и на душе пакостно. Одним словом, от скуки даже молоко киснет. Так я говорю?

Он посмотрел на меня озорными карими глазами. Под черными казацкими усами, закрученными в тугие кольца, весело блеснули в улыбке зубы.

— Так, так, Сергей, — глядя на него, я улыбнулся тоже.

— Разговаривать не разучился?

— Наверное, нет.

— Вот и хорошо, — обрадовался Платонов. — Нарисуй мне Ленина, вот такого — маленького, — он показал на пальцах, — в профиль. Сделаешь, а, друг?

Через некоторое время из умывальника, служившего одновременно и уборной, завоняло жженой резиной. Потом вокруг Платонова собралось несколько пленных и, тесно сдвинувшись, чем-то занимались, по временам оглядываясь вокруг.

Немного погодя подошел Платонов.

— Вот гляди, — он оттянул в сторону разрез рубашки и горделиво выставил вперед левую половину груди. На смуглой коже против сердца синела контурная линия — профиль Ильича.

— Мы с Лениным теперь неразлучны. Во!

Платонов улыбнулся широко и радостно, хотя и знал, что рискует жизнью. И я понял, что он коммунист. А сколько было таких среди нас!

2

В карцере судили предателя. То, что он натворил, не лезло в рамки понимания простых привычных дел. Незадолго до его суда мне рассказывал майор:

— Любопытную штуку я здесь узнал. В Аугсбурге при машиностроительном заводе работала большая команда наших военнопленных. Люди, конечно, разные. Нашлись и такие, что не пожелали ждать сложа руки конца войны. Они сколотились в небольшую группу и занялись полезной работой: переводили газеты, соответственно их толковали... Словом, труд не большой, но полезный, нужный. Один из этих товарищей, по фамилии Сурмин, обыграл в карты некоего Белова. Тому стало жалко проигранной махорки, он заявил, что игра якобы была нечестной, и потребовал вернуть проигрыш. Сурмин его вздул.

— И правильно сделал!

— Белов был другого мнения. Он выследил Сурмина, пролез в подпольную группу и в один прекрасный день донес, но уже не на одного Сурмина, а на всех. Людей похватили прямо с работы, и больше их уже не видели. Предполагают, что их казнили в аугсбургской тюрьме.

— А этот гад — Белов? Неужели не прикончили его, собаку?

— Не успели. Его схватили вместе с остальными, и в лагерь он больше не вернулся. Все думали, что он погиб, как и остальные, а потом уже от конвоя узнали о его предательстве. Только в это время он был в другой команде и чувствовал себя вполне спокойно. Позже каким-то образом стало известно о нем и в той команде. Пытались прибить его, но неудачно: на шум прибежали солдаты, и по указке Белова двоих жестоко избили. На другой день он бежал.

— Как бежал?

— А вот сам посуди: жить дальше среди своих невозможно — рано или поздно задавят. К просьбам о переводе немцы оказались глухи. К тому же события этого года заставили призадуматься, что же делать дальше? Он и бежал.

— Удачно?

— Поймали. Здесь он. Только сиди спокойно. Не дергайся! Вон, видишь, рыжий, худой, в карты играет. Ну, а Донцова ты знаешь? Он и рассказал мне то, что ты сейчас узнал.

— Так чего же тянуть, Михаил Иванович? Снова, гад, уйдет, снова кого-то продаст.

— погоди, не прыгай. Теперь уже никуда не уйдет. Донцову я тоже сразу не поверил. Всякое ведь бывает, а тут уж слишком страшное преступление. Не верилось, чтобы вот так просто, из-за мелочной мести, он погубил столько людей. Просил товарищей проверить. Теперь уже сомневаться не приходится. Читай.

Петров протянул мне клочок бумаги.

«Убейте предателя Белова! Осенью прошлого года в Аугсбурге он подвел под виселицу шестнадцать человек. Сейчас он жрет с вами один хлеб, спит под одним одеялом. Убейте гада!»

— Убить его мало, собаку!

— Судить будем. Ты согласен быть членом суда?

— Разве об этом надо спрашивать?

— Надо! — жестко обрубил майор. — Если об этом дойдет до немцев — будет пеньковый галстук. Понял?

Часом позже предателя судили.

На середину карцера вышел майор.

— Товарищи! Среди нас есть предатель...

— Кто он?

— Смерть гадине!

— Смерть!

Кричали гневно, требовательно. Белов сразу обмяк, мертвенно побледнел, и оттого рыжие волосы, казалось, вспыхнули на нем красноватым пламенем.

— Я назову подлеца, но никто не должен его тронуть. Никаких самосудов! Мы будем судить его

со всею строгостью советской законности. Вот он, Белов!

К Белову рванулись несколько человек, но их остановил железный окрик майора:

— Стойте! Надо избрать состав суда.

Тройку избрали быстро. Председатель — Вечтомов, я и капитан Платонов — члены суда. Синие глаза Вечтомова горели ненавистью. Чуть охрипшим от волнения голосом он вызвал:

— Белов! Выйди на середину.

Даже в красноватом электрическом свете лицо предателя было бледным до синевы. Путаными, неверными шагами он вышел на середину и встал на небольшое цементное возвышение, предназначенное для железной печки. Вокруг разместились пленные.

— Фамилия?

— Белов.

— Имя?

— Петр Степанович.

— Год рождения?

— 1922-й.

— Звание?

— Младший лейтенант.

— Бывший младший лейтенант, — с расстановкой поправил Вечтомов. — Когда попал в плен?

— В июле сорок второго года на Волховском фронте. — Голос Белова дрожал, прерывался, ему от страха не хватало воздуха.

— Подсудимый Белов, — повысил голос Вечтомов, — обвиняется в предательстве шестнадцати человек настоящих советских людей, не пожалевших своих жизней ради борьбы с фашизмом. — После короткой паузы он добавил: — Вот, собственно, и все обвинительное заключение. А о своем гнусном злодействе расскажет сам Белов. Ну? Говори все.

Лицо предателя скорчилось в плаксивую гримасу. В тени бровей загнанно бегали налитые ужасом глаза, длинные тонкие пальцы нервно теребили полу измятой куртки.

— Братцы! Я не виноват, я никого не предавал, это неправда! Клянусь вам жизнью матери...



— Значит, виновным себя не признаешь?

Белов отчаянно замотал головой.

— Нет! Я не виновен! Это ложь!

— Свидетель Донцов, выйдите на середину! Расскажите все, что вам известно о преступлении Белова.

— Когда все это произошло, я был с Беловым в одной команде. Увидя меня в следственном бараке, этот иуда плакал, просил никому не говорить и за молчанье предлагал даже свою пайку хлеба.

Спокойный коренастый Донцов рассказал присутствующим все, что я раньше услышал от майора. Он говорил, наливаясь тяжелой злобой, зажигая слушателей жаждой справедливой мести.

— Эта сволочь вступила на путь предательства советских людей, руководствуясь мелочным побуждением личной мести. Шестнадцать человек погибли. Никогда они не вернутся на родную землю. Их дети остались сиротами. Какая кара может искупить это ужасное преступление? Даже смерть этого мерзавца не искупит его вины!

Донцов взволнованно закончил. В полумраке карцера снова взметнулись возмущенные голоса. Белова жгли десятки раскаленных злобой глаз, руки непроизвольно тянулись к нему, но рядом с предателем стоял майор.

— Спокойно! Сядьте по местам. Как же ты, Белов, решился на такой шаг? Расскажи суду. Ведь просто невероятно: из-за дрянной махорки и... людей на виселицу?

— Нет! Не-ет! Это брехня. Донцов все выдумал, чтобы меня угробить. Я никого не предавал. Братцы! — захныкал Белов. — Ведь так можно обвинить любого, оскорбить, назвать предателем... Где доказательства?

— Довольно! Это тоже ложь? — майор поднял над головой записку. — «Убейте предателя Белова!» Эти люди знают Белова, его подлое лицо. Они требуют расплаты за погибших!

— Хватит!

— Довольно!

— Кончай его!

Белов согнулся, сжался, как затравленная крыса. Глаза его бегали от лица к лицу, дрожащие руки шарили по пуговицам куртки.

— Ты признаешь себя виновным?

— Нет, не-ет! — завопил Белов, рванулся и, в два прыжка покрыв расстояние до окна, изо всей силы забарабанил кулаками по переплету.

— Караул, убиваю-у-ут!

Кто-то навалился на него, подмял, скрутил назад руки, кто-то всунул в рот кусок одеяла.

— Будешь кричать — тебе же хуже, — строго сказал Вечтомов. — Спрашиваю тебя в последний раз: признаешь себя виновным? Будешь говорить?

— Да что там спрашивать?

— Прикончить подлюку!

Глаза Белова выпучились, едва не лезли из орбит. Он мотал головой, скулил, рснял обильные слезы.

— Развяжите подсудимого! — распорядился Вечтомов. — Говори!

— Братцы! Пожалейте! Накажите меня как хотите, но только не убивайте. Я докажу вам, что я не плохой, что... Братцы! Я же добровольно пошел на фронт. В плен попал раненым, вот! — он высоко поднял штанину, псказывая изуродованную длинным шрамом ногу. — Сам не знаю, как тогда случилось. Я не думал, что так глупо кончится. Когда я проигрался, меня такое зло взяло против Сурмина... Да еще он избил меня... Я тогда решил ему отомстить. Я только на него одного заявил. Я думал, что ему солдаты отобьют печенки и на этом дело кончится. А получилось иначе: когда я заявил на него, мне пришили соучастие, потребовали показаний, стали бить, грозить виселицей. Братцы, я...

— Понятно, Белов! Значит, ты людей предал?

— Да... То есть нет...

Голос Белова прерывался. Наконец он вытолкнул из себя как стон, как длинный хриплый вздох:

— Признаю и прошу не убивать меня. Я сумею доказать, что я хороший, настоящий человек.

В ту минуту на него противно было смотреть, на-

столько противно, что многие отвернулись, нагнули головы, а он стоял в центре круга, дрожал и размазывал по лицу слезы и текущую из носа жидкую слезь.

— Суд уходит на совещание. Подсудимого не трогать!

В умывальнике мы совещались недолго. Решение было единодушным: смерть.

— Встать! «Именем Союза Советских Социалистических Республик, именем нашей Родины! Бывший младший лейтенант Красной Армии Белов Петр Степанович, 1922 года рождения, за сделанное им тяжчайшее преступление против советских людей, против Родины, выразившееся в предательстве шестнадцати человек, повлекшее за собой их физическое уничтожение, приговаривается к смертной казни через повешение. Учтя, что Белов признал свою вину, суд предоставляет ему право самому привести приговор в исполнение».

Услышав приговор, Белов глухо вскрикнул и рухнул плашмя на пол. Он ползал, извивался, хватал длинными худыми руками за ноги пленных. Из его глаз щедрым потоком лились слезы, в горле булькало и хрипело.

— Братцы, простите, братцы-ы-и...

Двое подхватили его под руки, повели под надзором майора в умывальник. Он не сопротивлялся, безвольно обвис, волочил ноги и тянул:

— Бра-атцы-и, простите, бра-а...

Спустя час мы с майором зашли в умывальник. Белов забился в угол, мелко дрожал, как замерзшая собака, смотрел на нас обезумевшими красными глазами.

— Кончай, Белов. Хоть умри-то по-человечески, трус!

Белов встрепенулся. Видимо, в эту минуту он нуждался в подстегивании. Неверными шагами подошел к петле, секунду постоял, потом засуетился, быстро надел ее на шею и разом поджал ноги.

— Вот так! Одним гадом меньше. Ошибающихся поправляют, предателей уничтожают, — мрачно про-

говорил майор. — Для немцев — это самоубийство, для нас — акт правосудия.

На утренней поверке дежурному фельдфебелю доложили о «самоубийце». Он бегло осмотрел труп, молча пожал плечами и распорядился вынести. Следов насилия на трупе не было, а самоубийство — явление в лагере не такое уж редкое.

### 3

Отбыв срок наказания, ушли в общий лагерь Петров и Вечтомов. С майором я передал записку Гамолу и спустя два дня уже получил от него короткую весточку. Оказывается, он уже знал и раньше, что я в карцере, и ждал моего выхода.

Первые две недели прошли. О трехдневной паузе «забыли». Я уже досиживал месяц. Без воздуха я ослабел. Стоило нагнуться, и перед глазамиплыли разноцветные круги. Если же садился, то встать мог, только перебирая по стене руками.

Отсидел уже свои две недели и Немиров. Прощаясь, он бодро хлопал меня по плечу:

— Спокойно, старик. Закончишь отсидку, мы тебя поднимем.

— Чем, и кто это «мы»?

— Сам знаешь...

— Ну, бывай здоров. Вместе поедем в Оттобрун к Хорсту в гости.

— Тьфу! Будь он проклят с потрохами и потомством!

Напоминание о Хорсте на Немирова действовало угнетающе. Он был уверен, что конвоир непременно отобьет ему за побег полжизни. При возвращении из побега в команду избивали с варварской жестокостью, нередко до смерти.

Ноябрьские праздники прошли. Седьмого ноября я пролежал весь день в своем углу. Не хотелось ни двигаться, ни разговаривать, прошлое властно напоминало о себе.

Подложив под голову руки, я смотрел на грязный,

тускло освещенный потолок, и моя память рисовала на его разводах незабываемые картины. Вот площадь Дзержинского в Харькове, заполненная идеально ровными шпалерами войск. Ветер раздувал полотнища флагов, над площадью плыл сдержанный шум, лица торжественны, радостны.

И вот все померкло. В чистую синь неба напоздзли низкие слоистые тучи. Под напором ветра они передвигаются, трутся друг об друга, роняют на землю длинные неряшливые хвосты. Ветер вытряхивает из них комочки, иглы поземки. В окопы набивается ранний снег. Мороз сковывает ноги. Тело неудобное, точно чужое, деревянное. Пальцы пристывают к оружию. Уйти нельзя, согреться негде. В окопах напротив — немцы. Морозную степь прочесывают длинные иглы пулевых трасс. В крохотной землянке командира полка нас собралось человек десять. В алюминиевых кружках и консервных банках — припахивающая бензином водка. Над красным языком пламени светильника толстым шнуром вьется к потолку черная копоть.

— Товарищи, я буду краток: да здравствует двадцать четвертая годовщина Великого Октября! Ура!

Десяток простуженных голосов подхватил приветствие наступающему в столь необычной обстановке празднику. Глухо чокнулись жестянки, выпитая водка покатилась по жилам горячими угольками.

— Завтра будет трудный день. Удвойте внимание, мобилизуйте все свое мужество и запомните: из этих окопов мы не отступим, даже если немцев окажется вдесятеро больше. Накормите людей, распорядитесь выдать двойную порцию водки. Мороз крепчает. А теперь, друзья мои, по местам.

В дверь ворвался ветер, прижал к столу длинное пламя коптилки. Идет год 1943-й. Уже второй раз я встречаю великий праздник в плену. А на далеких родных просторах долгих два с половиной года идет жестокая кровопролитная война. Долго ли еще тянуть лямку пленного? Долго ли терпеть издевательства,

побой, оскорбления врага и покоряться его грубой силе? Должен же прийти конец! Когда он придет? Тяжело...

Спустя несколько дней Гамолов передал мне записку.

«Крепись. Шестого ноября наши взяли Киев. Седьмого на разбитом Крещатике состоялся парад войск 1-го Украинского фронта. В боях за Киев немцы потеряли 15 000 убитыми, и 6 200 человек сдались в плен».

Я несколько раз перечитал записку. Сразу поднялось настроение, исчезла болезненная слабость, потянуло к людям.

Неподалеку от меня, тихо беседуя, собралась группа пленных. Разговор крутился вокруг военных тем. Капитан Платонов рассказывал о том, что уже полностью освобожден Донбасс, взят Харьков, заняты Орел и Курск.

— Все это так, Сергей, — подобрыв удобную минуту, вмешался я в разговор. — Все правильно, только ты немножко опоздал. Есть новости свежее. Взят Киев.

— Правда? — глаза Платонова вспыхнули нетерпеливым любопытством. — Неужели правда? Когда?

— Шестого ноября.

Дальше я слово в слово повторил записку Гамолова. Лица пленных просветлели, расправились меж бровей морщины, глаза заискрились, стали шире, глубже и как бы прозрачнее от настоящей, большой радости.

#### 4

Случалось, что дежурный комендант «забывал» выпустить из карцера отсидевшего свой срок и вместо двух недель пленный отсиживал три, вместо трех — месяц. «Забыли» и обо мне. Вспомнили лишь на тридцать восьмые сутки.

Пошатываясь точно пьяный, я переступил порог карцера. Низкое солнце стегнуло по отвыкшим от света глазам. Морозный чистый воздух распер лег-

кие, как рыбий пузырь. Сердце забилося с перебоями, и, пройдя несколько шагов, я, цепляясь за стену, опустился на землю. В голове зашумело, стоящий напротив барак стал почему-то поворачиваться, будто собирался улететь, поплыл, перекосялся и вдруг снова стал на место.

— Вставай, вставай, — сопровождающий солдат настойчиво нажимал прикладом.

Триста метров до русской зоны я преодолел в несколько приемов. Перед тем как войти в барак, долго сидел у стены, наслаждаясь покоем, чистым воздухом и отсутствием блох, превративших пребывание в камере в многодневную утонченную пытку. На свежем воздухе захотелось спать, но было холодно.

В бараке все было так же, как полгода назад. Даже Гамолов сидел на своем обычном месте, трудился над очередным портретом.

— Привет, Гамолов!

— Здравствуй! — он быстро поднялся навстречу. Фанерка полетела на пол, рассыпались карандаши, растушевки. Лицо засветилось радостью, глаза совсем спрятались в узеньких щелках. — Садись! Да черт с ним — подберу. Рассказывай. Есть хочешь?!

— Спасибо, потом. Едва дополз к тебе. Видишь, красавчик какой.

— Ничего, ничего. Вид у тебя и правда загробный, да ведь говорят: были бы кости — мясо нарастет. Эх, искупать бы тебя в бане да эти лохмотья сбросить — от них несет этим самым... блохами, что ли? Сиди бога ради! Ишь, пряткий какой!

— Квартиранток напушу...

— Ну и что? Будет веселее. Ешь вот, — он достал хлеб и банку американских консервов. — Поправляйся. Здесь я тебя быстренько откормлю. А потом и за работу. Рисовать-то ты, надеюсь, не разучился?

— Думаю, нет.

— Хорошо. Поправишься и снова пойдешь к браткам. Итальянцев видел?

— Конвой?

— Нет, зачем же? Просто военнопленные, как и мы.

— Военнопленные?! Итальянцы?.. — От удивления я даже поперхнулся. — Ты, верно, что-либо путаешь? Союзники Гитлера, и вдруг...

— Враги, — спокойно закончил Гамолов. — От любви до ненависти один шаг. Италия капитулировала.

Из-за койки вышел высокий, сутуловатый человек.

— Приветствую сей тихий уголок! О чем спорите?

— Здравствуй! Присаживайся. — Гамолов подвинулся на койке. — Знакомьтесь.

— Капитан Калитенко, — прогудел простуженным басом мой новый знакомый. — Что это вы будто с креста сняты? — Он крепко сжал мою руку в широченной крепкой ладони. — В рай готовитесь?

Я рассмеялся:

— Боюсь, не попаду. Грехи не пустят.

— Зимой в аду тоже не плохо, тепло, — подшутил Калитенко. — Слыхали новость? Из штрафной команды на канале в Пфаркирхене бежали двадцать семь человек. Придя с работы, разрезали проволоку и во время ужина ушли. Здорово?

— Неплохо. А кто — не знаешь?

— Вечтомов, Шахов, Кайгородов, Шевченко, Майборода... Больше не знаю.

— Хватит и этих. Народ хороший. Надо предупредить в следственном, чтобы их встретили как следует.

— Думаешь, поймают?

— Несомненно. Зима! Что еще нового?

— Хорошего нет. Плохого хоть отбавляй.

— Что же? — встревожился Гамолов.

— Разговаривал с новичками. Свеженькие. Месяца нет, как в плен попали. Хорошие, видимо, ребята. Но думают о нас такое... В общем не доверяют нашему брату на Родине...

— А ты думал, раскроют объятия, награждать будут мучеников?

— Я, Гамолов, не за наградами на войну шел. Я жизни своей на фронте не жалел и сейчас не жа-



лею. Разве я заслужил такое недоверие? Чем? Тем, что попал в плен?

— Проверять людей надо, Калитенко. Не все мы одинаковы.

— А что нас проверять? Мы вот как на ладони. Хороший так хороший, сволочь так сволочь. Придут сюда наши, я первый укажу на сволочей. Пустите их в распыл, а мне дайте винтовку. Каждая пара рук к месту. А там что получается?

— Что?

— Да то, что рядовых возвращают в строй, а нас, офицеров, говорят, разжалуют и увольняют из армии совсем. А потом попробуй устроиться на работу! Чуть что: был в плену и катись куда подальше.

— Брось, брось, Алексей! Не верю я этому. Мало ли слышали подобного от власовцев? Это же их любимый конек. Об одном прошу тебя, Калитенко: не распространяй ты эти разговоры среди наших людей. Вред большой от них. По сути дела, разговоры эти — чужие, вражеские.

— Я-то буду молчать. Да ведь на чужой роток не накинешь платок.

— На таких, как Мороз, накинем. А свои поволнуются да и забудут — сама жизнь их заставит забыть. Теперь вот что, друзья мои: дружба — дружбой, а служба — службой. Собираться нам вместе не следует. Держите связь со мной через Виктора. В случае чего, — обернулся ко мне Гамолов, — ну, понимаешь, вдруг что-либо случится со мною — останется Калитенко. Его и знай. А пока что вы друг друга не знаете и о нашем подполье ничего не слышали. Так будет лучше.

5

Незадолго до нового, 1944 года в Моосбургский лагерь приехал власовский полковник. По этому случаю в 29-м бараке соорудили некое подобие сценических подмостков. Вечером пленных собрали на «беседу». Людей набилось до отказа! На дворе было позимнему холодно.

Сразу в бараке потеплело, воздух стал кислородным, густым, как в предбаннике.

На возвышении за столом, покрытым суконным одеялом, сидели фельдфебель Мороз, мрачный красноглазый обер-лейтенант и пожилой худощавый офицер с витыми полковничьими погонами. Когда все разместились, на «авансцену» вышел Мороз.

— Господа! Проездом нас посетил господин полковник Зверев. Он хочет с вами побеседовать. После беседы будет небольшой концерт самодеятельного оркестра.

Полковник, видимо молодящийся, пружинисто поднялся из-за стола и, поскрипывая сапогами с твердыми бутылками голенищ, подошел к краю помоста.

— Друзья мои! Когда-то я был на вашем положении и, — он, улыбаясь, обвел присутствующих приветливым взглядом, — даже в этом бараке. Было это не так давно, всего лишь полтора года назад. Я не собираюсь вас агитировать — народ вы достаточно грамотный, сообразительный, сумеете сами разобраться в обстановке и избрать себе путь к будущему. Я расскажу немного о себе и о положении, в котором находятся сейчас воюющие стороны. Как я уже сказал, полтора года назад я встал на путь борьбы с большевизмом. За это время произошли многие события как на фронтах, так и в моей личной жизни. Из бесправного пленного я стал офицером Русской освободительной армии и год назад получил под командование полк. Я имею в Мюнхене прекрасную квартиру, перевез семью, и она живет обеспеченной культурной жизнью, пользуется всеми благами благоустроенного быта и цивилизации, умело поставленными на службу человеку. Мои двое детей учатся в школе, одеты, обуты и не знают, что такое голод. За выполнение задания командования я награжден железным крестом.

Полковник округлым жестом поднял руку, правил между углами отложного воротника уродливый черный крест. Он говорил долго, выдерживая все время тон душевной беседы, и по его словам

получалось, что измена Родине, служба у власовцев — самое почетное, самое благородное дело и за это люди получают все материальные блага, о которых раньше не могли и мечтать. Он не агитирует, нет, боже спаси! Он просто рассказывает и глубоко уверен, что мы рано или поздно пойдем преимуществу службы у власовцев и придем в раскрытые объятия РОА.

— Волна советского наступления спадает. Это свидетельствует о том, что Советы исчерпали свои ресурсы, измотали живую силу, потеряли технику. Экономя силы, немецкое командование сократило линию фронта, вывело из-под ударов свои лучшие отборные части, оснащает их передовой техникой, готовит большевикам такой контрудар, от которого содрогнется и разлетится в прах Советский Союз. На его огромных просторах возникнет новое государство — истинно русское, в котором мы, поднявшие знамя борьбы с коммунизмом, зайдем добытые в борьбе места у руководства страной. Я должен предупредить вас, что не далек тот час, когда мы со всею строгостью скажем: кто не с нами — тот против нас! Тогда уже не будет места колеблющимся и времени для раздумий. Путь может быть только один! Все, кто не сумеет к тому времени примкнуть к нам, останутся за бортом новой жизни со всеми вытекающими отсюда последствиями и неудобствами. Я заканчиваю и призываю вас, пока не поздно, подумать над своей судьбой и, раз избрав намеченный путь, держаться его мужественно и стойко.

Мороз вскочил и испуганно захлопал в ладоши. В первом ряду жидко протрещало несколько хлопков и растворилось в повисшей над головами людей мертвой тишине. Ни криков, ни свистков, ни аплодисментов. Тихо. Так тихо, будто в бараке нет ни души, и только в дальнем углу кто-то надрывно кашлял.

Полковник долго вытирал платком взмокшую шею и голову. Протер изнутри околыш фуражки, нахлобучил ее и, шагнув еще ближе к краю, уже другим голосом, серым и тусклым, сказал:

— Если есть вопросы — задавайте. Я слушаю.

Он заметно нервничал. Лицо сбросило благодушную маску. Из-под бровей зло поблескивали глаза.

— Вопросов нет. Всем все ясно? Всем понятно? Или вы стесняетесь? Тогда подавайте вопросы в письменном виде.

Из массы военнопленных по-прежнему не раздавалось ни звука. На полковника были устремлены сотни глаз, и выражали они разное: одни — злобу и неприкрытую ненависть, другие — ироническую усмешку. Не было лишь сочувствия. Молчание затянулось до того предела, когда надо было или бежать от него, или искать какой-то другой выход.

— Хорошо. Если возникнут вопросы, вы их можете передать фельдфебелю Морозу. Сейчас будет концерт.

Полковник, шагнув с помоста, сел на приготовленное в первом ряду место и застыл в напряженной позе.

Неся табуретки и инструменты, вышли шесть музыкантов. В «зале» облегченно зашумели, послышался придушенный смех, разговор вполголоса, кашель. Люди задвигались, переставляя табуретки. Замершая было толпа ожила.

Музыканты что-то играли скучное и тягучее, и народ уже потихоньку стал пробираться к выходу. Но скучная мелодия оборвалась, простучали жидкие хлопки, на помост вышел молодой парень.

— Я спою вам несколько песенок, — объявил он.

Концерт в общем проходил вяло и скучно. Люди не расходились единственно потому, что было решительно все равно, где находиться и что слушать. Но вот они насторожились, по «залу» как бы пробежал легкий ветерок. После оркестра зазвучал приятный мягкий баритон:

Вот письмо. Без гнева и печали  
Я прочел порыв суровых строк.  
Мы с тобой не правы были оба:  
В жизни много есть еще дорог.  
И когда ты встретишься с другими,  
Вспомнишь дни, что быстро пронеслись,  
Знаю я, мое ты вспомнишь имя,  
Еще не поздно — оглянись!

Последняя строка утонула в легком шуме одобрения — солист красноречиво адресовал ее полковнику. Но песня еще не допета, в воздухе продолжал звучать задумчивый грустный голос:

Оглянись, и, может быть, светлее  
Дни покажутся, что быстро пронеслись.  
Вот последний поворот аллеи...

Певец устремил на полковника большие горящие глаза и крепко прижал к груди худые кисти рук, потом вдруг простер их к нему с нарочитой мольбой и с рыданиями в голосе пропел последнюю строку:

Еще не поздно — огляни-и-ись...

В бараке все загрохотало, заревело. От бурных аплодисментов и восторженных криков, казалось, крыша не выдержит, поднимется в воздух.

Полковник побагровел, злобно оглянулся на «зал» и быстро пошел к выходу.

В бараке же еще долго не стихали аплодисменты да соленые крепкие остроты.

Кто-то тронул меня за локоть. Я оглянулся и встретился с веселыми глазами Калитенко.

— Значит, наша агитация сильнее. За нами стоит сама жизнь, за ними — оч-чень сомнительная авантюра. И ничего у них, брат, не выйдет! — Калитенко рассмеялся, лукаво подмигнул большими темно-кариыми глазами: — Не выйдет!

В Оттобруне обо мне не забыли. Вскоре после Нового года за мной приехал Эрдман. В день его приезда в зоне меня не нашли: как обычно, я был в общем лагере. Увезли на другое утро чуть свет, не дав даже проститься с друзьями. Но неразлучного моего спутника — папку, запас продуктов и сигареты, которые не успел передать Гамолову, я прихватил с собой.

— Собачий сын! — набросился дежурный фельдфебель. — Из-за тебя вчера весь лагерь вверх дном поставили. Где был? Пикировал? К французишкам потянуло?

— Господин фельдфебель, — вмешался Эрдман, — нам пора. — Он постучал ногом по стеклу часов.

— Знаю, знаю! Распишись. Забирай эту дрянью. Я бы ему все кости переломал. На моем дежурстве...

Фельдфебель все же не отказал себе в удовольствии: подлетев ко мне, ткнул кулаком под ребра, войдя в раж, отскочил на шаг и снова размахнулся.

В эту минуту Эрдман схватил меня за шиворот и вытолкнул за дверь.

— Пошли быстро, ты, лодырь!

Отойдя несколько шагов, Эрдман сказал запыхавшись:

— Не спешите. Черт с ним, успеем, еще двадцать пять минут до поезда. Дубье! Солдафоны!

И хотя я искренне был рад, что моим конвоиром оказался именно Эрдман, а не кто-нибудь другой, я все же не удержался и съязвил:

— Да ведь вы тоже солдафон.

— А вы лучше помолчите. Не выбрось я вас за дверь, вы бы узнали кузькину мать. Солдафон, — передразнил он меня и замолчал до самой посадки в вагон.

— Послушайте, Эрдман, — обратился я к нему, когда поезд тронулся. — С вами можно разговаривать?

— Если о войне, то не надо. Вы, русские, кроме войны и политики, ничего не знаете. Давайте будем молчать. Нет ли закурить?

— Есть. Могу презентовать целую пачку. За спансье.

— О, американские?! Вы богаче меня в сто раз. Такой табак я могу видеть только во сне да на черном рынке.

— А вы разве уже не получаете сигарет?

— Что? Три сигареты на сутки из дерьма, пропитанного никотином.

— Солома, пропущенная через лошадь, — вспомнил я где-то слышанную остроту.

— Вот-вот, именно солома, пропущенная через лошадь. Навоз. Германия вступила в благословенную пору эрзацев. Эрзац-ткани, эрзац-обувь, эрзац-

табак, эрзац-масло, эрзац-люди. Я думаю, что я сам уже эрзац-Эрдман.

— Вот вы и заговорили о войне и политике.

— Какая там политика! Просто хамство.

— Вы чем-то расстроены?

— Да. Будешь расстроен. Я в жизни своей собаки не ударил, мне противно это. А тут каждый день видишь, как бьют человека. Мерзосты!

— Немиров в команде?

— Да.

— Его били?

— Нет. На его счастье, Хорста перевели в другой взвод. Он застрелил Володю Щербину.

— Щербина погиб?!

— Да. Погиб. В Оттобруне теперь будьте осторожны. Особенно избегайте Милаха. Натура у него подленькая, мелочная, как у каждого выскочки.

К вечеру пошел густой снег. Когда мы подъехали к Оттобруну, вокзал, крохотная площаденка, задумчиво притихшие сосны были уже покрыты белым пушистым слоем.

В желтом конусе фонаря плавно кружились лохматые снежинки и как бы нехотя ложились на остуженную землю, на бараки, на плечи часового, притопывающего у входа в лагерь. Он насвистывал заунывную восточную мелодию, и по этому свисту я еще издали узнал Люка.

Увидя меня, он протяжно свистнул, выражая этим не то удивление, не то разочарование.

— Приехал, субчик. Ну, как путешествовал?

— Не плохо.

— А где остальные?

— Не знаю.

— Далеко ли поймали?

— В Чехословакии.

— Порядочно. Без выкупа в лагерь не пушу.

— Да брось ты, Люк, какой выкуп? — вмешался Эрдман. — Он и так больше месяца в карцере блох кормил.

— Выкуп! — заупрямился Люк. — Человека, можно сказать, в родной дом вернули. — Он громко, заливи-

сто захохотал. — Домой, ха-ха-ха, привезли! Дурачье! Если уж бежать, то так, чтобы не поймали.

— Ну, давай, Люк, пропускай.

— Не спеши, успеешь. Есть курить?

Эрдман протянул ему начатую пачку сигарет.

— Спасибо. Можно парочку? Скоро даже пленные будут лучше жить, чем мы с тобой...

— Тихо, Люк, у Милаха уши длинные.

— Чтоб их черти пообрывали! Сходи за унтером.

Мы остались одни. Люк подошел ко мне вплотную.

— Ну, что слышно с Востока?

— Не знаю. Ты газеты читаешь?

— Газеты — дерьмо. Если им верить, то у русских не осталось ни солдат, ни пушек. А кто нас лупит?

— Я же за проволокой, откуда новости?

— За проволокой... Почему-то пленные знают больше нас. Чертова жизнь, собачья!

Я не узнавал Люка. Раньше он был самый молчаливый солдат. Сейчас же его словно прорвало. Что это: допекло или подготовлен Милахом?

Пришедший унтер молча кивнул и проводил меня в барак. Обошлось без мордобоя.

Мое появление вызвало в бараке шумное оживление. Дружная семья пленных обступила меня со всех сторон, посыпались приветствия, вопросы, от крепких рукопожатий заняла рука.

## 6

В Оттобруне меня больше не пустили на работу за проволоку. Подчинен я был непосредственно Эрдману. Занимался уборкой, копался в тряпье, отбирал негодное, сдавал в ремонт обувь. Один раз в неделю ездил с Эрдманом в Мюнхен на обменный склад, где пришедшее в полную негодность обмундирование обменивали на чуть-чуть лучшее.

Уборку я заканчивал к обеду и, если не был нужен Эрдману, усаживался за свою обычную работу — портреты.

Однажды Эрдман, как всегда усевшись напротив,



с таинственным видом положил передо мной прямоугольник ватмана величиной в открытку. Перевернув его к себе, я расхохотался: на переднем плане рисунка тащился длинношей тощий Эрдман с вогнутой грудью и подогнутыми от слабости ногами, на которых гармошкой собрались едва держащиеся брюки. Он волочил за собой допотопную винтовку, а на втором плане бодро вышагивали круглолицые крепыши-пленные. Хотя карикатура не соответствовала действительности, выполнена она была с большим мастерством.

— Ну как?

— Здорово! Хлестко! Милах вряд ли похвалит.

— Фьюить... Милах! Не таков уж я дурачок...

— Лучше сожгите.

— Нет! — Эрдман упрямо мотнул головой. — Оставлю на память о войне, об этом дурачком Оттобруне.

— Зачем же ругать Оттобрун? Для вас он — манна небесная: и служба идет и дом рядом. Чего же вам еще?

— Очень мало: чтобы закончилась эта кутерьма.

На обменный пункт мы приезжали часам к десяти. Как правило, к тому времени уже собиралась партия пленных, и мы три-четыре часа бродили по Мюнхену.

Однажды мы сидели в небольшом скверике. Мимо нас сновали озабоченные мюнхенцы, проносились вереницы автомобилей, на балконах и подоконниках висели разноцветные перины.

— Вот на этой скамейке, — сказал Эрдман, — еще будучи студентом, я забыл пару новеньких перчаток. На второй день, проходя мимо, я вспомнил о них и нашел на том же месте. А сейчас? Немцы изобретают запоры покрепче: опасно. Неслыханное дело: в Германии — воровство!

— Хотел я вас повести в картинную галерею, — продолжал он, успокоившись. — Да разве можно с этой дурой, — он с ожесточением пнул ногой в приклад винтовки. — Да и от вас за версту русским тянет. А жалы! Хотел показать вам Германию Дюре-

ра, Гёте, Бетховена. Вернетесь на Родину и, кроме проволоки да мордобоя, нечего будет вспомнить. А ведь Германия имеет огромное культурное прошлое. Немцы — способный, трудолюбивый народ.

— Войнолюбивый.

— Неправда.

— Нет, правда, Эрдман. Вспомните историю. Да и после этой войны вояки не уймутся. Разумеется, не все. Найдутся...

— Ну, ну, это вы уж слишком.

— Нет, не слишком! Кстати, я давно хотел с вами поговорить откровенно.

— Но я не хочу.

— Не притворяйтесь обиженным. У меня действительно к вам по-настоящему серьезный разговор.

— Чего вы от меня хотите?

— Прежде всего, чтобы разговор остался между нами. Это вы можете мне обещать?

— Ого?! Вступление многообещающее. Допустим, могу. Что дальше?

— «Допустим» не подходит.

— Вы хотите слова чести от вражеского солдата? Рыцарь! Вы чужак или того? — он повертел у головы пальцем. — Говорите!

— Хочу вас, Эрдман, просить о серьезной помощи.

— Но я ведь и так сколько могу — помогаю.

— Это очень хорошо. Пара сигарет и кусок хлеба — помощь. Но не о такой помощи идет речь. Слово правды взамен геббельсовской лжи сейчас нам куда нужнее.

— Откуда же мне взять ее, эту правду?

— А приемник?

— Вы хотите, чтобы я... — глаза Эрдмана округлились в ужасе.

— Вот именно, я прошу вас время от времени передавать мне содержание советских передач.

— Вы с ума сошли! — искренне возмущился Эрдман. — Это же измена, предательство! Какой я ни дрянной немец, но я честный человек. Вставайте, к черту разговоры! — схватившись за винтовку, Эрдман вскочил.

— Погодите, Эрдман, отвести меня в гестапо вы еще успеете...

— В гестапо?! Вас?! Тьфу! — он в сердцах сплюнул и снова сел на место.

— Вы говорите: измена, предательство! Кому вы измените, если сами души не чааете вернуться в Россию? Вы только приблизитесь на шаг к своей заветной мечте. Да и, наконец, кого вы предадите, сообщив истинное положение дел на Востоке? А для наших людей это поважнее, чем пайка хлеба.

Эрдман молчал, перекатывая что-то подошвой ботинка. Потом поднял на меня острый серьезный взгляд и отчеканил:

— Давайте прекратим бессмысленный разговор. И помните: от вас я ничего не слышал и вы ничего не говорили. Понятно? Пошли, пора!

До вечера мы больше не перекинулись ни словом. Эрдман все время хмурился, отворачивался, по временам вздыхал.

Несколько дней мы не разговаривали. Эрдман, видимо, избегал встреч со мной. В душе я переживал большую тревогу: «А что, если Эрдман заявит в гестапо?»

Наконец он позвал меня в каптерку и, понизив голос, сказал:

— Возьмите. Но, прошу, делайте все это осторожно. Помните, вы ставите под удар не только себя, но прежде всего меня и мою мать.

Я крепко пожал ему руку.

— Спасибо! Большое спасибо!..

На блокнотной странице очень тесно, так что трудно было читать, записана сводка Совинформбюро. Почерк круглый, женский. В тексте встречались «ять» и твердые знаки.



## Глава IX

### 1

**В** середине марта началась дружная весна. Под осевшим ноздреватым снегом зажурчали звонкие ручьи. В лесу голосисто запели пернатые. Потянуло теплом и особым, непередаваемым запахом весны.

В пятницу мы с Эрдманом отправились в Мюнхен. На плечах у меня покачивался громоздкий узел тряпья, по икрам Эрдмана колотил приклад доисторической винтовки, закинутой за спину.

Усевшись в вагон, закурили.

— Четыре дня я ищу возможности поговорить с вами, не боясь длинных ушей. — Эрдман сосредоточенно растер ногой свалившийся пепел.

Тон слишком серьезный. Я насторожился.

— Что же такое страшное вы мне приготовили?

— Не я — Милах.

— Милах?! — На сердце легла ледяшка. — Что?

— Подкапывается под вас. Пока только подозрения, но унтер уже меня предупредил: слишком коротке я с вами, надо подальше. Какая-то сволочь есть и среди ваших, иначе откуда бы Милаху знать все тонкости жизни пленных? А он знает.

— И о сводках?

— Да, и о сводках знает.

— Скверно, Эрдман.

— Милах — зверь опасный. У этого хилого ублюдка бульдожья хватка. Вы знаете, что такое превентивное заключение?

— Нет.

— Это очень удобная штука для Гитлера и ему подобных. Человека бросают в тюрьму по одному только подозрению в возможном преступлении, так сказать, с целью профилактики. И человек сидит годами без суда и следствия, даже не зная за что. У нас это практикуется широко.

— Скверно, — повторил я еще раз.

— Очень скверно, — согласился Эрдман.

Сигарета догорала в его пальцах, тонкий дымок тянулся к потолку вагона. Мы долго сидели молча.

— Бежать мне надо, — проговорил я, не придумав иного выхода.

— Бежать? — не сразу отозвался Эрдман. — Куда? Как? Зима... Не пройдете и ста километров. За второй побег не помилуют.

На обратном пути он несколько оживился.

— Я кое-что придумал. Будет разумно симулировать, ну, скажем, туберкулез. Старуха доложит унтеру, и вас отправят в Моосбург, а там уже постарайтесь затеряться. В другую команду, что ли...

— Скажите, Эрдман, честно: может, вам надоело быть под угрозой, надо от меня избавиться?

Эрдман смотрел на меня очень долго, укоризненно.

— А я думал, вы серьезнее, — проговорил он наконец. — Умеете отличить черное от белого. Избавиться от вас просто: «убит при попытке к бегству».

— Не обижайтесь. Дело ведь гибнет.

— Почему?! Я буду продолжать начатое хотя бы для того, чтобы отвести от вас подозрение. Вы назовите надежного парня. Только ему ничего не говорите обо мне. Я не хочу, чтобы кто-нибудь, кроме вас, знал о моем участии. А я найду возможность незаметно подсунуть ему листочек.

На следующий день, в субботу, я пришел в медпункт. Вела прием старушка Анна-Мария — фельдшер с полувековым стажем. Относилась она к пленным сочувственно, нередко раздавала скудные бутербродики.

Я пожаловался на недомогание, слабость, ночные поты, отсутствие аппетита. Последняя жалоба подействовала на старуху особенно убедительно. Выслушав меня, она сунула под мышку градусник, и я отошел в сторону.

Через некоторое время я вернул термометр, предварительно потеряв его полою куртки.

— Тридцать семь и четыре. Неприятные подозрения у меня. Однако проверим. Приди в будущую субботу.

На следующей неделе все повторилось.

— Не стану скрывать, — сказала в заключение Анна-Мария. — По-моему, у вас развивается туберкулез. Срочно нужно в лазарет. Я сегодня же скажу унтеру.

Спустя несколько дней Эрдман отвез меня в Моосбург.

Покидали мы лагерь в обеденный перерыв, поэтому провожать меня вышла почти вся команда.

— Счастливого пути!

— Выздоровливай скорее! — неслись со всех сторон пожелания.



— ...Не забывайте меня, Курта Эрдмана.

(к стр. 193)

— Спасибо, ребята, постараюсь.

Отойдя от лагеря, Эрдман проговорил с легкой завистью:

— Дружный вы народ, русские. Вот я даже завидую вам, пленным. У вас есть цель, мечта, Родина. А где у меня родина? — Эрдман был грустен и серьезен больше обычного. — Германия не по мне. России теперешней я не знаю, а чтобы узнать ее — понадобятся годы. Да и нужен ли я там?

— Буду с вами откровенным, Эрдман. К людям у нас относятся строго. Но вы не бойтесь: честному человеку, труженику у нас всегда место найдется. Только если у вас останется хоть капля нынешней раздвоенности, неуверенности — не ходите. Не срастетесь с нами, будете коситься на лес...

— Я об этом думал. Вопрос этот, возможно, еще далекого будущего. Может, и в самом деле со временем все встанет на свои места, станет более понятным. Я действительно сейчас раздвоен.

— Эх, вы! Ничего не станет, если сами будете сидеть и ожидать...

— Конечно, — поспешно согласился Эрдман. — Закончится война, — сказал он погодя, — попадете домой и не забывайте меня, Курта Эрдмана. Пишите или приезжайте. В моем доме вы всегда будете желанным гостем.

Мы обменялись адресами. За углом, не доходя до ворот лагеря, крепко пожали друг другу руки.

— До встречи!

Встреча наша так и не состоялась. Я не был больше в Мюнхене, а Эрдман, наверное, не решился ехать в Россию. Мысленно я часто продолжал с ним давнишний неоконченный разговор. Я не знаю, где он, этот честный, хороший человек. Но я глубоко уверен, что он в числе тех, кто борется за мир, за единую демократическую Германию.

Третий раз я приехал в Моосбург. На Лагерштрассе в электрическом свете толкалась разноязыкая толпа иностранцев.



В приемном покое лазарета было полно людей, шумно, накурено. Быстроглазый француз с приклеившейся в углу губ сигаретой опрашивал приехавших и заполнял карточки. Сигарета чадила, дым лез в глаза, и от этого француз кривил рот, точно не мог подавить презрения к стоящим перед ним оборванцам.

Немец-фельдшер коротко знакомился с характером жалоб, заставлял опустить до колен штаны и, лениво стряхивая термометр, всовывал его в задний проход, точно животным.

Не знаю: то ли я действительно был болен, то ли волновался и от этого поднялась температура, но градусник показал 37,5°.

— В русский ревир\*, — распорядился фельдшер.

Спустя полчаса я уже устраивался на нижней койке в ревире для русских военнопленных.

## 2

Тихо. Непривычно тихо. На дворе уже давно рассвело. Не открывая глаз, я прислушивался к жизни вокруг. Вспомнил, что я уже не в Оттобруне, а в Моосбурге, в лазарете.

Протопали тяжелые каблуки. Идущий остановился рядом. Открыв глаза, я увидел солдата. Он смотрел на меня.

— Новый?

Я утвердительно качнул головой.

Из-за спины солдата показался белый халат, над ним голова человека в докторской шапочке, надвинутой на кустистые седые брови. У меня дух захватило от радости.

— Андрей Николаевич!

Я видел, как радостно вспыхнули на мгновение глаза военврача. Именно вспыхнули, зажглись на миг, точно большие голубые искры, но тут же скрылись под сурово надвинутыми бровями.

---

\* Ревир — лекарский участок.

— Гм-м... м-да — промычал Андрей Николаевич, обсасывая нижней губой короткую щетину усов.

Меня будто не было, будто не я позвал Андрея Николаевича. Утренний пересчет, заменяющий поверку, прошел дальше. Доктор даже не обернулся.

«Не узнал», — подумалось мне. Но нет! Я же видел радость, настоящую живую радость в его глазах. Или так надо?

Возвращаясь с обхода, Андрей Николаевич бросил на ходу:

— После завтрака ко мне на прием. В кабинет.

Разнесли завтрак: по черпаку чуть сладкого жемудевого кофе.

— Где кабинет? — спросил я, постучав к верхнему соседу.

— Чего? — свесилась косматая голова.

— Кабинет, говорю, где?

— А вот, вишь, дверка. Туда и топай. — Бас у соседа с дребезжинкой, будто надтреснутый горшок.

Я постучал в невысокую дверь барачной перегородки.

— Да, войдите!

За дверью оказалась узенькая каморка. Тут же, у дверного проема, разделяя каморку пополам, стоял ветхий столик. Уперев костяшки пальцев в разошедшиеся доски столешницы, по ту сторону стоял Андрей Николаевич и улыбался.

Шагнув вперед, я остановился, не зная, как себя вести дальше. То ли поздороваться, то ли вообще молчать...

— Здравствуй, чертушка! — Андрей Николаевич вышел из-за стола и обрадованно зажал меня в своих крепких руках. — Обиделся? Ну, ну, не надо. Там за мной сотни глаз подсматривают, уши подслушивают... Прямо скажем, ни вздохнуть, ни охнуть. Садись рассказывай, — усадил он меня на узенькую скрипучую кровать.

Но рассказывать мне не удалось. Он говорил и говорил, перебивая себя и обрывая мысли на полуслове, а я смотрел на него во все глаза, растянув рот до ушей в радостной улыбке.

— Ну, рассказывай же, — набросился на меня доктор. — Что уставился, как на красную девицу. Погоди, надоест еще старый ворчун...

Он обнял меня за плечи, и столько теплоты было в этом объятии, что у меня защекотал в носу, как бывало в детстве, когда хотелось разреветься и было стыдно.

Мы вспомнили и кузницу, и марш по пыльному грейдеру, и гибельную духоту вагона, и Олега, и многое другое.

И, наконец, когда улеглась первая радость встречи, мы стали беседовать более спокойно и связно.

— Надолго ли сюда?

— Не знаю. Теперь от вас будет зависеть. Хитрый туберкулез у меня. Надо бы отлежаться да куда-нибудь забиться в другую команду.

— Ну-ка, разденься. Хитрый туберкулез... хм... посмотрим.

Начался на этот раз настоящий осмотр.

— Легкие как звоночек. А вот сердце мне не нравится. Раньше не болело?

— Нет. Никогда.

— Одевайся. Немного покоя, и все будет хорошо. Симулировать тоже надо уметь. Слушай, — и доктор подсказал, как мне нужно себя вести. — При людях в родство ко мне не лезь. Служебное, так сказать, положение, субординация. Есть там пара сволочей, — он кивнул на дверь, — на днях едва выпугался живой. Потом расскажу как-нибудь. Вызову.

Доктор, побряхтывая, поднялся, снял с самодельной проволочной вешалки выношенную шинелишку, набросил на плечи поверх халата. Вместо докторской шапочки натянул выгоревшую добела красноармейскую пилотку. Черные волосы, ранее только на висках тронутые сединой, стали совсем белыми. Сквозь их серебристую поросль просвечивала розоватая кожа.

— Что смотришь, брат, изменился? Ничего, седина — спутник солидности. А вот чувствую, что дряхлею. Это плохо.

— Скоро уж, Андрей Николаевич...

— Только этим и живу. Иначе удавился бы...

Мы вышли из «кабинета». Вид у нас официальный. Доктор впереди, я за ним. Ссутулив спину, Андрей Николаевич направился к выходу. Дверь, провизжав петлями, затворилась за ним.

Я тихо улегся, предался воспоминаниям.

Мы не виделись более полутора лет. Время не щадило людей. Одних ломало, размалывало в ненужную труху, других, наоборот, закаляло. Последнее относилось к Андрею Николаевичу.

В словах и движениях доктора появились мудрое уравновешенное спокойствие, огромная внутренняя сила. Ее должно хватить на всех: в двух бараках более сотни человек больных. Они хотели жить. Они просили, угрожали, требовали, плакали... А лазарет для пленных — не городская больница мирного времени.

Прямо надо мной лежал костлявый пожилой человек с клиновидной лобастой головой, закатанной в войлок слежавшихся волос. Расштанная койка под ним угрожающе скрипела. Сквозь щели в досках на меня сыпались растолченные стружки. Он метался на твердом, как полено, матрацике и стонал сквозь стиснутые зубы. А иногда свешивал через борт койки косматую голову с красными невидящими глазами и пытался вытряхнуть из нее неистовую боль.

По временам ему бывало легче:

— Паша! Па-а-ша! — звал он квелым, вымученным голосом.

— Тут я. — К койке подходил молодой парень. — Ну, дядя Митрий, как?

— Ничего, будто легче. Достал?

— Достал, — угрюмо бурчал парень. — Последний раз. Мыслимо ли? — возмущался он. — Хлеб на табак меняешь. Болезнь тебя гложет, а ты и сам норовишь сдохнуть. Куришь, голодаешь...

— Тьфу, прости господи, заладил как сорока, — сердился дядя Митрий. — Давай, что ли, — он жадно протягивал худую руку.

— Бросил бы ты курить. Доктор говорил — голова будет меньше болеть.

— Иди ты... со своими докторами, — больной приподнимался на локте и ненавидящим взглядом сверлил молодого советчика. — Давай!

— Да мне что? На, возьми. Только что я дома скажу? Не уберег, погиб дядя Митрий, а я пособлял... Чудно! Сам в могилу лезешь!

— Ладно, — примирительно тянул пожилой, — брошу, ей-богу, брошу. Окрепну только малость и брошу. Сейчас не могу. Чижало.

Он жадно затягивался дымом. Сквозь горловину грязной рубашки было видно, как судорожно двигались обручи ребер, над запавшей грудью остро выпирали ключицы, на шее пульсировала жилка.

— Фу-у-у... В голове будто прояснело.

В углу между стеной и коробчатой решеткой коек пританцовывал человечек. Грязные подштанники с отвислыми пузырями колен чудом держались на дощато плоском заду. У него непомерно вздувшийся рахитичный живот, и над узенькой грудью, как кривой сук, торчала шея с остреньким кадыком. На ней беспокойно вертелась большая голова с кустиком чахлой бородки и жиденькими косичками за большими оттопыренными ушами. В острые плечики воткнулись необычайно подвижные палочки рук. Когда они двигались, казалось, тарахтит сухой хворост.

Неровно шлепая опухшими босыми ступнями, он кого-то иступленно убеждал, дергаясь всем своим маленьким жалким телом. Руки летали красноречиво, нервно. Аккуратный вылинявший рот кривился в гримасах. В углах губ белела пена. Но речь не срывалась с них — разговор шел внутри; огромные черные глаза горели безумием.

Худенькая рука порою взлетала кверху. К грязному потолку тянулся судорожно вытянутый указательный палец, и человечек в гневе обличения становился выше, тоньше. Глаза загорались злорадным огнем, из горла рвался булькающий безумный смех. Всякий раз, просыпаясь, я видел его маленькую трепетную фигурку, трясущийся кустик всклоченной

бородки и недремлющие большие глаза. Когда он спал? Да и спал ли вообще? Не знаю.

Ночью прекращались разговоры, но скрипели досками расшатанные койки, стонали, метались люди в бреду, смеялись, плакали, мучились. Много страданий, много смертей, а помощь...

— Эх, люди, люди, — вздыхал Андрей Николаевич, — просят, требуют. А что я могу дать? Паршивую английскую соль выпрашиваю, будто для себя лично милостыню. Так ведь не понимают же. Дай, помоги!..

Мы сидели на узкой складной койке доктора. Слабый огонек маленькой лампочки давно выключен. Луна отпечатала на полу косою переплет окна. По углам комнатухи притаились густые загадочные тени.

— Чего бы, кажется, ни сделал для них. Все бы отдал, всем бы поделился, — говорил приглушенно доктор. — Но иной раз становится тошно до того, что ушел бы куда глаза глядят, чтоб только не смотреть на них. Подлости много.

Андрей Николаевич несколько раз чиркнул зажигалкой, закурил и весь подался вперед в приступе изнуряющего кашля. Пошарив руками под койкой, достал какой-то сосуд, отвинтил крышку и сплюнул в него.

— Вот, — он печально покачал головой, — болен.

— Что с вами, Андрей Николаевич?

— Старая песня. Туберкулез. Несколько лет он меня не беспокоил. Теперь вновь открылся.

— И с туберкулезом вы ушли на фронт?!

— А что же особенного? Я ведь практически был здоров. Вот курю и знаю, что вредно. Иногда привычки имеют над человеком непреодолимую власть, — промолвил он, словно подхватил мою мысль. — Особенно здесь, когда от прежнего только и осталось, что табак. Покуришь — на душе будто легче станет. А туберкулез... Черт с ним! В моем возрасте он не так уж страшен.

— Сами себя успокаиваете?

— Нет. Зачем же? До победы я дотяну, а потом

уж буду жить. Подлечат. Так вот о подлости, — вернулся он к прерванной теме. — Казалось бы, здесь, в лазарете, все одинаковы, так сказать, перед лицом смерти. Присмотрись: сто людей — сто характеров. И среди них попадаются препаршивейшие. Единицы, но гнусные и... — доктор с досадой махнул рукой. — В общем слушай. Многие здесь не столько больны, сколько истощены. Дай им нормальную пищу — будут жить. А где ее взять? Надо ловчить, заводить коммерции, добывать пищу у иностранцев. Я и держал при себе двух бойких ребят. Медики из них никудышные, а доставалы хорошие. Да тут еще был один хороший человек, — недавно лежал у меня, — они и снабжали. Так ведь лагерь, лагерь, черт его возьми! Не спрячешься — глаза повсюду. Одному дашь, другому не дашь. Ведь всем дать нет возможности. Недовольство, озлобление, зависть... Ну, кое-как лавировал: сегодня одного поддержку, завтра другого. И вытягивал людей. Теперь все! Крышка!

Андрей Николаевич прикурил погасшую сигарету и вновь затажно закашлялся. Кашель его утомил. После приступа он сидел некоторое время молча — отдыхал. Я не торопил его.

— Завелась одна сволочь, и все полетело к черту. И сам я едва выпутался, — продолжал он походя. — А того художника жаль. Очень жаль.

— Какого?

— Был тут один. Хороший человек. Мы с ним часто разговаривали. Вот так же, как с тобой, сумерничали. Только ты из меня пытаешься вытянуть что-то умное, нужное. А тогда было наоборот: я прислушивался к его словам, запоминал и удивлялся: ведь вот есть же умные люди? Ум не образование, это, брат, дар...

— Вы о Гамолове говорите?

— Гм-м... Ты его знаешь?

— Знаю, знаю! Что с ним? Андрей Николаевич, бога ради, рассказывайте.

— Да чего вскинулся-то? Я разве сказал, что он умер? Жив. Жив, хоть и нездоров.

Ночь мы проговорили всю напролет. Доктор очень устал, но не отпускал меня от себя: боялся бессонницы и собственных мрачных мыслей. Он рассказывал, прерывая себя кашлем, и в простых словах я угадывал прекрасную человеческую душу, страдающую, безмерно усталую и чуточку надломленную в своем неизменном человеколюбии, но, несмотря ни на что, еще крепкую, как мореный дуб.

В Проскурове Андрей Николаевич задержался недолго. Осенью 1942 года его перебросили в «Гросслазарет Славута». Десяток трехэтажных домов опутала проволока. В ее черте во всю мощь работала фабрика смерти. Начиналось с того, что из вагона с прибывшими больными выбрасывались трупы. Дальше шло по единому выработанному правилу: живых у ворот встречали прикладами, дубинами, сдирали одежду, отбирали обувь.

В блоках лазарета тифозные валялись рядом с ранеными и дистрофиками. Раны гноились, люди умирали, трупы лежали неубранными по неделям. А теснота была везде такая, что нередко больных «уплотняли», прибегнув к помощи автоматов. Чтобы больные «не залеживались», их гоняли бегом вокруг лазарета. Отстающих добивали.

Охрана бросала на проволоку внутренности дохлого скота, и когда набегала толпа обезумевших от голода пленных, ее расстреливали из автоматов.

И это все называлось лазаретом.

У Андрея Николаевича рухнули окончательно все понятия о людях. С одной стороны, царил безграничный произвол, с другой — ожесточенная борьба за жизнь, когда голод доводил до ожесточения.

Четыре месяца, проведенные в славутском «Гросслазарете», прошли как не прекращающийся кошмар. Кругом страдания, гибель и полная беспомощность, обреченность.

В начале 1943 года доктора перебросили в Моосбург. Изменилась обстановка, стало легче. Но и в Моосбургском лазарете люди гибли от болезней и



крайнего истощения. А помочь было нечем. Мучила совесть, словно, выполняя обязанности врача, он участвовал в чем-то нечистом, преступном. Загнанный в тупик ум лихорадочно искал выхода и не находил.

Пришел на помощь Гамолов. Тогда он лежал в лазарете больной, опухший, чувствовал себя очень скверно: обострился ревматизм, сдавало сердце. По целым дням он молчал и, повернувшись к окну, упорно смотрел на грязно-зеленую стену стоящего напротив барака с полоской голубого неба над толевой крышей.

Потом весна и крепко сколоченный организм стали одолевать болезнь. Гамолов стал поправляться, выходить. Около него появилось двое молодых ребят — «пикировщиков», которые стали приносить фотокарточки. Началась работа — появились продукты. И почти все, что зарабатывал Гамолов, он отдавал доктору.

— Живем, доктор. Подкармливайте доходяг. Ставьте их на ноги.

— Не стоят, валяются.

— А мы их подопрем. Будут стоять, — уверял Гамолов.

Он свел доктора с членами БСВ майором Масленниковым и политруком Вихоревым. За счет регулярных передач питание больных улучшилось, жизнь пошла ровнее.

Через некоторое время Гамолов выписался в лагерь, но двое его ребят остались в лазарете санитарями. Помощь стала постоянной. Иногда доктору передавали и сводки Совинформбюро. Он их прочитывал и потихоньку пересказывал своим больным. Все шло хорошо вплоть до недавнего времени.

Недели за две до моего прибытия случилась неприятность, едва не ставшая для старика роковой.

В рефир положили бывшего полиция. Ничем он не болел, а просто, как выяснилось, улизнул из команды, где ему крепко доставалось от пленных за былые грехи. Как говорят в народе, «бог шельму метит». В рефире его избили. Видя, что ему и здесь

несдобровать, он кинулся под защиту доктора. Зная, кто перед ним, доктор выставил подлеца за дверь. Ночью полиция избili вторично.

Спустя два дня, прохаживаясь за баракom, доктор увидел группу немцев, идущих к ревиру. Почему-то сразу стало не по себе, вспомнились затекшие глаза избитого полицая.

Оберартц по кличке Бомба подозвал к себе Андрея Николаевича.

— Очень неприятно, но вас придется обыскать.

И тут же между бараками доктора обыскали. Грубо сорвали шинель, халат, прощупали каждый рубчик и ничего не нашли.

— Одевайтесь! Покажите свой кабинет...

— Ты понимаешь, сразу сердце затарахтело, точно с зарубки соскочило, — рассказывал Андрей Николаевич. — Вот на этой вешалке, — он указал на стену, — висела моя куртка. В кармане я позабыл сводку Совинформбюро — только вечером передали. Вся свора уже двинулась к бараку. Как самый радушный хозяин, я заскочил вперед всех, распахнул дверь в барак, в свой «кабинет», и мигom набросил шинель на куртку. Перерыли все. Перенюхали каждую бумажку, а к шинели и куртке под нею даже не притронулись — ведь обыскивали уже шинель. Кажется, впервые в жизни я понравился себе своею находчивостью. Иначе худо пришлось бы. Потом Бомба выкинул из ревира половину больных, а санитаров моих увели солдаты. Подлость восторжествовала: кто-то следил за мной и донес.

— Полицай?

— Нет. Ему не до этого было. И масштабы не те. Просто совпало. Днем позже всех офицеров собрали в первый барак и заперли не хуже, чем в карцере. В дверях — часовой, пятнадцатиминутная прогулочка — и никаких передач.

— И Гамолов там?

— Там. Никуда не денешься.

Прилетевший откуда-то ветерок притворил с легким скрипом створку окна. Доктор поднялся, открыл толчком ее вновь и, перегнувшись за окно, закурил.

Погода менялась. Ветер забивал табачный дым в комнату. Через тощий матраик давили жесткие ребра кроватной сетки. Описав красную дугу, в темноту полетел окурок. Андрей Николаевич тяжело сел рядом. Ржаво скрипнула, пошатнувшись, койка.

— Скверно, — вздохнул он, — очень скверно. Офицеров изолировали не просто так. Кое-кого привозят даже из рабочих команд и передают барону Коршу, иными словами, в гестапо. А от Корша, надо полагать, или в Дахау, или к стенке, или черт его знает куда.

— Это догадки, доктор, или...

— Какие могут быть догадки! — ответил он с досадой.

— Значит, немцы разнюхали о БСВ?

— Разнюхали или разжевали — один черт. В лагере положение крайне напряженное.

— Что же делать, Андрей Николаевич?

— Хотел бы я знать, что делать. Ждать...

— Чего?

— А почему я знаю? Может, даже веревку на шею.

— Мало радости.

Расстались мы уже утром. Рассвет наступал неохотно. Наползали клочковатые низкие тучи. Они грузно перемешивались, опускались, казалось, к самым крышам бараков. Потом пошел обложной дождь, и сразу весна превратилась в осень.

#### 4

Прошел месяц.

Подходил к концу третий год войны. Впереди уже уверенно вырисовывалась победа. А в Моосбурге стало отчаянно плохо. Гитлеровцы выследили многих советских офицеров-подпольщиков, передали их уполномоченному гестапо барону Коршу и после недолгого следствия увезли в Дахау. А может, и не туда.

Было над чем подумать.

В мае Андрею Николаевичу удалось меня пристроить в рабочую команду, и прямо из лазарета меня перевели в пересыльный барак.

Накануне мы с доктором провели ночь вместе. Последний месяц основательно подкосил старика. Ему нездоровилось. Под тонким вытертым одеялом угловато обозначалось большое тело. Руки он сложил на груди ладонь в ладонь. На впалых висках и землистых щеках густо серебрилась седина.

— Да, дорогой. Все имеет свой конец. Человеческая жизнь, к сожалению, хрупка и недолговечна. В юности человек глуп, суетлив, растрчивает себя по мелочам. Позже приходит зрелость и ум. Появляются по-настоящему осознанные жизненные идеалы, стремления. Но с ними же приходят и сотни болячек — старость. Оглянешься — за плечами нет ничего или по крайней мере так мало, что начинаешь тосковать по напрасно ушедшей жизни.

— Пессимизм, Андрей Николаевич. Вы ведь как дубок крепкий. Зачем себя мучаете этими мыслями?

— Эх, друг мой, мне тоже казалось, что я крепкий. Казалось. А я такой же, как и другие, — ни лучше, ни хуже. Стоило прийти физическому недугу — и, как чувствую, уходят и душевные силы. Простая зависимость. Но жаль все-таки.

— Рано себя хороните.

— Так я ведь врач. Себя обмануть трудно. И ни к чему. Лето, вероятно, переживу, а потом...

— Война закончится.

— Сомневаюсь.

Где-то далеко-далеко завывли сирены, потом в раскрытое окно вкатились тугие раскаты взрывов, приглушенных большим расстоянием. Казалось, бьют в огромные барабаны, спрятанные в глубоком под-земелье.

— Бомбят.

— Да. Бомбят.

Я выглянул в окно. Там, где темным обрезом за-канчивалась стена барака, в небе играли красные сполохи.

— Наверно, Мюнхен.

— Возможно. Садись, посиди со мной. Завтра уедешь, увидимся ли?

— Андрей Николаевич...

— Постой, не спеши. Я не о том, о чем ты думаешь. Болезнь — черт с нею. Есть вещи похуже. Погиб Гамолов.

— Что-о?

— Погиб Гамолов. Он и еще один капитан, забыл фамилию; Ка... Ка...

— Калитенко?

— Ты и его знаешь? Прикончили их «при попытке к бегству».

— Гамолов бежал?! С его ногами?!

— Конечно, никто не бежал. Просто их убили. Но странно: кому теперь нужна замызганная формула — «убит при попытке к бегству»? Кому они замазывают глаза?

— Может, они не убиты?

— Очень хочу, чтоб меня обманули.

— Трупы видели? Они в морге?

— Нет. Но говорили об этом надежные люди.

— Жаль, Андрей Николаевич. Очень жаль.

— Жаль, говоришь? Да, конечно, жаль. Положение в лагере страшное. Организацию провалили. Янисколько не удивлюсь, если завтра схватят и меня и тебя... Многих уже нет. Не хочу предугадывать плохого, только достаточно одному дать показания — и погибнут все. И все они хорошие, крепкие люди. Однако не от святого духа немцы узнали о БСВ? В общем тошно на душе, гадко. Да... А Гамолова я жалею искренне, душой, как родного сына.

Прощаясь, доктор задержал мою руку в сухих горячих ладонях.

— Прощай, брат, и попытайся раствориться, ступешеваться пока. На рожон не лезь без толку. Погибнешь. Только и всего. Вспоминай обо мне, старом. Выживешь в этой потасовке — загляни в Харьков к моим. Авось, чем черт не шутит, и я доживу — встретимся. Видишь, — он грустно улыбнулся, — все же не думаю помирать.

В пересыльном бараке от свеженастеленных напахло сосной. За стенами буйствовала весна, одевала землю в цветастый наряд, рдела зорями. У просмоленных досок барака пробились тонкие ростки зелени, робкие и прозрачные на черном фоне мертвых досок.

Отправку я ждал с часу на час — лежал на нарах, заложив за голову руки, и все думал, думал... Перед глазами стояли лица доктора и Гамолова. Мысли, одна другой мрачнее, лезли в голову.

В барак вошел полицай.

— Эй, художник, к обер-лейтенанту, живо!

Посреди двора стоял дежурный комендант, знакомый мне по комедии суда.

— Художник?

— Да.

— Напишешь указатель: «Выход команд».

В это время пришел солдат, козырнул обер-лейтенанту и, заглянув в бумажку, назвал мой номер— 18 989, прочитал исковерканную фамилию.

— Куда? — строго спросил его мой «заказчик».

— Господин обер-лейтенант, в комендатуру.

— Никаких комендатур.

Солдат почтительно приблизился к офицеру, проговорил вполголоса несколько слов.

Выражение лица обер-лейтенанта сразу изменилось.

— Собака! — бросил он мне. — Иди! Марш!

— С вещами! — скомандовал солдат.

5

Я долго стоял перед большим канцелярским столом. По ту сторону сидел барон Корш. Глядя на него сверху, я видел узкую, сжатую с боков голову, низкий лоб над выпуклыми дугами бровей и седые, с желтизной волосы, аккуратно приглаженные от угла зализа на косой пробор. Сухие пальцы с длинными жесткими ногтями катали по настольному стеклу невидимый шарик.

— Ну-с... рассказывай.

Голова поднялась кверху, мои глаза наткнулись на колючий взгляд серых глаз Корша, уже подернутых старческой мутью.

— Рассказывай о БСВ.

— О чем?

— Бедняжка, не знаешь. Придумай что-нибудь оригинальное. Я тебя спрашиваю о Б... С... В...

— Не знаю, что это значит.

— Хорошо, подскажу: Братское сотрудничество военнопленных. Слышал?

— Нет.

— Ну, конечно! Никто не слышал, никто не знает. Заговоришь! — кинул он с угрозой. — Заговоришь, никуда не денешься. Щенок! Вон!

За спиной щелкнули каблучки, тяжелая рука опустилась на плечо и рывком повернула к двери.

— Раус!

Быстро пересекли ярко освещенную солнцем площадку. Открылась и закрылась дверь. Прогромыхал замок.

Карцер.

Прохладно. Тихо. В полусумраке под стенами на полу сидели с десятков человек.

Прямо перед собой я увидел майора Петрова, но он как-то странно посмотрел на меня и, зевнув, спокойно лег на бок, отвернувшись к стене.

Я не удивился: значит, так надо.

Почти в полном молчании прошло несколько часов. Вечером взяли Петрова. Спустя час меня перевели в одиночку.

Тяжело лязгнула металлическая дверь, щелкнула задвижка глазка и будто захлопнулась крышка склепа. В стене узкого бетонного мешка заделана железная койка. Около двери ведро с крышкой — параша. Под потолком горизонтальная зарешеченная прорезь; за нею деревянный козырек. На потолок под проволочной сеткой — лампа.

Тишина, не нарушаемая ни единым звуком, — тревожная, загадочная и пугающая. Тишина такая, что от нее в голове начинается тонкий надоедливый

звон, точно жужжит над ухом невидимый комар. Два шага ширины, пять длины. Параша. Волчок. Лампа. Я долго стоял, прислонившись к прохладному бетону.

Началось... Признаться, я ожидал начала страшнее. Пока что не били, не мучили и даже почти не спрашивали. Значит, это придет потом.

Устав стоять, присел на край койки. Сразу же шелкнуло в двери очко.

— Встать!

Я вскочил. Койка поднялась и с лязгом захлопулась в стене.

— Не садиться! — прокричал в очко голос. — Не ложиться!

Я ходил, стоял, снова ходил четыре шага гуда, четыре обратно. И не мог опуститься даже на пол— сразу же открывалось очко, неумолимый голос кричал: «Встать!»— и в очко просовывалось тупое пи- столетное дуло.

Судя по голосам, менялись коридорные надзиратели, за деревянным козырьком проголубела и погасла полоска неба, а я все ходил из угла в угол, от усталости задевая плечами за стены.

Потом снова стоял перед столом Корша.

— Ну как? — спросил он, прищурившись.

— Плохо.

— Тебе никто не мешает сделать лучше. Давай-ка поговорим об организаторах БСВ.

— Никого я не знаю.

— Ничего, ничего, скоро узнаешь, — зловеще обещал Корш, и меня снова уводили в одиночку. И снова тянулись бесконечные часы болтанки от стены к стене.

Временами в камеру наползал желтый туман, в глазах все сливалось и опрокидывалось: я засыпал на ходу и падал. Откуда-то издали долетало:

— Встать!

Пинками меня поднимали, и все продолжалось, как прежде: я бродил от стены к стене, едва представляя отекающие, точно свинцовые ноги.

Во время коротких свиданий Корш допытывался:



— Ну-с, какие задания ты получал?

— От кого? — спрашивал я и тут же засыпал.

— Собака, — хладнокровно цедил Корш и хлестко бил по щеке. — Собака. Героя корчишь? Так или иначе подохнешь. Только сначала из тебя душу вытянут. По ниточке, по кусочку, медленно.

Суток через трое под проволочную сетку на потолке ввинтили огромную лампу и откинули койку. Я мог лежать ночью, но проклятый свет резал глаза, даже если лежал вниз лицом. Он, казалось, пронизывал голову насквозь, и ни на секунду нельзя было от него скрыться, отдохнуть. Он доводил до иступления, до припадков бешенства. Тогда я в бессильной злобе бросался на пол, готовый пробить его своей головой.

Меня уже не выводили из камеры. Пытка продолжалась непрерывно. Ежедневно на несколько секунд заглядывал Корш и коротко спрашивал:

— Ну-с, надумал?

Вместо Корша я видел темное, почему-то искрящееся пятно. Глядя на него, отвечал:

— Ничего я не знаю.

Лязгала дверь, и адски яркий свет продолжал заливать крохотную камеру. Воздух накалился. Железо койки было теплое, липкое.

— В Дахау тебя обдерут до костей. Там скажешь и то, чего не знаешь. Отца продашь и будешь смерти просить, как милости. Там обломают, — обещал Корш.

Я его уже не боялся. В течение этих тяжелых дней я убедился в том, что Коршу обо мне ничего не известно. Пытается взять измором. Значит, все зависит пока только от меня, и я себе приказывал: «Соберись в комок, не раскисай, лучше умри, но молчи».



## Глава X

### 1

**Г**ромко лязгнул в тишине замок. Тяжелая дверь отошла, будто отвалилась. Открылся темный прямоугольник в полуосвещенный коридор, в нем, прищурившись, встал надзиратель.

Я вскочил. Полудремотное оупение исчезло.

— Камера номер семнадцать, военнопленный номер 18 989, все в порядке! — доложил я казенной скороговоркой, уставясь в широкую массу лица надзирателя. Маска плыла в радужном искрящемся тумане.

Над дверью под сеткой — киловаттная лампа. Казалось, висела огромная белая капля расплавленного металла, готовая лопнуть и вытечь в камеру тысячеградусным жаром. Выше глаз жестко давила лапа невидимого пресса.

— Выходи! Быстро! С вещами!

На дворе я ослеп совсем.

В непроглядной темени булавочными проколами желтели точки фонарей. Позже глаза освоились. Я заметил, что было не так уж и темно: край неба чуть просветлел; в предрассветной тишине потягивал свежий ветерок, чуть пахнувший росистой зеленью.

В лагерной канцелярии дежурный офицер обменял меня невыспавшимися глазами.

— Этот?

— Так точно!

— Обыскать!

Содрав с меня одежду, солдаты прощупали каждый рубчик, почему-то опасливо и настороженно, будто в тряпках могла быть спрятана адская машина.

Тем временем офицер просмотрел папку моих рисунков. Он брал листок двумя пальцами, вертел перед близорукими глазами и, мне казалось, даже нюхал его, посапывая коротким носом. Я смотрел на усердствующее курносое лицо и при всей серьезности положения едва сдерживал улыбку.

Обыск закончился. Дежурный зевнул, потянулся и, вынув из ящика стола плотный серый конверт, вручил его пожилому унтеру.

Щелчок каблуков, пинок в спину, и мы зашагали по асфальту. Впереди косолапил солдат с винтовкой, закинутой на ремне за угловатую спину, сзади стучал подкованными каблуками унтер.

Из-за далекого леса пробились первые солнечные лучи, позолотили кромки узких облаков и вершины деревьев. Тихо, свежо. Воздух легок и чист. После душной одиночки закружилась голова, учащенно забилося сердце.

Миновали у входа полосатый шлагбаум. Часо-

вой у будки вяло козырнул. За спиной остались «Шталаг Моосбург VII-а», год подпольной работы, прерванные связи, люди.

Темный от выпавшей росы асфальт повернул вдоль леса. Сзади послышался характерный щелчок передернутой пистолетной накладки. Затылок мгновенно напрягся, заныл. В ногах судорожно поджались пальцы. Стало очень тяжело и неудобно отрывать ноги от асфальта, словно его вдруг намочили чем-то клейким, а ноги налились свинцом. По спине холодом прокатился страх: уж очень неожиданной и нелепой казалась смерть в такое раннее и спокойное утро.

Я не выдержал напряжения, оглянулся.

— Иди, иди, не бойся. Твоя пуля в Дахау.

Унтер поравнялся со мной. Мрачно улыбнувшись, он подбросил пистолет в руке, потом не спеша вложил в кобуру.

В вагоне поезда унтер заметно нервничал, орал на приближавшихся пассажиров, поминутно хватался за рукоять пистолета. Даже привычные ко всему немцы удивленно пожимали плечами и, усевшись поодаль, настороженно рассматривали опасного русского, столь заботливо охраняемого двумя солдатами.

После шумной пересадки в Мюнхене еще полчаса пути в тряском вагоне дачного поезда, и за окном проплыла черным по белому короткая надпись: «Дахау».

Станция маленькая. Едва затормозив, поезд насморочно просипел отправление и, вихляя вагонами, потащился дальше.

Слева от станции виднелись игрушечные, чисто выкрашенные домики и, словно картонные, готические силуэты башенок старинного бургерского городка.

Направо через пустырь блестящей накатанной лентой легла дорога. Вдоль нее направлена широкая стрела указателя со свастикой и недвусмысленным оскалом черепа над перекрестием берцовых костей. В эту сторону мы и пошли.

Впереди над дорогой уродливой раскорякой встала темно-серая арка с трехэтажной сторожевой надстройкой. Это брама — главный вход в концлагерь. Крупно и четко на ней выведена издевательская надпись: «Arbeit tacht frei»\*.

Но на свободу из брамы не выходили. Пройдя браму, человек лишался всего, даже имени. Он становился порядковым номером, и если умирал, то карточка переставлялась в ящик картотеки с ярлыком «Todt» — «Мертвый», и в ту же минуту о нем забывали. Был — и нет. Коротко и до ужаса просто.

Браму я прошел с чувством, будто надо мной захлопнулась крышка гроба и осталось только заколотить ее гвоздями.

Но о гвоздях, видимо, было еще рано думать. За воротами меня подхватил какой-то субъект в полосатой робе и, резко повернув к себе спиной, пинком в зад дал понять, что надо идти и чем быстрее — тем лучше.

Бегом пересекли площадь. В провонявшем лизолом предбаннике здоровенный гориллоподобный малый общипал машинкой волосы и, обмакнув во что-то мочальный квач, провел им по волосистым местам.

Будто опалило огнем. Чуть не воя от боли, я бросился к крану, но под действием сильного подзатыльника пробежал мимо. Только минут через пять тот же тип протолкнул меня в огромный, на несколько сот душевых рожков, моечный зал и поставил перед ведром воды. Я быстро погрузил в него руки и выдернул еще быстрее, только потом сквозь слезы заметив предательский парок.

Снисходительно улыбнувшись, банщик швырнул крохотный кусочек мыла, указал на кран.

— Бистро!

Нулевкой простригли ото лба до затылка полоску — «штрассу», швырнули полосатую одежду. Облачился в нее, — ни дать ни взять дореволю-

---

\* Работа делает свободным.

ционный каторжник. Не хватало только бубнового туза на спину.

Еще через минуту, едва коснувшись ногами ступеней, я вылетел из бани головой вперед, плашмя растянулся на жестком, как бетон, дворе. А в черной дверной дыре не то хрюкал, не то смеялся банщик, широко расставив кривые ноги и уперев в квадратные бока длинные обезьяньи руки.

Провожатый занес для удара ногу. Я увернулся, вскочил и тут же поймал хлесткий подзатыльник.

Рысью пробежали Апельплац\*. Громыхнула калитка карантинного блока № 15. Писарь заполнил формулярную карточку, и через короткое время я уже ничем не отличался от других заключенных: на кармашке куртки и ниже кармана на брюках красовались матерчатые красные треугольники и над ними — белые полосы с моим номером.

При взгляде на меня любой обитатель лагеря мог безошибочно определить, что я русский — об этом говорила полоса на голове и буква «R» на треугольнике; красный цвет треугольника означал, что я политический заключенный, а мое имя отныне — № 70 200!

Во дворе блока — узкой улочке между бараками — было тесно, толкотливо. В воздухе, не умолкая, висел разноязыкий говор полторатысячной толпы, собранной со всех концов Европы. В ней перемешались и немцы, и французы, и поляки, и быстроглазые итальянцы, и приветливые чехи, и голубоглазые блондины с севера — датчане, голландцы, шведы. И кого только среди них не было! Но по белеющим на головах «штрассам» русских угадывали безошибочно.

Оглушенный новизной быстро меняющихся впечатлений, я в поисках места пробирался в угол двора.

— Здорово! — раздалось над ухом.

---

\* Площадь для проверок.

От неожиданности я вздрогнул. Рядом стоял капитан Калитенко. Он смотрел мимо меня куда-то в сторону.

— Спокойно. На шею не бросайся. К знакомым не подходи, — сказал он тихо, почти не разжимая губ, и прошел мимо.

Проводив его глазами, я повернул в другую сторону.

К концу дня нашелся повод для «знакомства». С холодно вежливыми лицами мы вели ничего не значащий разговор. Потом подсели к группе громко галдящих французов.

— От проклятых фискалов не спрячешься. Что нового в Моосбурге?

— Ничего хорошего. Ты здесь, а там говорят, что вас с Гамоловым расстреляли.

— Гамолова убили здесь... на допросе.

Мы тягостно помолчали. Затем Калитенко спросил:

— Что же все-таки в Моосбурге?

— Не знаю. Все притихло. Карцер забит. Корш свирепствует. БСВ разгромлено. Вот и все. Петров или уже здесь, или привезут на днях. Знаешь его?

— Нет. И тебя не знаю. В лагере уже около сотни наших. Будешь встречать — обходи десятой дозой. Тут подслушивают, подсматривают, наушничают, спасаются. А в общем дело дрянь.

Постепенно Калитенко рассказал все, что было известно о провале БСВ.

25 апреля во время бомбежки в Мюнхене сгорело здание гестапо со всеми следственными документами и архивами. Следствие по делу БСВ началось вновь. Повторился круг чудовищных пыток в гестаповских застенках. Одни члены БСВ уже умерли в ревира, а за живых взялись с утроенным пристрастием. И снова больше всех пострадал Карл Озолин, славный латыш из города Цесиса. Еще в середине лета 1943 года, когда началась подготовка к вооруженному восстанию, Объединенный совет БСВ назначил майора Озолина руководителем

будущих повстанческих отрядов. Озолин разработал план создания групп, примерные сроки готовности к выступлению, распределил ближайшие задачи между отдельными отрядами. Советские военнопленные должны были сыграть основную роль в освобождении заключенных из концлагерей и тюрем, в овладении мюнхенским гарнизоном и военными объектами. Из Мюнхена восстание должно было перекинуться на другие города Германии и оккупированных ею стран.

Написанные Озолиным документы были переданы в лагеря и рабочие команды. Тайно формировались отряды, запасалось оружие, средства связи, медикаменты... И вдруг все рухнуло.

На первом же допросе Озолину предъявили все эти документы, и он был вынужден признать свое участие в БСВ.

Чтобы направить следствие по нужному им пути, гестаповцы пустили слух о предательстве Озолина, Корбукова и лейтенанта Михайлова. Проверить достоверность слухов было невозможно, но на всякий случай от этих троих держались в стороне. Озолин лежал в ревире, похожий скорее на средневековую мумию, чем на человека, — жили только большие, лихорадочно горящие глаза. Остатки жизни в изуродованном теле поддерживались гестаповцами в интересах следствия: иногда с ним устраивали очные ставки. И это, собственно, сбивало остальных: кто же он — герой или предатель?

Очень мучили и Конденко и Тарасова — забивали под ногти деревянные спички, но эти мужественные люди выдерживали все и молчали, приводя в недоумение даже выдавших виды гестаповских палачей.

— И моя песенка спета, — закончил рассказ Калитенко. — Шабаш! Теперь только вопрос времени. Закончится следствие по делу — и к стенке. Тебя знает Озолин?

— Нет.

— Тогда, может, уцелеешь... если на допросах выдержишь.



— Пытают здорово? — не мог удержать я все время срывающийся вопрос и тут же почувствовал, насколько он был нелепый.

— Сам узнаешь, — уклончиво ответил Калитенко. — Некоторые легли на проволоку. Я думаю, это лучший выход, если чувствуешь себя неуверенно. Да и вообще...

Мы долго молчали. Собственно, и говорить-то уже было не о чем. Все ясно и так. Не убьют на допросе, расстреляют позже. Жизненный круг замыкался, становился очень тесным и жутко определенным.

Калитенко что-то сосредоточенно чертил на земле и время от времени шумно вздыхал, двигал острым кадыком, точно проглатывал что-то липкое и тягучее. В глазах стояли набухшие капли, вот-вот скатятся на небритые землистые щеки.

Он поднял голову:

— Фу, черт... Нервы сдают. Страшно умирать, рано... Но не о себе одном я жалею. Детей жалко — четверо. По товарищам душа стонет. Лучших людей выдернули из Моосбурга. И расстреляют. Непременно расстреляют! А там, — он махнул длинной кистью на восток, — нас, говорят, изменниками величают. Такой подход, что ни говори, обиден. Больно, понимаешь?

— Понимаю. А подход этот мусолить брось. Тошно и так. Черт с ними, что говорят. Мы не изменники. Не ради этого ярлыка мы боролись. Все, что могли, делали для народа. Народ нас и судить будет.

— Без нас.

— Ну, так что же? Разве для твоих детей так уж безразлично, кто ты?

Мы еще долго сидели рядом. Калитенко продолжал задумчиво выводить затейливые рисунки, потом тяжело поднялся, хрустнув коленями. Улыбнулся жалко, через силу.

— Эх, дети, дети... Пропасть им не дадут, а горя много хватят... Без отца. Ежели уцелеешь — расскажи им обо мне. От наших однодельцев

пока держись в сторонке — слезка большая. Ну, пока.

Капитан ушел, больше обычного сутуля длинную спину. Под курткой резко обозначились треугольные лопатки и между ними — выпуклая дуга позвоночника.

2

Карантин. Какой? Гигиенический или...

Убийственная ирония. Ежедневно десятки людей из карантина уводили за браму. На их места поступали новые. По ночам над крематорием полыхало красное зарево, и порывы ветра заносили в лагерь смрад горелого мяса.

Ежедневно брали людей на допросы, откуда либо не возвращались, либо приходили такими, что лучше бы их не видеть.

Может, и правда, лучше броситься на высоковольтную проволоку, как это сделал чех Клавишек?

Былые фронтовые опасности показались мне детской забавой по сравнению с постоянной угрозой пыток. В душе я взывал, как и Калитенко: «Скорей бы!»

Вскоре жизнь столкнула меня со старшиной блока Юлиусом. Над его красным треугольником чернела большая цифра 17 — ветеран Дахау. Возраст его определялся где-то между сорока и шестидесятью годами. Совершенно голый череп лоснился коричневой кожей и походил на длинную дыню, косо посаженную на жилистую, кадыкастую шею.

По временам лицо его казалось правильным и даже привлекательным, но в какое-то мгновение оно менялось, будто Юлиус натягивал маску: глубоко западал беззубый рот, затягивалась, как кисет, ниточка губ. Подбородок остро выступал вперед, по бокам его обвисали дряблые мешки желтой кожи. Ярко-голубые глаза тускнели, как бы уходя в глубь орбит, превращались в комки свинца. Очень сутулая спина подпирала затылок, отчего коричне-

вые жилистые руки далеко высывались из рукавов вельветовой куртки, доставали почти до колен. В такие минуты он казался необычайно угрюмым, и полторы тысячи людей в блоке боялись его, хотя я не видел ни разу, чтобы Юлиус применил силу.

Однажды после утренней поверки Юлиус несколько раз кряду выкрикнул мой номер. С непривычки не сразу дошло до сознания, что зовут именно меня. Досужий штубединст резко рванул за рукав.

— Ты что, оглох? — От толчка между лопаток я кубарем полетел вперед, растеряв с ног колодки.

Юлиус сверлил меня тяжелым взглядом.

— Ты номер 70 200?

— Так точно!

— Я тебе продую уши, — проворчал он. — Пойдем!

Юлиус пошел в глубину блока, я за ним. Сердце испуганно заколотилось: «Допрос».

В комнате ни души, только в углу у стола сидел толстый писарь, старательно раскладывал пасьянс из замусоленных карт.

— Говоришь по-немецки? — лицо Юлиуса разгладилось, сбросило обычную маску, стало почти приветливым. Глаза смотрели спокойно, изучающе.

— Да, говорю.

— Ты и в самом деле художник или только в карточке?

Врать так уж врать до конца.

— Да, художник, — ответил я твердо.

— Зо! \* А это нарисуешь?

С фотографии на меня смотрело молодое девичье лицо в затейливых светлых кудряшках.

Испуг прошел: значит, еще не допрос. Я твердо знал, что его не избежать, но такова уж натура человека: лучше позже, чем раньше.

— Нарисую. Только у меня ничего для этого нет.

---

\* Так!

— А это? — Юлиус показал на бумагу и карандаш.

Я отрицательно мотнул головой.

— Нужен ватман. — И коротко рассказал об отобранной папке.

— Что же, попробую достать твои шедевры, — процедил Юлиус. — Но если врешь — из блока выйдешь только в крематорий. Понял? Иди пока, да забудь свой номер и не лови мух, когда зовут. Не зевай! Здесь уши поотбивают. Иди! — он подтолкнул меня к выходу.

У двери поджидал Калитенко.

— Ну что?

— На работу нанимают, — вздохнул я облегченно, точно выйдя из душевой бани.

Выслушав меня, Калитенко рассмеялся:

— Не бойся Юлиуса. Добряк. Любит страху нагнать. Иногда он нам баландишки подбрасывает и обставляет это так, что ему ничего не известно. Перестраховывается. А орет — ведь тысячи глаз кругом.

Сообщение Калитенко меня не удивило. За два года в Германии я уже освоился с заповедью: «Не доверяй ближнему». Немцы шпионили друг за другом. Малейшие изменения в жизни соседа немедленно становились известными в гестапо. И это «на свободе». А что уж говорить о концлагере, где донос приводил жертву к виселице, а доносчику могли скинуть лишний день срока!

Часа через два Юлиус рассматривал мои рисунки, сопровождая каждый своими комментариями.

Два или три дня я сидел взаперти в спальном комнате. По несколько раз на день заходил Юлиус и стоял за плечом, наблюдая за тем, как на бумаге возникало изображение любимой женщины. Работал я так прилежно, как, кажется, никогда до этого.

И угодил. Юлиус довольно долго цокал языком, крутил головой, затем приводил многочисленных знакомых, показывая им портрет. Лицо его становилось молодым, живым и чуточку грустным.

Потом посыпались заказы. Юлиус приносил все

новые и новые фотографии, а с ними хлеб, табак и даже пачечный маргарин. Продукты я передавал на поддержку здоровья товарищей, прошедших через ужасы допросов. Делать это приходилось осторожно, только ночью. Мне помогал Калитенко, стяхнувший с себя тоску обреченности.

Юлиус часто подсаживался ко мне, расспрашивал о Советском Союзе, войне, о моей личной жизни. Иногда он рассказывал о себе. Скупно, урывками. Постепенно у нас зародилось некое подобие доверия.

Несмотря на внешнюю суровость, Юлиус оказался довольно приятным, общительным человеком. Я с удивлением узнал, что ему только тридцать восемь лет. Десять из них он провел в Дахау.

Мюнхенский рабочий, тельмановец, Юлиус был арестован еще в 1933 году, вскоре после поджога рейхстага. Почти год просидел в гестаповской тюрьме Моабит в Берлине и уже изуродованным, искалеченным на всю жизнь, попал в Дахау, внешне смирившись, став послушным, но только внешне...

Место, где сейчас расположен концлагерь и военный городок дивизии ОС, в 1934 году было пустынным обширным болотом. Окрестное население боялось его. В нем исчезал скот. Ночами по болоту бродили плачущие красавицы — привидения — и зажигали фиолетовые огоньки.

И разом болото ожило. Люди в полосатых робах ковырялись в нем днем и ночью. Осушили, превратили в твердую землю. На ней выросли бараки, опутанные рядами колючей проволоки, зажатые обручем монолитного бетонного забора. В болоте погибло столько людей, что подошва дренажа — сплошное кладбище.

Через два года выстроились правильные ряды барачных концлагеря, а рядом с ним пристроились мебельная, фарфоровая и швейная фабрики, механические мастерские, военно-техническое училище, бойня, казармы для солдат и жилые дома для офицерства. Вырос целый город. Со временем у одного из углов лагеря начала работать еще одна «фабри-

ка» — крематорий. В течение дня в лагерь поступало несколько сот человек, а в иные дни и больше тысячи, но на вечерней поверке количество людей оставалось неизменным: крематорий работал круглосуточно, на полную мощность.

Управлялся лагерь комендантом и сворой заместителей. Независимо от них при лагере работало гестапо — безраздельный властитель наших жизней. Эсэсовцы осуществляли надзор, контроль. Весь же внутренний распорядок проводился в жизнь отпетыми типами из заключенных: старшинами блоков, полициями. Они лезли из кожи перед комендатурой, выслуживались, зарабатывали себе прощение ценой жизней других заключенных.

Правда, попадались среди них и люди вроде Юлиуса, но такие составляли весьма редкое исключение.

Однажды Юлиус крепко хлопнул меня по плечу костлявой рукой и, собрав у глаз пучки морщин, сказал:

— Держись, художник, скоро всей лавочке придет конец.

— Есть новости?

— Есть. Говорю же: конец приходит.

— А пока он придет, мы с тобой вылетим в трубу.

Улыбка его исчезла.

— Возможно... Фюрер обещал трахнуть на прощанье дверью так, что содрогнется мир.

— Вот спасибо, успокоил.

— А чего тебя успокаивать? Ты и сам не маленький. Впрочем, не бойся. Гитлеру сказать легче, чем стукнуть. К тому времени может не оказаться подходящих рук.

— Будут руки, Юлиус. Гитлер добросовестно обработал мозги нацистам. До последнего будут орать «хайль» и очертя голову лезть в драку.

— Сомневаюсь.

Лицо Юлиуса из серьезного стало колючим, злым.

— Я большой старый дурак, что затеял с тобой этот разговор. Ну, черт с ним, я не думаю, чтоб ты

оказался негодяем. Слушай, разве все мы одинаковы? Закончился третий год войны, а от победы над Россией мы дальше, чем от царства небесного. Думаешь, солдаты этого не понимают?

— Безусловно, понимают. Только по врожденной дисциплинированности лезут в свалку. Кроме того, они еще надеются: авось Гитлер спасет, отодвинет беду.

— Ну что ж. Доля правды есть. Однако за кухней ежедневно расстреливают по полсотне дезертиров из СС. Еще в прошлом году их ни души не было. Страх и завывания фюрера дисциплину не удержат. Сейчас уже каждый думает о том, как бы вырваться из драки живым. Еще две-три хорошие оплеухи — и наша империя ползет по швам, как гнилая тряпка. И Гитлеру придется трахнуть дверь... в своем личном ватерклозете. — Юлиус недобро рассмеялся. В булькающем смехе собеседника не было и намека на веселость — скорее злоба, выношенная, созревшая. Она меня обрадовала: мои мысли отражались в мышлении немца, которого несколько дней назад я считал врагом. Но внешне я еще не сдавался.

— Весело... просто плакать хочется! Что случится там, на воле, не знаю. Но мы же в клетке! Что стоит прихлопнуть нас той же клозетной дверью?

Юлиус долго жевал собранными в шторку губами. Потом, загнав свои зрачки в мои, тихо, значительно произнес:

— Если будем ждать как овцы — прихлопнут. Поживешь в лагере и, если ты не круглый идиот, увидишь, что надо делать, чтобы не прихлопнули.

Он с силой сжал костлявыми пальцами мое колено и угрожающе прошептал:

— Я знаю, за что ты попал в Дахау, уважаю крепких людей. Но здесь случаются самые неожиданные вещи. Поэтому запомни на всякий случай: не будешь держать язык за зубами — погибнешь раньше, чем дойдешь до двери гестапо.



— Видишь, — он грустно улыбнулся, — все же не думаю помирать.  
(к стр. 206)



Это не была лустая угроза. В ответ я только крепко пожал сухую руку неожиданного друга и единомышленника.

3

Перед заходом солнца — вечерняя поверка.

Потом открывались двери спальни комнаты, и мы босиком в полосатом нижнем белье бочком проходили мимо старшины. Стоило ему заметить грязные ноги, слишком отросшую бороду или запущенную «штрассу», как короткая толстая дубинка, отполированная долгим употреблением до блеска, с хрустом опускалась на череп провинившегося.

Поздно вечером в притихшей спальне Юлиус выкрикнул:

— Номер 70 200!

Я поспешно скатился с койки. Юлиус молча ушел в свою загородку, усадил меня на табурет, сам пристроился на койке напротив.

— Вот так, — он пожевал губами. — Ты боли боишься?

— А что? — у меня от догадки перехватило дыхание. — Боюсь.

— А надо не бояться. Надо быть мужчиной. Будут бить — распусти мышцы, не сжимайся. И запомни намертво: признаешься в малом — заставят признаться в большом. Завтра к шести утра пойдешь на браму.

Юлиус сунул мне пайку хлеба и кусок колбасы.

— Съешь обязательно. Завтра силы понадобятся. Ну, иди, иди...

На койке в обычной скучающей позе лежал мой сосед Генрих Краузе.

— Ну, что там?

— Допрос... завтра...

Генрих быстро повернулся на бок, долго молчал, потом длинной рукой обхватил мои плечи.

— Ничего, ничего... не отчаивайся. Человек живуч. Послушай...

Он тихо рассказывал мне о борьбе в Испании, о жизни во французских лагерях, куда его вместе с другими интернировали по выходе из Испании во Францию, о пытках в гестаповских застенках, о том, как нужно держать себя на допросах.

Постепенно мои нервы успокоились. Только поспать в ту ночь перед допросом мне так и не удалось: чуть закрывал глаза — из темноты появлялась фигура палача в красной рубаше до колен. Могучими узловатыми руками он перебирал концы многохвостовой плети и, ощерив желтые клыки, беззвучно смеялся, показывая из черной свалывшейся бороды длинный, точно у собаки, язык, красный, как свежая кровь.

Помещение для допросов — фернемунгсгале — по внешнему виду ничем не отличалось от других барачков. Только широкие светлые окна были забраны прутьями решетки, да на ступенях у входа стоял свирепый с виду ээсовец, играл от скуки автоматом из вороненой стали.

Добрых три часа я стоял в коридоре рядом с дверью в подозрительных темных пятнах. Нос мой касался стены, руки по швам. За спиной в длинном коридоре хлопали двери, бухали тяжелые каблуки армейских сапог. Иногда по линолеуму протаскивали что-то тяжелое, разящее тошнотворным запахом свежей крови. И сразу следом кто-то проходил со шваброй, замывал на полу темные полосы.

Я ничего не видел, кроме куска серой стены, но слышал все. Из кабинетов в коридор проникали голоса, тяжелая возня и истошные крики пытаемых — приглушенные с дальнего конца коридора и визгливые из-за моей спины.

Вдоль стены тянулся широкий плинтус. Он мешал мне. Чтобы касаться носом стены, всю тяжесть тела приходилось держать на пальцах. Через четверть часа мышцы ног сковала болезненная усталость, и с течением времени такое стояние превратилось в едва переносимую пытку.

Шевельнуться нельзя: за спиной размеренно и лениво стучали каблуки надзирателя. Он все чаще «помогал» мне тычками кулака в затылок или пинком сапога ниже спины:

— Смирно!

Из разбитого носа беспрерывно сочилась кровь. Он казался распухшим и тяжелым.

Все чаще перед глазами проплывали оранжевые шары, сменяясь густой, как черный бархат, темнотой, и сердце жутко замирало. А через короткий миг я с удивлением видел перед собой все тот же кусок серой стены.

Еще немного, и уже никакие силы не удержали бы меня у проклятой стены. Жесткий пол коридора грезился мне самой желанной, самой мягкой постелью.

— Некста!\* — послышалось из-за двери.

Чья-то дюжая рука схватила за шиворот, втокнула меня в кабинет. Я растянулся плашмя, больно ударился головой обо что-то твердое. С трудом поднялся на шаткие ноги.

На фоне широкого светлого окна за большим канцелярским столом сидел толстый эсэсовец в расстегнутом мундире. Он улыбался, обтирая платком жирную складчатую шею. Жестом приветливого хозяина указал на стул.

— Садитесь, пожалуйста.

Вид его говорил: «Что ж поделаешь, я тут ни при чем». Он сочувствовал, но за сочувственной улыбкой в узких прорезах глаз прятались колючие огоньки. Исчезнет улыбка — проглянет зверь.

Он отдыхал. Длинные, неожиданно тонкие пальцы перекладывали по столу стопки бумаги, подвинули ко мне сигареты, потом долго барабанили мягкими подушечками по краю стола.

— Только что отсюда вывели майора Петрова. Вы его узнали? — Чистая русская речь следователя почему-то поразила меня больше самого вопроса. Позже дошел его смысл.

---

\* Следующий!

— Нет... не знаю.

— В Моосбурге вы вместе сидели в карцере.

— В карцере много сидело...

— Так. Ну, хорошо. Тогда расскажите мне все, что вам известно о комитете БСВ. Учтите: чистосердечное признание уменьшит вашу ответственность.

Я изо всех сил вытаращил на следователя глаза:

— Только от вас услышал о комитете.

— Ну, это старый прием. Рассказывай! — С лица сползла наигранная улыбка. — Какие цели преследовал комитет?

— Впервые слышу о нем.

— Кто входил в состав Моосбургского комитета Братского сотрудничества военнопленных?

— Мне ничего не известно.

— Неизвестно? — рявкнул следователь. — Бре-шешь! Ганс!

В углу скрипнул стул. Огромный рыжий детина подошел к столу, бережно сложил газету, снял китель и аккуратно повесил на вешалку за столом. Движения рассчитанны, скупы, эластичны, как у огромной кошки. Пронзительные козьи глаза ощупали меня всего и, казалось, видели даже сквозь меня.

— Обработай этого щенка!

Ганс кивнул, поправил на плечах подтяжки, приблизился ко мне, на ходу подсучивая рукава тонкой белой рубашки.

Следователь уселся поудобней, закурил сигару.

— Альзо! Лучше говори!

— Я ничего не...

Голова, казалось, разлетелась от страшного удара сверху. Стальная лапа подняла меня с пола за горло, и от следующего удара под ребра я полетел в противоположный угол, головой задев по пути какую-то металлическую штангу.

Дальше все пошло как в бреду. Ударов и боли я уже не слышал, будто зашитый в толстый матрац. Меня поднимали, били, бросали, снова били и в такт ударам в мозгу вспыхивали красные огни. Потом пропали и они.

Сознание вернулось от ледяной воды, стекавшей

по голове за воротник. Резкий запах нашатыря рванул легкие. Приступ кашля вызвал рвоту. Мои палачи разошлись по углам и брезгливо отвернулись.

— Лучше сказать правду, — следователь издал участливо улыбку. — Зачем лишние муки? Назови членов комитета, и тебя больше никто не тронет.

В голове стоял красный туман. Жирная морда следователя двоилась, как в сбитом с фокуса фотоаппарате. Сквозь разбитые губы с трудом выдавил:

— Я... ничего... не знаю...

Все началось сначала. Время остановилось, превратясь в узел тупой боли. В минутные паузы просветленного сознания видел все ту же жирную морду.

— Говори! — рычал он, ворочая глазами.

— Не знаю! — отвечал я, и все продолжалось, как кошмарный бесконечный сон.

Наконец меня перестали мучить и через некоторое время выволокли из кабинета под злобное напутствие:

— Упрямый осел! Я из тебя вытяну...

Обратный путь до блока и остаток дня — сплошная цепь мучительных болезненных ощущений, прерываемых тягостными провалами воспаленного сознания, словно я уходил с головой в затхлую жижу и, задыхаясь, тонул.

Потом вдруг меня выталкивало на поверхность, мрак расступался, в зеленоватом свете проступали призраки людей. Боясь задохнуться, я безгласно кричал и в широко открытый рот врывалось холодное, скользкое... Надо мной склонялось участливое лицо Калитенко. Растянутые в грустной улыбке губы шевелились, голова вяло покачивалась, потом увеличивалась, распухла: это уже Никитин. Нет не Никитин. Это злая бульдожья маска следователя. Она почему-то вращалась все быстрее, и уже не маска, а что-то непонятное, огромное и страшное несло мне на встречу.

«Тра-ах!..» — и снова аспидная темень.

К вечеру сознание вернулось окончательно.

Через день вызов в гестапо повторился. На этот раз меня уже не держали в коридоре, а втолкнули сразу в кабинет.

— Здравствуйте! — приветливо кивнул следователь. — Как себя чувствуете? — В вопросе слышна явная издевка. — Не нужна ли помощь?..

Страх не было. Только под ложечкой щемило, как перед прыжком с большой высоты. Вопросы следователя мгновенно подняли злобу, она захлестнула; почувствовал, как кровь прилила к щекам и разом отхлынула.

— Нет, благодарю вас.

— Ну вот что: не будь мальчиком. Твой героизм никому не нужен, никто о нем не узнает, а если и узнает, то тебе уже будет совершенно безразлично, кто ты — герой или... В общем незачем тебе терпеть напрасные муки. Понял?

— Понял.

— Вот так-то лучше. — Он положил перед собой листок бумаги, снял с пера ворсинку. — Мы знаем имена организаторов БСВ в Перлахе. Это уже не интересно. А вот кто организовал БСВ в Моосбурге? Тарасов, Шахов, Платонов, Баранов, Гамолов, Петров? Кто еще?

— Не знаю я этих людей. Первый раз слышу...

— А, соба-а-ака... Ты вот как? — прошипел внезапно озверевший следователь. — Тупой русский скот! — Короткий ошеломляющий удар свалил меня. — Он не знает! Сволочь! Большевистское отродье...

Дальше я уже не слышал. Под тяжелым каблуком хрустнули ребра. Дневной свет ослепительно вспыхнул и мгновенно погас.

Прошел час, или два, или несколько минут — не знаю. В помутневшем сознании, как в матовом стекле, размыто мелькали черные фигуры. Две, три, а может, и все десять. В ушах — вата. Через нее доносилась брань:

— Щенок... Легонько двинул в бок — он и лапы врозь.

— Ха-ха-ха... Легонько... Для крематория больше не надо.

— Дай еще понюхать. Доживет до виселицы. Русские скоты живучи. — Дальше говоривший разразился дикой, бессмысленной русской руганью.

Подумалось: «Обо мне говорят». Подумалось безучастно, будто о постороннем. Мысли ворочались, словно мельничные жернова, — тяжело и медленно.

— Встать, встать, говорю! — Голос следователя сорвался на фальцетный визг.

Я попробовал пошевелиться. В ребрах застрял пучок огромных иголок. Больно до одури, до иступленного крика и нечем дышать, будто из комнаты откачали воздух. Я тщетно ловил его судорожными быстрыми глотками. Без помощи было не подняться.

— Встать! Ферфлюхтер гунд! \*

Рыжий Ганс, подхватив под мышки, взгромоздил меня на стул.

— Давай говорить начистоту, — следователь из-за стола сверлил меня злыми глазами. — Запирательство ведет тебя к гибели медленной и мучительной. И умереть не умрешь и жить не будешь. И так будет продолжаться, пока не вытяну из тебя все, что мне нужно. Лучше уж говори. Что ты знаешь о комитете БСВ? Молчишь?

— Нет, не молчу... Не знаю... ничего...

— Ничего не знаешь? Сотни молодчиков прошли через этот кабинет, но не все вышли живыми. И все начинали твоими словами. Альзо! Кто руководил комитетом? Чернов? Баранов? Никитин? Шахов?

— Не знаю. Напрасно стараетесь, господин следователь. Я ничего не знаю.

— Озолин тоже не знал... Ганс, давай!

Отвалилось дверное полотно в смежную комнату. Подталкиваемая Гансом, в кабинет вкатилась госпитальная тележка на высоких шинах, прикрытая суконным одеялом.

В грязную тощую подушку вдавилась человеческая голова, точнее угловатый череп, плотно обтянутый желто-зеленой кожей, с густой порослью на давно не бритых щеках.

— Озолин, — следователь нагнулся к самому уху черепа. — Посмотри внимательно на этого типа. Узнаешь?

---

\* Проклятая собака!

В запавших глазницах задрожали полупрозрачные коричневато-зеленые веки, устало поднялись, открыв огромные глаза, горящие жугким внутренним огнем. Они гипнотизировали, угнетали выражением огромной муки, молчаливым страданием, от них невозможно было ни спрятаться, ни уйти.

— Узнаешь? — напористо спросил следователь.

От предельного напряжения у меня внутри все дрожало, но я смотрел прямо, не отрываясь и не мигая, в глаза этому человеку, перенесшему муки ада.

Наконец взгляд Карла Озолина потускнел, затуманился набежавшей слезой. Веки устало опустились, подобно занавесу перед ярко освещенной сценой.

— Узнаешь?

— Нет, не знаю... — тонкие губы чуть разошлись.

— И этого не узнаешь? — обозлился следователь. — Ты должен его узнать! Ну?

Глаза больше не открылись. Голова слабо качнулась из стороны в сторону, хриплый выдох повторил:

— Не знаю.

— Убрать.

Двое эсэсовцев легко выкатили тележку с ненужным на этот раз Озолиным в коридор.

Несколько минут следователь задумчиво ходил по кабинету от стены к стене позади стола. На настольном стекле чадила забытая сигара. Дым от нее тянулся к потолку витой голубой струйкой, незаметно растворялся в спертom воздухе.

Заложив за спину руки и подпрыгивая ногами, следователь смотрел в окно, потом коротким толчком распахнул створки за прутьями решетки. Сразу стало прохладнее. В стриженных кустах за окном зазвенел переливчатый хор беззаботных пернатых. В ту минуту я им искренне позавидовал.

— Ну что ж, — отвернулся следователь от окна, — продолжим. Какое участие в БСВ принимал майор Петров?

Проклятые птички! Мне вдруг до того стало жаль себя, что я готов был разреветься — беспомощно, жалобно, по-мальчишески, навзрыд. Понадобилась вся



моя воля, чтобы подавить пришедшую не ко времени опасную слабость.

— Никого я не знаю. Бессмысленно и жестоко...

— Молчать!

— Мучить невинного человека. Убейте лучше...

— Убить?! Ха-ха-ха! Я обещал тебе смерть медленную, мучительную. Я растяну ее надолго. Будешь звать не раз, а ее все не будет. Не-е-ет! — злорадствовал эсэсовец. — Не-ет! Будешь от боли извиваться, как червяк. И не умрешь, до-о-олго не умрешь, большевистская сволочь!

Еще несколько минут отстучали гулкими ударами сердца. Следователь ожил, как человек, пришедший к окончательному решению, конкретному, единственно верному.

— Ганс, на кобылу его!

Палач поволок меня в угол и, как мешок, бросил на жердевой настил высокого топчана. Ноги попали в ящик, пристроенный внизу, у ножек, перегнутое тело вытянулось вдоль настила, руки захлестнули упругие ременные петли. Спина, казалось, разорвется, растянется и полезет, точно жгут ваты. К горлу подступила тошнота, сознание помутилось, но я еще слышал далекий голос следователя:

— Назови членов комитета! Молчишь?

Что-то очень тяжелое обрушилось на поясницу. Казалось, тупой топор врубался в спину, ягодицы, рвал мясо. Палящий огонь разлился по телу, терзал каждую жилку нестерпимой, адской болью. Я закричал и в муке захлебывался своим криком, а может, кровью. Но удары продолжали штамповать меня, и с каждой секундой все тупее. Свет меркнул, темнел. Потом вдруг вспыхнул ярко, ослепительно. В момент вспышки пронеслось облегчающе, коротко: «Все».

#### 4

Сон тянулся неправдоподобно долго. Меня все время, покачивая, уносило куда-то вдаль. Иногда доносились обрывки фраз, иногда меня поворачивали

на мягкой мшистой подушке — тогда пахло хвоей и чем-то еще непонятным и приятным. А иногда из темноты подкрадывался ко мне огромный лохматый пес. Он по-страшному блеснул светящимися глазами, а меж желтых клыков по узкой полоске языка стекали капли крови. Мне становилось страшно. Я кричал, пыривался встать, но что-то мягкое, упругое прижимало к земле, голову обволакивал холод, и жуткое видение исчезало.

В яркий солнечный день вернулось сознание. На верхнем ярусе койки было тихо, светло, и я не сразу осознал переход к реальной жизни.

Рука нащупала шероховатый край бумажного матраца. Чуть выше края кровати белел залитый светом обрез окна. За ним толклись полосатые хефтлинги\*. Значит, все осталось по-прежнему, только я больной и разбитый. И сразу вспомнился вопрос.

— А-а, ожил? Вот хорошо! Молодец... — голос прозвучал задушевно, мягко. Повернув голову, увидел соседа Краузе.

— Лежи, лежи. Потом наговоримся.

С неожиданным проворством он исчез в проходе.

Спустя несколько минут между кроватями поднялась коричневая голова Юлиуса. Беззубый рот растянулся в улыбке, теплой, по-домашнему доброй.

— Тихо, тихо, художник, — он осторожно пожал мою руку. — Теперь пойдешь на поправку.

Юлиус оказался прав. Через несколько дней я, цепляясь за кровати, уже ходил по спальне.

Краузе почти не оставлял меня одного, и хотя в его обществе не так уж было весело — слишком замкнут и молчалив он был, но как сиделка он был великолепен. Мы могли часами лежать молча. Я — на животе, Генрих — на спине, подложив под голову согнутые кренделем руки. Только в одном случае он бывал разговорчивым: когда речь заходила об Испании. О ней он рассказывал интересно, с большим душевным подъемом. В рассказах неизменно присутствовал командир Интернациональной бригады генерал Мат-

---

\* Заключенные.

рай. Генрих лепил его образ живо, красочно, с большой теплотой, как образ любимого человека и героя. Обо всем остальном Краузе говорил мало и неохотно.

Я уже знал, что со второго допроса меня привезли на носилках и сбросили на солнцепеке под стеной барака.

Юлиус забрал меня в блок лишь под вечер, когда в лагерь вернулись рабочие команды, сталолюдно и мое исчезновение могло пройти незамеченным. Пять суток прошли в тяжелом бреде, и Краузе не отходил от меня ни на шаг.

Юлиус и Краузе — люди совершенно различные. Но что-то их сближало. Часто они усаживались в дальнем углу спальни и, заговорщицки сблизив головы, подолгу гудели приглушенными голосами, временами переходя на шепот. Они оберегали свою тайну от посторонних ушей. Я это понимал и делал вид, что ничего не замечаю.

Вечерами в спальне бывало тесно, шумно и душно. В моем углу под потолком, кроме нас с Генрихом, еще двое. Один из них, высокий старик с гвардейской выправкой, — словенец Урбанчич, второй — хорват, доктор Кунц. Оба шумные, говорливые, по пустякам спорящие до иступления.

Годы Урбанчича не согнули, только высушили да покрыли голову белым пухом. На длинной шее крепко сидела внушительная голова с клювообразным носом и как бы выгоревшими, огромными навывкате глазами. Когда он сидел напротив, свесив в проход длинные тощие ноги, уперев в край койки руки, мне он казался похожим на старого усталого кондора, растерявшего оперенье, но еще сильного и опасного.

В противоположность ему доктор Кунц — полный, благообразный мужчина, кипучий, крикливый, безалаберный.

Их арестовали в один вечер — на банкете у доктора Кунца — и бросили сначала в тюрьму, потом в Дахау, даже не объяснив причины ареста.

Урбанчич любил пофилософствовать.

— Интересные бывают повороты в жизни, — говорил он однажды, гипнотизируя меня своими неподвижными глазами. Он тщательно подбирал русские слова, отчего речь тянулась медленно, как тяжело груженный воз. — Даже когда человеку очень трудно, и то интересно жить, ожидать нового...

— Ха! Интересно!.. — Кунц вскинулся, как боевой петух. — Пригвоздят к стенке, как жука булавкой! Это, по-твоему, интересно?—В гортанной речи слышались одни согласные, точно в горле перекатывались гремящие шарики.

— А если и шлепнут такого жучка, как ты, — тоже не велика печаль. — Урбанчич коротко хохотнул, а Кунц обиженно отвернулся.

— Вот вы, капитан, — продолжал старик, — еще совсем недавно были советским офицером. Я крупный собственник-капиталист. По идее мы враги. Но судьба нас поставила на одну доску. Подравняла и примирила. А ведь в революцию меня, пожалуй, расстреляли бы?

— Пожалуй, расстреляли бы, — ответил я ему в тон, — если бы не расстались добровольно с награбленным добром.

— Награбленным? — удивился он. — По-моему, нажитым...

— Чужим трудом?

— Но моим умом! Впрочем, зачем я вас спрашиваю, что было бы со мной в революцию. Я это и так знаю. Попадись я к вам в те годы... А вот как бы со мной поступили сейчас?

Я не совсем понял смысл заданного вопроса.

— Как то есть сейчас?

— Ну, вот если бы в Дахау пришли русские?

До этого Урбанчич длинно и скучно рассказывал мне, как он, будучи подполковником, служил в чешском корпусе, как корпус сдался в плен русским, а потом поднял мятеж против молодой Советской России.

— Под Пермью, — рассказывал он, — легла ваша Третья армия, но своею гибелью спасла Советы. Соединись мы с англичанами—все пошло бы по-другому:

через два-три месяца от красных осталось бы только печальное воспоминание. Сейчас — другое дело. Сейчас Россия держит за горло Германию. Старые друзья, — он хихикнул. — Германия скоро перестанет дергаться. Как тогда со мной поступят?

Урбанчика беспокоила собственная маленькая судьба с точки зрения личного благополучия. На все остальное ему было наплевать.

— Думаю, что все будет зависеть от того, как вы сейчас к России относитесь, а не как относились раньше. Вероятнее всего, вас просто отправят в Любляну.

Урбанчик заметно успокоился. Помолчав немного, он твердо заявил:

— Как бы ни было, но лучше с русскими, чем с гуннами. Слепла Европа!

— А вы давно прозрели?

Он неопределенно пожал плечами:

— Как и все... Гитлер сам прилежно старается пролить как можно больше света на свое ничтожество.

Испугавшись собственной смелости, старик тревожно оглянулся вокруг. В это время тоскливо завыли сирены.

— Флигералярм!

— Воздушная тревога!

В спальне затихли. Посты ВНОС прозевали налет: только закончили выть сирены, как в воздухе грозно повис тяжелый гул многочисленных самолетов. Над лагерем эскадрильи поворачивали курсом на Мюнхен. С той стороны доносились слабые хлопки зениток и раскатистый гул тяжелых взрывов.

Бомбежка затянулась часа на два. Это уже не первая. И всегда самолеты пролетали точно над лагерем. Заключенных это не пугало. Они были уверены, что ни одна бомба не упадет в черте лагеря. Вероятно, лагерь служил ориентиром перед выходом на Мюнхен.

На огромной высоте от общего строя самолетов оторвались две блестящие точки, полетели вниз, казалось, точно на лагерь. Многие затаили дыхание, мысленно прощаясь с жизнью. Некоторые даже полезли

под столы и койки. Но страх был напрасен: самолеты вышли из пике у самой земли и, взревев моторами, ушли в голубую высь. Вслед им взметнулись два кучерявых облака черного дыма. Из окон бараков с жалобным звоном посыпались стекла: взлетела на воздух мебельная фабрика, стоящая почти вплотную к проволоке концлагеря. Точная работа летчиков еще долго служила предметом восторженных пересказов заключенных.

Прошла еще неделя. Все дни я проводил во дворе блока с Калитенко, Никитиным, Петровым и другими русскими. Доносов мы уже не боялись: прошло достаточно много времени, чтобы «познакомиться».

На допросы по нашему делу уже не вызывали — видимо, следствие подошло или подходило к концу. Настроение у всех нас было подавленное, обреченное. Единственный Концедалов не сдавался, пробовал расшевелить остальных острым анекдотом-экспромтом.

Ожидать нам пришлось недолго. В первых числах июля заключенных по делу БСВ начали сортировать. Часть перевели в блок смертников № 27. Таких набралось человек около ста. Других увезли в Маутхаузен. Третью оставили в карантинных блоках.

Юлиус не забыл обо мне.

— Зибцих таузент цвай хундерт! — передали по двору.

Я опрометью бросился на зов. Юлиус топал ногами и истерически орал!

— За тобой посылать надо?

Сердитым тумачком он втолкнул меня за дверь. В комнате ни души.

— Хватит сидеть в карантине. Разыщешь во второй штубе шестого блока штубового Кристиана. Скажи ему, что от меня. Понял? — Юлиус строго посмотрел в глаза и уже мягче добавил:

— Он знает, как с тобой поступить.

— Спасибо, Юлиус...

— А, брось!.. Все мы люди, все жить хотим. Живи и присматривайся. Рот держи на завязке. Когда понадобится, тебя найдут. Иди! Сколько раз тебе го-

ворить, сумасшедшая голова? — Он снова перешел на визг, и я кубарем вылетел во двор блока и дальше — к воротам.

— Пропусти его, — прокричал Юлиус торвертеру.

Выскочив за ворота, я еще долго слышал его визгливый голос.

Калитенко оказался прав: против меня не было прямого обвинения, и очная ставка с Озолиным решила исход следствия. Смерть еще раз дала мне отсрочку.

Двадцать первого июля 1944 года лагерь притих, скованный смертельным ужасом. Многих политзаключенных немцев эсэсовцы хватили из лагеря, с работы, отовсюду и загоняли в крематорий.

Исчез за глухим кирпичным забором и Генрих Краузе. Юлиус, парикмахер Карл и другие немцы замерли в тоске ожидания приближающейся гибели.

К концу дня по лагерю пополз слух о покушении на Гитлера. На следующее утро газеты запестрели мрачными заголовками и фотографиями развороченного пола в углу кабинета фюрера. Гитлер отделался контузией руки. Газеты печатали его хвастливое заявление, что «жизнь фюрера охраняет само провидение».

После короткого следствия Гитлер казнил около пяти тысяч немцев, причастных к заговору, присовокупив к ним десятки тысяч политических заключенных, томившихся в различных концлагерях и тюрьмах.

К концу месяца кровавый разгул в Дахау стих. Жизнь потекла по прежнему руслу. Только события последних дней не прошли бесследно. Все были взвинченны, настороженны и пуще прежнего подавлены.

Юлиус осторожничал сверх меры, и я избегал встреч с ним.



## Глава XI

1

**П**одъем! Подъем!  
Голос был скрипуч, словно дергали несмазанную дверь.

Полуслепые спросонья, ничего еще не соображая, люди очумело валились с верхних коек в проход, суматошно бросались в умывальник, брызгали в лицо пригоршню воды, поспешно натаскивали на себя полосатое тряпье. Штубовой Кристиан ходил в толчее, торопил нас, по-русски напирая на «р».



— Скорее, скорее...

Он напоминал прописную букву «Х», большую, ходячую. Ноги в коленях соприкасались будто связанные, а от колен выбрасывались мягко в стороны, точно ласты. В такт шагам он вихлял из стороны в сторону всем туловищем, как громадный маятник; руки порывисто взмахивали. На худом лице, затененном длинным козырьком тельмановки, тосковали большие, чуть навывкате глаза, увлажненные набегающими слезами. В глазах его было что-то неуловимо трогательное, как у преданной хозяину больной собаки: понимает все, а сказать не может. Под скулами чернели глубокие впадины.

— Скорее, стррроиться!

Влив в себя кофейную горькую бурду, мы выстраивались на поверку.

В 6-м блоке жили русские. Начальство — немцы. Они бегали как ошпаренные, суетились, считали, подравнивали, сбивались и снова пересчитывали, щедро раздавая зуботычины. Потом выводили нас на Апельплац. Здесь выстраивался весь личный состав рабочего лагеря: блок за блоком, колонна за колонной, по десяти в ряду. Идеально выравнивали шпалеры рядов и затихали в ожидании начальства.

Неся вразвалку живот, выкатывался из-под брамы рапортфюрер. Старшина лагеря, надрывая глотку, командовал!

— Ахтунг! Мютце-е-ен... аб!

Точно вздыхала земля, тяжело, с одышкой: тысячи рук единым взмахом срывали с голов и с силой лупили по правому бедру каторжными бескозырьками. Над площадью неся напряженный до звона голос докладывающего.

Потом между колоннами шныряли эсэсовцы — пересчитывали. Люди стояли, вытянувшись, еле переводя дыхание. Слабые падали. Малейшее движение после команды «смирно» считалось тяжким грехом, наказуемым на «кобыле» палками.

Наконец проносилась команда:

— Строиться на работу!

Апельплац оживал, словно потревоженный мура-

вейник. Команды пленных вытягивались за браму, обрастали конвоем.

Начинался каторжный день.

...Идет разморенный зноем прохожий. В тени под стеной лежит лохматый пес и часто-часто носит боками, высунув распаренную ленточку языка. От зноя все кажется белым. Над полями дрожит чуть заметное волнистое марево...

Нет, ничего этого не было. Мне просто почудилось. На самом же деле я в полутемном подвале, с круглой огромной печью для обжига фарфора. Пламя в печи гудело и пело, и было жарко, точно в преисподней, как говорил старик Мантини, с которым мы крутили проклятые колеса. Два кочегара, попеременно шурующие в печи, исходят потом.

Над нашими головами — большое круглое крыто, в которое накладывали сырую фарфоровую массу. Мы крутили колеса привода, а в корыте перекачивались тяжелые вальцы, переминали массу. Четыре тысячи оборотов колеса на один замес — полдня тупой, изнуряющей работы и жара! Иногда кто-нибудь из нас падал. Тогда на голову лилась теплая вода, и напарник отдыхал, привалясь к стене. А потом снова — «гррр-гррр, грр-грр» — ворчали шестерни. Шаг вперед, шаг назад. Колесо делало оборот, отполированная руками труба рукоятки шла вверх, и я напрягал силы, тянул ее книзу. На лоб и затылок скатывались щекочущие капли вязкого пота, горько-соленого, как морская вода. Они накапливались в бровях, заползали под веки едким ядом, и тогда я слеп. «Гррр-гррр... гррр-грр», — шумно жевали друг друга шестерни.

Однажды все это кончилось.

— Номер 70 200!

— Яволь!

— К профессору, живо! — Капо Мюллер проводил меня тырчком под лопатку.

Кабинет профессора на втором этаже. Света там — море. Над широкими окнами висели тяжелые

бархатные портьеры. В углу стояли низкие кожаные кресла. На огромном рабочем столе лежали вороха бумаги и тускло поблескивал старой бронзой массивный письменный прибор да высокий свечной канделябр. Я был здесь однажды, и профессор не показался мне зверем, хотя говорили, что он собственно ручно убивал заключенных.

— Войдите! — ответил он на мой стук.

Не оборачиваясь, профессор продолжал лепить фигуру на небольшом вертлюге. Минут пять я стоял у двери. Тело по привычке пыталось качнуться вперед-назад, ладони еще сохраняли жаркое тепло полированной рукояти колеса.

— Ну, что скажешь?

— Господин профессор, капо Мюллер...

— Знаю. Ему передашь, что я перевожу тебя в художественную мастерскую. Фарфор расписывал?

— Нет.

— С натуры рисуешь?

— Да.

— Учился где?

— В Харькове.

— А, Харьков? Это хорошо. Иди!

Так я оказался в художественной мастерской фарфоровой фабрики рейхсфюрера СС Гиммлера.

Главным лицом на фабрике был профессор скульптор Ратингер — сравнительно молодой, рослый здоровяк с бычьей шеей и толстыми руками мясника. Он и ходил как мясник: в халате с подвернутыми до локтей рукавами.

Ближайшим его помощником был капо Мюллер — бандит с полувековым стажем и десятками «мокрых» дел. Мюллер старик, голова его зашита в седой бобрик, взгляд острый, руки нервные, очень подвижные. Говорил он на десятке языков, в том числе и по-русски. Он исколесил весь мир, многое видел, везде грабил и при нужде легко убивал, с пренебрежением глядя на свою и чужую обнаженную грязь. Мюллер не знал, не видел и не признавал добра. Он был деспотичен и жесток, мгновенно раздражался до бешенства и тогда легко мог убить, задушить, столкнуть

в печь. Я боялся Мюллера. А между тем именно он просил Ратингера о моем переводе в художественную мастерскую. Но это случилось не так-то просто: цепочка ходатайства тянулась от Юлиуса к Кристиану, от Кристиана к Мюллеру.

2

По Лагерштрассе тяжело катилась длинная платформа, уставленная в два яруса кибелями — бочками с баландой. Опережая платформу, неслись голоса:

— Старшины блоков, получать суп!

Платформа останавливалась против блока, кибелькоманда составляла на землю положенное число баков. Люди, упиравсь ладонями в выступы, толкали платформу дальше.

В кибелькоманде почти все русские офицеры — члены БСВ, ожидавшие гибели. Ожидание затягивалось. Слишком серьезной организацией оказалось БСВ. Фашисты выделили специальных людей по расследованию его деятельности. Результатами следствия интересовались в Берлине. И когда дело было закончено, смертный приговор послали на утверждение Гиммлеру.

Смерть уже поставила на людях мету: через всю спину огромная буква «R», намалеванная красной масляной краской! Это — заподозренные в мятеже. Их ждет крематорий... Пусть память вечно хранит портреты этих героев и мучеников. Широкогрудый, черноволосый и еще не старый полковник Тарасов — он даже в Дахау носил окладистую почти черную бороду; большеголовый подполковник Шихерт; жилистый широкоплечий Иван Концедалов, — глядя на него, я будто видел Степана Разина — мужественного и лихого. А вот капитан Платонов с казацкими усами, закрученными на концах в пружинистые колечки. Это он попросил меня нарисовать силуэт Ленина, а через час вернулся и, таинственно приоткрыв рубашку, показал мне с гордостью: силуэт был наколот на груди. Круглая голова майора Конденко

щедро посыпана блестками седины. Он высокий, сутуловатый и постоянно грустный. Особенно ярко я вспоминаю 15-й блок, где мы как-то собрались кучкой в углу двора и тихо — не голосами, а скорее сердцами — пели «Заповит». Конденко гудел басом. По землисто-желтым щекам стекали редкие крупные слезы, и он их не стеснялся, не вытирал. Закончилась песня, и мы все долго сидели притихшие, опустив головы.

Петр Обрывин, Шалико Сараули, Сергей Ткаченко — маленький, хрупкий, фигурой — мальчик, но душой — великан; погибший на допросе Гамолов, Калитенко...

А скольких я знал только в лицо — их имена не остались в памяти!..

Каждое утро я чутко прислушивался к команде:  
— Кофе получ-а-ать!

Заслышав ее, опрометью бросался помогать штубединстам тащить тяжелые кибели с коричневым пойлом. Я успевал перебраться с нашими двумя-тремя фразами, и на душе становилось чуточку легче: «Живы еще». Но тоска обреченности наваливалась и на меня, и сердцем я был с ними.

Платформа катилась по лагерю, шло время...

В воскресенье вместо черпака брюквенной похлебки заключенным рабочего лагеря выдавали по литру макаронного супа с мясом. Его ожидали в течение длинной недели, и, когда приближалась желанная пора обеда, все уже были на местах и с нетерпением вертели в руках алюминиевые миски.

Литр оказывался удивительно малым, блаженство слишком коротким. Вместе с ощущением неутоленного голода наступало обидное разочарование.

Потом на Лагерштрассе появлялись одиночные фигуры заключенных с табуретками. Робко оглядываясь, они направлялись к бане и, видя, что полиция не препятствует, устремлялись к ней бегом. Тогда из блоков выступали целые толпы с табуретками над головами и мчались к бане, будто на

штурм; обгоняли друг друга и неслись дальше. У двери бани сразу образовывалась суматошная толча.

Свежему человеку все это показалось бы странным и непонятным. На самом же деле ничего не было странного: люди спешили на концерт симфонического оркестра.

Я знаю, читатель удивится: «Концерт?! В концлагере?» Да, в концлагере были воскресные концерты симфонического оркестра. Я не пропустил ни одного из них. Каждый раз я слышал в музыке и плач матерей, и предсмертные проклятья казненных, и мучительные вопли истязуемых... Я слышал в музыке все, что пережил и перетерпел, и вместе с этим различал в ней и могучую жизнеутверждающую силу. Существование оркестра я даже не пытаюсь объяснить. Фашисты умели объединить в себе самую дикую жестокость с циническими ухмылками гуманности. И порою эти ухмылки обращались в гримасы самого утонченного издевательства: ведь могли же они под звуки оркестра Львовской оперы, играющего специально написанное «Танго смерти», расстреливать сотни людей, а потом уничтожить и музыкантов!

Не до объяснений нам было тогда. Музыку любили все, любили страстно, как единственно светлое и живое, оставшееся еще нам от прежней жизни.

В течение нескольких минут баня заполнялась до отказа. Становилось душно, по лицам стекали струйки пота. С потолка и сотен душевых рожков время от времени срывались крупные капли воды. Час-полтора до начала концерта ожидали терпеливо. Добровольцы из «публики» складывали разборную эстраду.

Затем появлялись музыканты, рассаживались, настраивали инструменты. Слушатели в набитом до отказа «зале» обменивались короткими репликами, говорили: «...Жаль скрипача. Беднягу повесили на прошлой неделе. Как будет играть новичок?» Состав оркестра менялся, как и состав слушателей, и каждый думал: «Может, этот концерт последний?»

На помост выходил важного вида человек в ка-

торжной робе. По «залу» перекатывались рукоплевания, человек кланялся, за стеклами очков в широкой роговой оправе близоруко щурились глаза. Дирижер — музыкант с европейским именем.

Началась музыка — волшебный мир звуков. И будто раздвигались стены бани, исчезала проволока. Воля влетала к нам, вносила чарующую гамму мелодийных созвучий.

Перед началом концерта я сидел наискосок от эстрады и присматривался к людям. Сзади кто-то уперся в мою поясницу острым коленом и жарко дышал в затылок. От этого было очень неудобно сидеть, но, оглянувшись, я понял, что неудобно всем. Все сидят чуть ли не друг у друга на спине. Тесно. Баня не вмещала всех желающих.

Рядом говорили по-русски. Судя по голосам — ребята молодые, разговор прыгал с предмета на предмет. Мимоходом один из них назвал фамилию, знакомую мне с юношеских лет. Я обернулся на голоса, спросил:

— Как зовут вашего друга Солодовникова?

— А тебе на что? — исподлобья глянул крутолобый блондин. — Вот стукну по шее, чтоб не подслушивал.

— Да брось... — миролюбиво предложил я. — Если Юрий — значит, он и мне нужен. Юрий?

— Предположим... Что дальше?

— А то, что он мой земляк. Понял? Мне его надо найти обязательно. Сегодня же. Где он?

— Земляк? Чего же ты сразу не сказал? — приветливо улыбнулся второй парнишка. Где-то здесь. Та разве ж найдешь в этой каше? — Он оглянулся вокруг, пожал беспомощно плечами.

— Приходи вечером в 18-й блок, — подхватил блондин.

— Ну вот, так-то лучше.

Вечером я пришел в 18-й блок. В нем тоже были размещены русские и среди них — немного иностранцев.

На пороге встретился Мюллер.

— Ты зачем сюда?

— Да так, гуляю.

— На чужом блоке? А по шее не заработаешь?

— Не знаю, — ответил я не совсем уверенно. —

Может, и обойдется.

— Ищешь кого-нибудь?

— Друга.

— Друга?! Ха-ха-ха, — коротко хохотнул Мюллер. — Друг — такая же редкость, как чистой воды алмаз. Здесь сплошные подделки. Вместо алмазов — блестящие стекляшки, вместе друзей — попутчики до первого полицейского. — Он хлопнул меня по плечу. — Ну ладно, идем искать. Как его зовут?

— Солодовников.

— Юрка? Знаю. Хороший мальчик.

Наступили вечерние сумерки. Над проволокой зажегся ряд ярких огней, на земле переплелись косые полосы света из окон.

— Этот? — спросил Мюллер, подталкивая ко мне невысокого парня. — Узнаешь?

— Он самый. Спасибо, Мюллер. Привет, Юра.

— Привет.

Не сговариваясь, разом повернули на Лагерштрассе. В вечерние часы здесьлюдно, даже тесно.

— Кто вы? — спросил Юра.

— Не узнаешь?

— Нет.

— И неудивительно. Ты ведь моложе, и в школах разных учились. А я вот смотрю на тебя, а вижу мать — до того вы похожи.

— Я рад. Я очень рад. И неправда, что я вас не знаю. Я просто забыл, а сейчас уже вспомнил.

Мы вспомнили родных, множество общих знакомых — что может быть приятнее на чужбине?

Юра был очень взволнован. В глазах его блестели слезы. Он крепко-крепко сжал мою руку выше локтя и с чудесной юношеской непосредственностью предложил:

— Давай теперь не разлучаться, жить вместе?



— Это же замечательно, Юра. Для этого я тебя и разыскивал. Но как устроить?

— Я попрошу Мюллера. Он сделает.

3

Нога болела ужасно. Посредине подошвы вздулся нарыв, зелено-фиолетовый, как недозревшая слива. Ходить было уже невозможно: наступать одинаково больно что на пальцы, что на пятку. Оставаться в лагере — опасно, пойти в лазарет — еще опаснее.

Припрыгивая, опираясь на кусок неструганой рейки, я потащился на работу. По пути получил от конвоира несколько тычков прикладом. Отстающих всегда бьют.

День выдался тяжелый. Работать я не мог — боль грызла ногу: в мастерской без всякого повода вдруг вспыхнула ссора, и после нее все сердито сопели, уткнувшись в работу. В завершение перед обеденным звонком пришел Мюллер, сердитый как черт.

— Идем! — кивнул мне. — Приготовь морду.

В кабинете метался Ратингер. Руки за спиной, полы халата развевались, открывали замшевые короткие штанишки и толстые волосатые ноги. Проходя мимо, он пнул ногой табуретку с такой силой, что она, кувыркнувшись в воздухе, гулко ударилась о стену.

— К черту! — Он подлетел ко мне. — Почему скрыл, что ты офицер? Почему, сволочь?

Я сразу оглох от тугого удара.

— Отвечай здесь за каждого идиота. Ваша протекция, Мюллер! Вы понимаете, что это значит? Фарфоровая фабрика господина Гиммлера — и в ней работает большевистский офицер! Анекдот! Гнусный анекдот!

Мюллер стоял в стороне, бросал на меня злые взгляды.

— Чтобы духу его здесь не было! Убирайся! Убирайтесь оба. Вон! — Профессор, коротко взмахнув, дал мне в челюсть. Больно ударившись о косяк, я вылетел за дверь. Следом выскочил Мюллер.

На следующий день меня на работу не взяли.

Кристиан замкнул меня в спальне, и до возвращения команд с работы время прошло благополучно, если не считать того, что лицо заплыло синяком, а нарыв все еще не мог прорваться сквозь толстую кожу подошвы. Она глянцево блестела, натянулась, кровь прилиwała толчками, словно сердце из груди перескочило в ногу и там пульсировало болью.

Кристиан наточил на голыше небольшой ножик, прокалил его, примерялся резать, но в самый последний момент отступил:

— Не могу. Чужое тело не могу резать.

— Тысячи людей погибли на твоих глазах, а этот пустяк разрезать не можешь?

Кристиан ничего не ответил. Он только посмотрел на меня долгим взглядом своих тоскующих глаз и поковылял прочь. Потом, приоткрыв дверь, крикнул:

— До завтра прорвет!

Но не прорвало.

Утром после проверки я еле доковылял до блока и сразу же напоролся на эсэсовца из службы труда. Он стоял на блокштрассе и, видимо заметив меня издали, поджидал.

— Подойди, подойди, — поманил он пальцем. — Что с ногой? — В вопросе не было зла, скорее даже участие.

— Нарыв, господин ротенфюрер.

— Покажи! — Он слегка изогнулся, будто в самом деле заинтересованный.

Стоя на одной ноге, я вывернул ступню второйверху подошвой.

— Так, так, хорошо...

Ошеломляющий удар снизу в челюсть бросил меня на гранитный бордю́р цветниковой полосы у противоположного блока.

Сквозь дурманную муть я увидел, как эсэсовец потянулся рукой к пистолету. Что-то холодное кольнуло в сердце и тут же растаяло, прокатилось горячей волной и схлынуло: рука поправила кобуру, эсэсовец пошагал дальше, даже не взглянув в мою сторону.

С трудом я поднялся. В голове гудело, саднило

разбитое о бордюр плечо. Выглянув из штубы, ко мне зашел Кристиан. Я сделал шаг навстречу и неожиданно для себя рассмеялся, обрадовался: боли в ноге больше не было — нарыв прорвался.

— Не было бы счастья, так несчастье помогло. — Кристиан улыбнулся множеством морщинок болезненного лица. Он заботливо поддерживал меня под руку, хоть и сам двигался с грузом, медленно представляя изувеченные палачами ноги.

Когда человеку приходится трудно, он живет надеждой на лучшее, часто создает ее искусственно и сам же в нее верит до последних секунд жизни. Без веры в лучшее жить невозможно.

Каждый день приносил новости. Жизнь не стояла на месте. Немцев били повсюду. В лагерь прорывалась самая свежая информация, с поразительной быстротой растекалась среди заключенных. Рядом с нею ползли упорные страшные слухи о знаменитом гитлеровском обещании «хлопнуть дверь».

Положение было напряженным, доходили вести о массовых уничтожениях военнопленных в других лагерях, оказавшихся близкими к фронту. Но дни проходили, и то, что недавно казалось ужасным, становилось обыденным. Люди привыкли ко всему, даже к постоянному страху смерти и, перестав бояться, оживали, вновь становились теми, чем были до Дахау, только осторожными, собранными, как юноши, вдруг ставшие взрослыми. И чем внимательнее я присматривался, тем крепче росла во мне уверенность, что и здесь существует организация военнопленных.

В бане вместо гориллоподобного бандита теперь работал член БСВ Слава Вечтомов. Он первым из заключенных встречал новичков, узнавал новости с воли, предупреждал однодельцев о ходе следствия — выполнял рискованную, очень нужную работу.

В дезкамере работали трое наших офицеров-подпольщиков. Они доставали теплое белье, свитеры, гражданскую одежду. Часть из этого шла в носку,

часть обменивалась на продукты питания, идущие на поддержку истощенных, больных людей.

В кибелькоманде старшим был моряк-севастополец Николай — фигура примечательная и единственная в лагере. Атлетическим телосложением он выделялся из тысяч заключенных, и поэтому его избрал для своих опытов начальник лазарета доктор медицины Рашер. Николаю четыре раза замораживали и четыре раза могучий организм возвращался к жизни, воскресал из мертвых. За эти опыты Николаю, в виде особой милости, разрешили носить прическу.

Его друг Алексей работал на кухне. С каждым рейсом он ставил на платформу два-три лишних кибеля баланды, а Николай доставлял их в лазарет и другие места, где остро нуждались в помощи.

В лагерной канцелярии чья-то верная рука переставляла наши карточки в нужные команды. Борьба за жизнь людей шла незаметная внешне, без убийств и взрывов, но повседневная, упорная и опасная, зато эффективная.

Постепенно стал обрастать друзьями и я. Кроме Юры, моим соседом по койке оказался Виктор Нержинский, необычайно живой, общительный добряк из числа тех, которых несчастья не ломали, а делали гибкими, способными пролезать в иголье ушко.

— Что? — спрашивал он. — Думаешь, мы умрем? Ни черта не будет до самой смерти! — Весело сверкал глазами и ласково трепал Юру за шиворот своей изуродованной рукой. — Не дрейфь, я и сам дрожу!

Но он не дрожал, а шел по жизни вперед, не оглядываясь на пережитое. Только вспоминая о доме, мрачнел, уединялся. Однажды ночью я слышал, как он плакал, обернув голову одеялом.

В обиходе заключенных были лагерные марки — разноцветные разные по достоинству бумажки с красными треугольниками. На марки один раз в месяц продавали сигареты из расчета одна штука на сутки.

Как-то раз, придя с работы, мы были приятно

поражены: продавали по пол-литра снятого голубоватого молока. Продавал его кантинер, розовощекий, голубоглазый, с припухшими по-детски красными губами. Долго мы к нему присматривались: что за гусь?

Потом оказалось, что этот диковинно свежий, почти цветущий военнопленный — капитан Красной Армии, у него несколько побегов, смелых до дерзости. В тюрьмах его били, бросали в карцер, но он выживал, природа снова заботливо возвращала ему счастливую внешность.

Звали его Николай Малейн.

Мы уже сжились достаточно, когда в штубе появился высокий, кряжистый человек. Он был уже далеко не молод, медлителен в движениях, скуп на слова.

Когда проходил в толчее по штубе, молодежь уважительно уступала ему дорогу. Это полковник Породенко Владимир Сергеевич. В первые дни войны он командовал танковой дивизией в пограничной зоне. Немцы прорвались стороной, отрезали тылы. Без горючего и снарядов окруженная дивизия дралась врукопашную с остервенело атакующими фашистами. Когда было все кончено, немцы забрали в плен несколько десятков людей и в их числе раненого командира дивизии полковника Породенко. В госпитале, лагерях и тюрьмах к нему приставали власовцы, агитировали на свою службу немцы. Его били, пытали, но полковник оставался тверд и ни пыткам, ни соблазнам не поддавался. За это он угодил в Дахау с недвусмысленным напутствием: «Иди, иди, там тебя научат свободу любить!» И учили. Но он выжил и здесь, будто издеваясь над своими палачами.

Вот этой пятеркой мы и жили, делясь каждым ломтиком хлеба, согревали друг друга своим теплом.

#### 4

Открылся долгожданный второй фронт: союзники высадились на севере Франции. Приканчивать фашизм они не спешили, воевали с прохладцей. Что

им было за дело до того, что каждый день гибли тысячи людей?

Однако бомбили союзники довольно регулярно. Небо над Германией то здесь, то там кудрявилось облачками разрывов зенитных снарядов, воздух рвали душераздирающие вопли сирен, земля содрогалась от бомбовых ударов. Немцы, как кроты, зарывались в землю, рассредоточивали цехи заводов по жилым домам. Фирма «Мессершмитт» одну из своих бесчисленных мастерских поместила в лагере Дахау, в блоке за лагерной канцелярией. Маскировка удачная: лагерь бомбить не будут, рабочая сила всегда на месте.

Комендант лагеря приказал нам копать зигзагообразные щели. Но едва мы выкопали щели глубиной по пояс — работу прекратили: лопаты наткались на человеческие кости...

В нашей группке все мало-мальски определились. Юра Солодовников работал электромонтером и меня после изгнания из фарфоровой фабрики сумел устроить в свою команду. Я тоже стал электриком, хотя всю жизнь боялся этого больно бьющего по рукам вида энергии и прежде притрагивался только к выключателю.

Вскоре инженер Апель, наш гражданский начальник, узнав, что я рисую, заказал портрет юноши. Когда я принес портрет, Апель украдкой смахнул слезу:

— Убили сына... А старуха все ожидает...

Вечером, когда мы принесли в мастерскую инструменты, Апель спросил:

— Вы умеете чертить?

Наученный горьким опытом, я уклончиво ответил:

— Совсем немного.

— Большого и не надо. До меня затеряли чертежи освещения почти всех лагерных зданий. Будете ходить, зарисовывать где что есть, а потом нанесете на синьки. Идет? — Он лукаво заглянул мне в глаза. — До конца войны хватит.

За мастерской электриков была небольшая комната с зарешеченным окном. Окно близоруко упи-

ралось в кирпичную стену крематория, над которой голубела полоска неба. Иногда она застигалась смрадной копотью, вылетающей из короткой трубы и оседавшей на землю.

В комнате два конторских стола и чертежная доска. За одним столом, пузатым, бюрократическим, сидел пан Корек, за другим я «обрабатывал свои чертежи».

Исподволь подкралась осень. На работу мы выходили как только рассветало. А приходили с работы в тот час, когда в лагерь, как в огромную лохань, вливались сумерки. Вокруг выжидающе переминалась ночь, будто боялась навалиться на колючие жала огней, и от этого натужно синела. Потом, решившись, падала на землю.

Полосатая колонна, составленная из многих команд, втягивалась в браму. Впереди обыскивали. Колонна двигалась толчками, точно тело огромной змеи, устало вытянувшейся на влажном асфальте.

За брамой, не нарушая строя, прошли Апельплац, на повороте нам скомандовали разойтись. Некоторое время по инерции мы шли еще вместе, потом, как клякса на промокашке, команда растеклась, и, наконец, строй распался.

Перед воротами фирмы «Мессершмитт» я увидел толпу. На воротах, освещенный рефлекторами, еще дергался в петле человек. Он слегка раскачивался, а внизу стоял капо крематория Эмиль, прозванный Вешателем. Он подмигивал, перекачивал губами сигарету.

Лицо повешенного мне показалось знакомым. Сердце залилось тревогой — угадало раньше рассудка. Я растолкал придавленных молчанием людей, продвинулся ближе и еле задавил в себе крик. На воротах висел Олег. Смерть подсинила его лицо, под полузакрытыми веками кругло выпирали глазные яблоки, между набрякшими губами высунулся язык. Лицо чужое и страшное. Но все же это был он, мой друг, добрый и порывистый, немного суматошный Олег Осипов.

«Прощай, Олег, прощай, друг...»

Я даже не подозревал, что и он в этом лагере. Мы затерялись в толчее пленных, и кто знает: встретиться мы здесь раньше, может, не было бы этой смерти. Может быть, я смог бы предостеречь Олега, не допустить до такой трагической развязки.

Через некоторое время тело его сняли, взвалили на носилки. Разошлась толпа.

Я бросился на койку и лежал без движения долго-долго. Сердце надорванно билось, мучилось, тосковало по загубленной молодой жизни.

Спустя несколько дней я узнал, что погубило Олега. Он работал в мастерской «Мессершмитт» около года. Обязанности его были не сложны: к промежуточному кабелю припаивал соединительные муфты. Каждая жила кабеля имела свое точное место на муфте. Олег эти места путал. В самолетах путалась сигнализация. Стрелки приборов пускались в дурную пляску. Олега поймали и через два дня повесили. В петлю тащили его волоком: после пыток у него отнялись ноги.

Прошло несколько дней.

Однажды дверь моей рабочей клетушки неслышно отворилась, и в проеме, уцепившись в косяки руками, обвис лейтенант-севастополец Самусев. Глаза его блуждали, мне сразу подумалось: «Пьян». — Выйди на час, — бросил он мне.

Корек удивленно поднял лысый шар головы. Я вышел и, глянув в упор на Самусева, почувствовал недоброе: сквозь загар проступила мертвенная бледность, на виске потерянно пульсировала голубая жилка — хрупкая, жалкая узловатая ниточка.

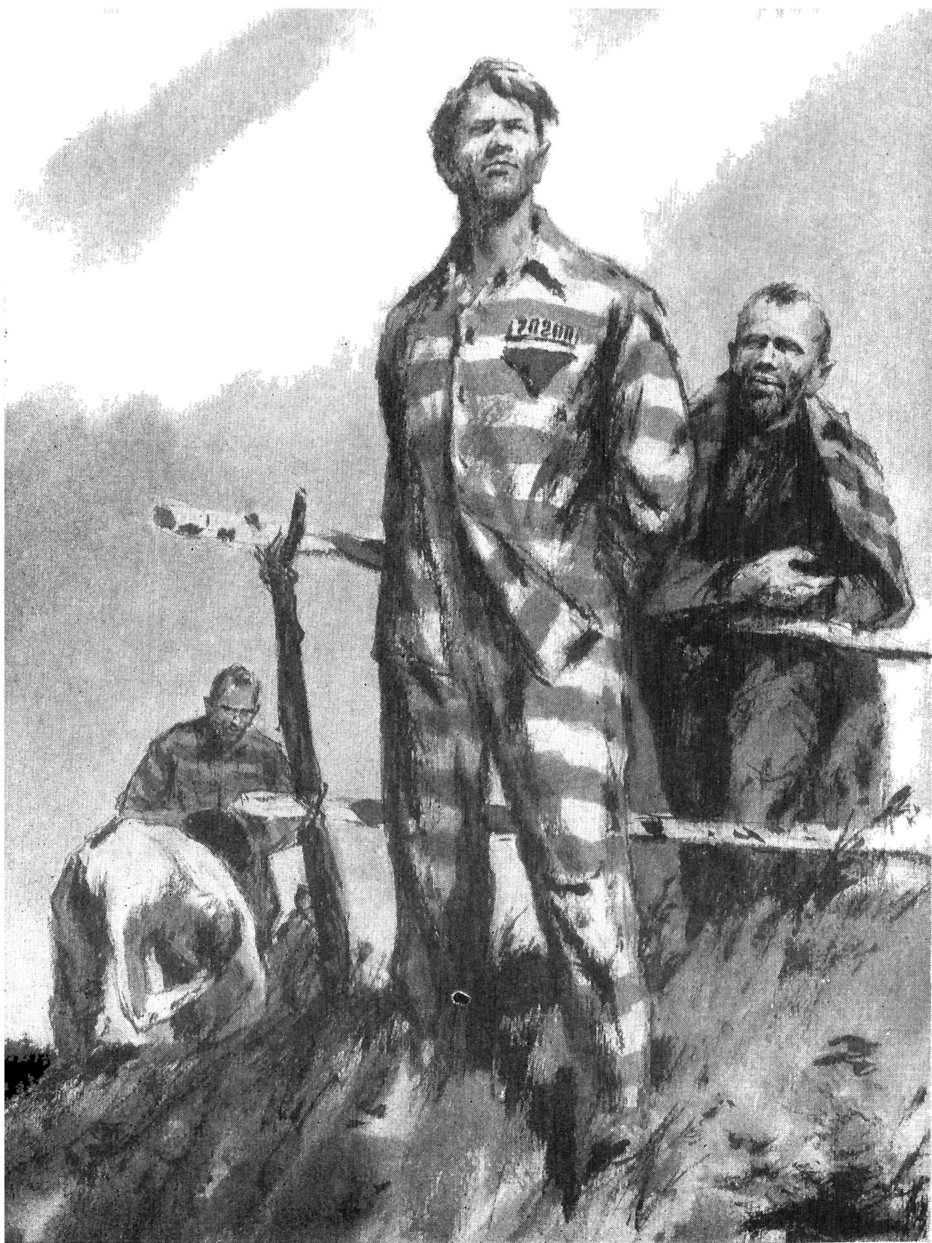
— Распыляют наших. — Он повернул к крематорию голову. — Слышишь?

За забором глухо прострочил автомат, еще раз, еще... и все стихло.

— Идем! — потянул меня к складу Самусев. — Идем же!

Широкая, как в гараже, складская дверь была полуоткрыта. Мы проскользнули в ее широкий зев, по куче каких-то тюков взобрались под крышу — выше





Кончился плен!

(к стр. 280)

стены, огораживающей крематорий. Самусев чуть приподнял черепицу. Стал виден двор. Внутри него было еще не все кончено. На площадке, перед приземистой коробкой крематория, стояли люди. Их было человек тридцать, голых, худых, бледных до синевы. Вокруг них толпился многочисленный конвой. Через небольшие промежутки времени конвойные выхватывали обреченных, выталкивали на узкую дорожку, ведущую к стене. Дорожка посыпана отборным песком, светлым, как заходящее солнце. По сторонам ее темнела низкая стриженная зелень кустов. Обреченные шли по этой дорожке смерти мужественно, гордо, с «Интернационалом».

Так погибли за один день 93 советских офицера — настоящих, мужественных людей, не прекративших борьбы даже перед лицом смерти.

Это было 4 сентября 1944 года. День выдался погожий, мягкий, чуть задумчивый. После развода команд на работу из 27-го и 30-го блоков строем вывели осужденных. Перед брамой их оцепил конвой, тесный, многочисленный, нацеливший автоматы в безоружных людей, измученных допросами и ожиданием смерти.

— Мютцен аб!

Шапки сняли. Комендант лагеря оберштурмбанфюрер Юнг, раскрыв тонкую коричневую папку, зачитал распоряжение имперской службы безопасности: нижепоименованных 93-х расстрелять.

Прозвучала команда, строй повернулся, двинулся, не надевая шапок, к выходу. Под брамой кто-то зашел «Интернационал». Все подхватили.

Их вели на казнь в крематорий. Последний путь будто нарочно пролег вдоль проволочного ограждения — последние сотни шагов они проделали на виду у всего лагеря.

Свободных от работы заключенных позагоняли в блоки, но они выглядывали в окна, жестами и взглядами провожали товарищей и от бессилия плакали.

Вновь, как в страшные июльские дни, над лагерем повисла скорбь.

Нас разделяли столы. Сытая физиономия Корека, досиня выбритая, лоснилась здоровой кожей. На щеках и подбородке — ямочки. Глаза черные, ресницы пушистые; правильной формы лысый череп блестит; за ушами, как меховая опушка, чернели волосы. Но он не стар, ему едва перевалило за тридцать. Под полосатой робой — не простой, а суконной — шелковое белье, ботинки на толстой каучуковой подошве, под курткой пушистый норвежский свитер. Лагерный паек он почти не ел — продавал. Из дома получал еженедельно пудовые посылки, но был скуп невероятно.

Я сидел за своим столом напротив и смотрел на Корека, на его возню в карточках. Взгляд мой, вероятно, был не из приятных. Корека его чувствовал, вскидывал голову, пожимал плечами, снова нагибался над столом.

— Что ты на меня так смотришь? — не выдержал Корека. — Ты, наконец, скажешь, что значат твои зверские взгляды?

— Так... Ничего особенного. Просто наблюдаю.

— Хм! — Корека скорчил гримасу, полуироническую, полупрезрительную.

Гримаса удалась ему плохо. Получилось что-то кислое, и, почувствовав это, он низко нагнулся над выдвинутым ящиком, вынул несколько разнокалиберных флаконов, стал извлекать из них драже с витаминами. Сосал их, чмокая чувственными губами.

Я его ненавидел, презирал и не скрывал своих чувств. Корека еще храбрился, делал вид, что ему безразлично мое соседство. Но он трус, он уже сдался. Я только выжидал время, чтобы прижать его в темном углу и не выпустить живым.

Мне рассказал Юрий, как однажды, год назад, среди ночи в барак влетели эсэсовцы.

— Подъем! Подъем!

Замелькали, засвистели дубинки. По блоку вместе с полицаями остервенело метался пан Корека, бил плеча короткой резиновой палкой.

— Эй, быдло, строиться! Русские свиньи, пся кров!

Построили, наскоро пересчитали, погнали в лазарет. В приемной поперек комнаты выстроился ряд тумбочек. У каждой орудовал человек в белом халате. Заключенные испуганно жались, подставляли спины. Больно жалила игла, вздувалась твердая шишка. Избежать укола было невозможно: шныряли эсэсовцы, били рукоятками пистолетов.

После уколов утром пленные не поднялись. К вечеру они умерли, тихо, без болей и криков.

Всю ночь курсировала автоплатформа — на ней вывозили трупы.

Это было год назад. А недавно меня остановил на Лагерштрассе Тадик Моравинский — польский художник, с которым я работал на фарфоровой фабрике.

— Ты работаешь с Кореком?

— Да.

— А ты знаешь, что это за тип?

— Да, немного знаю... Ты хотел рассказать о нем?

— Затем и искал. Пройдемся, — пригласил он. — Может, найдется порядочный человек убить предателя...

Корек — горный инженер из Катовиц, директор рудника. Человек прижимистый, злобный, умеющий прятать под маской светского воспитания истинные чувства. Приход немцев он встретил враждебно: из хозяина он становился лицом подчиненным. Однако свою враждебность сумел спрятать. Перед новыми хозяевами выслуживался, лез из кожи. Но все же не удержался, где-то что-то сказал. На него донесли, упрятали за решетку. Это совпало с порой наивысшего успеха немцев на Восточном фронте. Корек уверовал в несокрушимую мощь фашизма и из поляка стал рейхсдейчем, то есть немецким гражданином. Но мало убрать с треугольника букву «П», надо было делом доказать свою преданность гитлеровцам. И Корек доказывал ее ценою жизней многих поляков, брошенных в крематорий по его доносу. Когда же Восточный фронт повернул вспягь и победа

все убедительнее переходила на сторону русских, Корек притих. Он вдруг проникся уважением к русским заключенным и затем на своем красном треугольнике вывел химическим карандашом жирную букву «П» — поляк. Корек с наигранным азартом заговорил о русских победах, а в глазах притаился загнанный зверек.

Я сидел напротив пана Корека и, не сводя с него пристального взгляда, жег его своею ненавистью. Не поднимая головы, он ерзал на стуле, перебирал тонкими пальцами карточки.

Мы уже не могли разговаривать нормально — только на предельно повышенных тонах. Наша взаимная ненависть выплескивалась в каждом слове. Корек зажигался бешенством. Брызжа слюной, кричал, что «каждый живет так, как считает удобным», и он не позволит каждой сволочи лезть в его жизнь. Он уберет меня с пути.

Я сохранял видимое спокойствие, но однажды, подойдя к нему вплотную, процедил, не разжимая зубов:

— Запомни, пан Корек, если со мной что-нибудь случится, — тебя раздергают по нитке. Понял? — Я смотрел в самое дно его глаз. — Даже если не по твоей вине... Слышишь ты, собака?

Последние слова я выдавил из себя через силу — бешенство перехватило горло.

И с этого дня Корек переломился, сдался, трусливо глядел по сторонам, как затравленная собака. Смерть в лагере стала делом обычным, а Кореку, видимо, очень не хотелось умирать.

Задолго до подъема в блоке началось столпотворение. Бегали полицаи. Блоковой, зажав в кулаке буктовую колодку, колотил всех, кто подвернется под руку, выталкивал из себя залпы ругательств. Ему вторили штурбовые.

Нас построили. Длинная колонна вытянулась на Лагерштрассе и стала вползать в двери бани.

— Все, каюк! — кто-то бросил потерянно, со слезами в голосе. — Загазуют.

Конвойные сзади остервенело лупили по спицам дубинками, вталкивали оробевших людей в баню.

Огромный зал перегородили раскоряченные арки, отделяя моечную от раздевальни. По одну сторону аркады выстроился длинный ряд вешалок, по другую с потолка свесились трубы, опустив на длинных шеях дырчатые пузыри леек.

Тысяча двести человек усердием полицаев построена вдоль длинной стены бани. Кое-где вспыхивало тревожное перешептывание. С потолка срывались набухшие капли, гулко шлепались на бетонный пол. Первый страх прошел.

Перед строем стояли двое парнишек, совсем еще юные, почти мальчики. На груди у каждого висели дощечки с надписью «вор», худенькие шеи захлестнули петли, концы веревок, перекинутые через трубу, свисали над головами юношей разлохмаченными концами. По лицу одного из них сползали крупные слезы.

Мы стояли, напряжив ноги, минут двадцать.

Пришел старшина лагеря дядя Володя. Блестя золотом коронок, он перебрасывался с начальником лагерной полиции плоскими шуточками. Пришел кто-то из лагерного начальства, скучающе расхаживал, как маятник, туда-сюда. В сторонке стоял врач в косе наброшенном поверх полосатой робы халате.

Последним пришел капо крематория Эмиль Вешатель. Прищурившись, посмотрел на лампочки под прозрачными колпаками, покачал головой, будто был недоволен тусклым красноватым светом. Вешатель подтащил к ногам осужденных ящики, изогнулся перед ними в издевательском приглашающем жесте. Один паренек, закусив обескровленные губы, твердо встал на ящик. Другой плакал, дико косил на ящик глазами, пытаясь отойти от него возможно дальше. Эмиль потянул за конец веревки, петля стянулась, парень всхлипнул, задохнувшись, вскочил на ящик, завертел головой, стараясь расширить петлю. Но не успел. Эмиль быстро закрепил конец, выбил ящик. Ноги повисли в воздухе, выбивая неслышную четку смерти. Второй юноша успел крикнуть придушенно и тоскливо:

— Прощайте...

Эмиль перекачивал во рту сигарету, прошаживался, изредка поглядывая на повешенных.

Врач констатировал смерть. Разошлись узлы, тела глухо упали на бетон, застыли, словно ребята уснули в неестественных, изломанных позах.

Дядя Володя долго мямлил о дисциплине, послушании и грехе воровства. Парадокс: бандит читал нам наставление о вреде воровства для общества и наказаниях.

— Вам понятно? — спросил он в заключение, ощерив рот.

Никто ничего не ответил.

— Старшина, выводите на поверку!

Над лагерем чуть брезжил рассвет. В бане, плотно прижавшись к сырому бетону, лежали русские пареньки, погибшие на пороге жизни. Причиной гибели стала пара подметок, взятых ими для ремонта истоптанных башмаков.

На работе я все рассказал Кореку. Он слушал внимательно, не поднимая от стола головы, и, когда взглядывал на меня, глаза юлили, не могли остановиться.

— Не ты ли опять донес? — жестко спросил я его.

Корек побагровел и, выскочив из-за стола, в сердцах грохнул дверь. От наличника отскочили кусочки штукатурки.



## Глава XII

### 1

**Н**аклонив ко мне большую шишковатую голову, полковник Породенко предложил:  
— Идем пройдемся.

Ветер злился, рвал в клочья промозглую серую мглу, забивался под одежду, обволакивал холодом. Мы побродили по Лагерштрассе, затем вошли в 14-й блок. Породенко уверенно прошел через штубу в дальний угол, нагнулся к нижним койкам и чуть погода еле заметно кивнул мне: «Иди сюда».



На смежных кроватях играли в карты несколько человек, тихо переговаривались между собой. Они потеснились, дали нам место, сдвинули ближе головы.

Говорил генерал Тонконогов, пожилой человек, коренастый, черный, седеющий.

— Безусловно, фашисты постараются разделиться с той частью заключенных, которых считают для себя опасными. К такой категории они причисляют в первую очередь наших коммунистов. Но мы ведь не будем ждать, сидеть сложа руки. Мы должны и будем бороться!

Почти всех собравшихся я знал по фамилиям или кличкам.

Чуть ближе ко мне сидел Панов, рядом — молоденький лейтенант Женя Ремизов — связной Тонконогова. Он уже несколько раз подходил ко мне раньше, заговаривал о том, о сем, но приступить к основному разговору не решался. Сидели еще двое — этих я знал только в лицо.

Разговор не занял много времени. Тонконогов излагал свои мысли просто, конкретно и предельно ясно, все было тщательно продумано, подготовлено заранее до мелочей. Меня и Породенко генерал немного задержал.

— Для того чтобы узнать человека, говорят, надо с ним пуд соли съесть. Владимир Сергеевич утверждает, что с вами он его съел. — Генерал улыбнулся, прищурился, помолодел — Надо подготавливать крепких людей, по возможности из числа наших офицеров, коммунистов и комсомольцев. Из них мы соберем ударный кулак. Но сейчас надо только подбирать, прощупывать и ничего больше. Никаких поручений. Есть у вас на примете надежные люди?

— Пока немного, но есть.

— Вот с них и начните.

— Есть!

— Ну, это вы уж совсем по-военному, — генерал снова улыбнулся, встал. — Пока еще рано.

Я проводил его и Породенко на Лагерштрассе.

В толпе от них отселился, несколько раз прошелся, продумывая все услышанное от Тонконогова.

Породенко не было долго. Он пришел в барак поздно — перед самым отбоем.

Мы шли на работу. На железнодорожных путях перед лагерем стоял длинный состав тюремных вагонов. В решетки окон вплетались худые пальцы, лихорадочным огнем горели глаза — жгучие, огромные, тоскующие. В вагонах стонали, кричали, плакали.

— Кушать... Ку-уша-а-ать...

— Господин часовой, глоточек воды, умоляю... О-о-о...

«Господа» оцепили эшелон, размеренно вышагивали вдоль вагонов, иногда тыкали в окна рыльцами автоматов. Тогда люди за решетками исчезали, видимо наученные горьким опытом: на стенах вагонов виднелись пулевые пробоины.

Мы прошли мимо, но еще долго слышали страдающие голоса из вагонов и вспоминали собственные муки во время многочисленных переездов из лагеря в лагерь.

На работе ко мне подошел начальник конвоя старик Цеппельзак — бывший кавалерийский вахмистр, призван в войска СС совсем недавно из числа снятых с военного учета. На унтер-офицерских погонах белели три звездочки — гауптшарфюрер, — спина старика согнута, шинель висела мешком, пилотка неловко прижала свалывшиеся седые волосы.

— Транспорт из Венгрии, — он кивнул головой в сторону эшелона. — Подумайте: из Венгрии! Что там, тюрем нет? — Цеппельзак привычно подхватил нижней губой длинный желтоватый ус, втянул его в рот. Глазами, прищурившись, нацелился на меня.

Я уже привык к Цеппельзаку, знал, что он искренне ненавидел фашизм, часто вспоминал погибших сыновей и тогда, спрятавшись за моей доской, сморкался в скомканную грязную тряпочку.

— Наверное, нет...

— Ерунда! Этого добра везде хватает. В Венгрии уже русские! Мы ее потеряли, драпаем. И этих несчастных тянем за собой. А куда?

— Ближе к смерти.

— Да, именно ближе к смерти.

Он ушел неожиданно, как и появился. Это его манера разговаривать.

Мимо эшелона из Венгрии мы ходили целую неделю. Вокруг него регулярно менялся конвой. Крики и стоны внутри вагонов постепенно ослабевали. Однажды в конвое эшелона оказался и Цеппельзак. Когда мы проходили, он устало сидел на ступеньках вагона. Мы встретились взглядами. Старик отвел глаза, беспомощно развел руками: «Что же я могу поделывать?»

Потом крики в вагонах прекратились совсем.

Ночью по лагерю передали какую-то команду.

Чуткий Кристиан услышал ее, растолкал Маленна.

— Николай, Николай, работа...

Николай сонно потянулся, вдруг проснувшись совсем, быстро натянул робу. Кое-как зашнуровав ботинки, чертыхаясь, ушел.

Территория, занятая фашистскими войсками, сокращалась неумолимо, как шагреневая кожа. Уже был занят Бухарест, освобождены София, Белград. Завершалось окружение Будапешта.

С запада шли союзники. В Дахау все чаще стали прибывать эшелоны заключенных из лагерей, оказавшихся в непосредственной близости к фронту. Эшелоны возили долго — неделями. И когда привозили в Дахау — половина людей были мертвы, а остальные имели ровно столько сил, чтобы дойти до крематория. Но случалось и так, что в вагонах живых не оставалось, трупы успевали разложиться и, несмотря на зиму, распространяли вокруг тяжелую вонь.

С осени начали работать «Тодтранспорты». Большой автомобильный прицеп нагружали трупами, вручную отвозили в крематорий, сбрасывали, возвращались за новой партией необычного груза. Работали преимущественно ночами.

Малеин возил трупы уже месяца два. Он похудел, осунулся, внешне стал походить на задерганного

жизнью старика. Во сне его мучили кошмары. Он метался, бредил, от кого-то удирал. Спать рядом было мучительно. К тому же он провонял трупами так, будто и сам уже гнил, разлагался заживо. Однажды Николай вернулся незадолго до подъема. Он сел на койке, устало сложил на коленях руки, тупо уставился пустыми глазами в пространство впереди себя. Заметив, что я не сплю, проговорил придушенно:

— С ума сойду... Трупы, трупы, без конца трупы... Проснулся Породенко.

— Что, Коля, тех возили? — он кивнул в сторону брамы.

— Да, тех. Из Будапешта. Одиннадцать суток их продержали в вагонах. Только четырех живых нашли, а было больше тысячи. Хватаешь клещами, а они разлазятся, как гнилая мочалка. Страшно... — Он не договорил, повалился ничком на койку, глухо застонал.

Породенко тяжело вздохнул, молча повернулся на бок.

Вскоре прозвучал подъем.

## 2

Прошло почти полгода в Дахау. На номера вновь прибывающих лагерная канцелярия разменяла сто двадцатую тысячу. После меня в лагерь угодило пятьдесят тысяч человек. Но людей в лагере не прибавилось. Где же они?..

Длинный ансамбль приземистых построек — баня, кухня и склады — встал поперек лагеря, оторвал от его площади узкий продолговатый кусок. На нем жили своей замкнутой напряженной жизнью еще два лагеря спецназначения. В одном содержались особо важные заключенные. Говорили, что видели среди них Леона Блюма, называли еще ряд звучных фамилий, известных чуть ли не всему миру. Говорили даже, что когда-то там содержался Тельман, но, сколько я ни спрашивал, его никто не видел. Дру-

гой лагерь служил последним прибежищем дезертирам из СС, как бы конечной станцией на извилистой жизненной колее. За нею все обрывалось, время переставало отстукивать быстротечные секунды. И эту кратковременную остановку комендант превратил в сущий ад как бы для того, чтобы, познав ад на земле, не боялись попасть в него на том свете.

Как только уходили из лагеря команды, из-за угла склада на площадь перед баней с песней выходил взвод дезертиров.

— О-о-о-й-ли, ой-лу, ой-ла.

Звенели в воздухе бессмысленные слова; строевой шаг: носок оттянут; взмах руки назад до отказа. Четко, красиво. Только лица людей бледны, до прозелени опухшие, в синяках.

И начиналось:

— Ложись! Вперед! Встать! Ложись! Вперед!

Проходил час, второй...

Половину из них уже не могли поднять ни дубина «инструктора», ни ужас перед пистолетным зрачком. Тогда «занятия» прекращались, упавших вытаскивали за тяжелые ворота. За ними гулко барабанила автоматная очередь.

А иногда, когда подмораживало, с ними расправлялись иначе: загоняли в небольшую бетонную загородку, приказывали раздеться в баню. Обмундирование аккуратно складывалось на платформу, увозилось в дезкамеру. На людей обрушивались мощные струи воды из пожарных брандспойтов. Редко кто выдерживал полчаса такой бани.

На Аппельплац, с той его стороны, где стоят раскрашенные, как шлагбаум, футбольные ворота, загнали партию новеньких, судя по костюмам, нахвтаных прямо с воли. Они перепуганы, бледны, измучены, но еще не потеряли человеческого облика. На многих приличные пальто, костюмы, шляпы, добротная обувь. С собой у них чемоданы, корзинки, саквояжи. Багаж зажимали между ног, ревниво косились друг на друга: «Как бы не стянули».

Не спеша новичков обрабатывали: составляли длинные списки, выдавали номера, сортировали, вы-

деляли в особые группы здоровых, сильных людей. Не видя пока что ничего страшного, новички немного приободрялись, стряхивали с себя чуткую настороженность, кое-где над головами закручивался голубой табачный дымок. Растерянные мысли собирались вокруг поговорки: «Не так страшен черт, как его малюют».

Потом ошеломляюще била по нервам команда:  
— Раздеться!

Как? На холоде? Ведь идет снег! Команду принимали за плохую шутку, недоумевали, некоторые даже возмутились.

Выждав одну-две минуты, эсэсовец повторял команду, бросал ее в толпу, как отточенную длинную пику:

— Аусциге-ен-н!

И вместе с командой на толпу бросались десятка два оголтелого двуногого зверья. Били, сдирали одежду, с кожей срывали кольца, часы, ударами кулака выбивали золотые зубы, припрятывали.

— Десять шагов вперед... марш!

На плацу оставался ручной багаж, приваленный сверху кучками одежды. Все это подбиралось споро-висто, быстро и исчезало в ненасытной утробе склада.

На фоне зимнего дня тела людей казались серо-желтыми, будто отлитыми из грязного воска. Они долго топтались на месте, отогревали босыми ногами замерзшую землю, дрожали, корчились, зябко приплясывали. Позже им швыряли по паре полосатого белья, строили, пересчитывали, выводили за ворота, кружным путем гнали в крематорий. И тогда не оставалось места сомнениям, надеждам. Все кончалось, едва закрывались створки железных ворот...

Уложенные в штабеля, трупы ожидали своей очереди вознестись к небу жирной вонючей копотью. А небо, будто подкрашенное разведенной сажой, роняло на землю снежинки. Они, плавно кружась, опускались вниз, все покрывали тонкой пушистой накидкой.

Карантин стал хроническим. Осенью появились случаи заболевания дизентерией. Этого было доста-

точно, чтобы карантин закрыли наглухо: туда—сколько угодно, оттуда — ни души. От рабочего лагеря его отделили надежным рядом проволоки. За общение с карантинном стали наказывать смертью. Эпидемия дизентерии распространялась по карантину с ужасающей быстротой, а когда стало холодно и люди совсем перестали выходить из блоков, к дизентерии присоединился сыпной тиф.

В узких дворах карантинных блоков вырастали правильные штабеля трупов. Мертвецов раздевали, складывали наперекрест, к большим пальцам ног привязывали картонные бирки с личными номерами. Из куч, точно из хворостяных полениц, уродливо тянулись окоченевшие руки, ноги — такие же худые, крючковатые, как сухостойный хворост.

И все эти люди до последней минуты верили, надеялись, что вдруг да минует их страшная участь.

Не мигая, с безмолвным укором глядели в небо остекленевшие глаза, и, будто усовестившись, низко плывущие тучи притрушивали их пушистым снегом.

А в карантин запирали новые партии заключенных, и он пережевывал их, проглатывал, как исполинский людоед, и крематорий чадил день и ночь, но не справлялся — трупы постепенно накапливались на широком дворе, терпеливо ожидали в длинной очереди.

Команду крематория набирали из штрафников. Их отлично кормили, давали вино, табак и даже приводили к ним женщин из лагерного дома терпимости. Но люди долго не выдерживали. Их меняли каждый месяц. Отработавших сжигали вновь прибывшие и принимались отсчитывать дни своего месяца, в адском труде ждали гибели.

Не менялся лишь капо Эмиль — лагерный палач. Его специальность ценилась начальством.

### 3

Конец войны приближался все явственнее, все ощутимее.

Бомбежки стали почти ежедневными. Если не бом-

били поблизости, то пролетали где-то стороной, и воздушные тревоги почти не прекращались. Из заключенных комплектовали бомбокоманды. Они собирали и взрывали неразорвавшиеся бомбы. Каждый день погибали целые команды вместе с конвоем и солдатами-подрывниками. Останки их даже не пытались собрать. Место взрыва иногда огораживали колючей проволокой.

С утра до самого вечера в высоком небе над лагерем проплывали серебристые косяки эскадрилий, наполняли воздух могучим уверенным гулом. А на юге от нас — там, где был город, — земля тяжело ворочалась, охала и стонала, и над нею вздымалось огромное облако черно-красного дыма. Наши бараки, за семнадцать километров от Мюнхена, вздрагивали, в окнах тонко звенели, лопались стекла.

Заключенные из бомбокоманд, вернувшись из города в лагерь через несколько дней, рассказывали страшные вещи.

Мюнхен-Нейштадт — часть города с широкими просторными улицами и особняками фашистских заправил — союзные летчики почему-то не тронули. Бомбили Старый город, где жил обычный рабочий и служащий люд, где было тесно, где в улочках едва разъезжались встречные автомобили. Дома валились друг на друга, словно картонные макеты, сплюсненные, сломанные, брошенные в мусор. Над ними вздымались тучи кирпичной пыли, пробивались язычки бледного среди дня пламени. В бушующем разрушительном вихре метались слабые фигурки людей, обезумевших от ужаса.

Из Дахау «освобождали» многих немцев и тут же, за воротами лагеря, переодевали в форму СС. Отказаться от такой «свободы» было равносильно самоубийству. Забрали в первую очередь «благонадежных» уголовников, потом подобрали и часть политзаключенных, отбывших сроки не менее пяти лет, — таких, видимо, считали «перевоспитанными». Призывали их спешно, обмундировывали и отправляли на Восток.

В те дни я встретил Юлиуса.



— Здорово, художник! Как жизнь?

Я обрадованно пожал его узловатую руку.

— Как в сказке: чем дальше — тем страшнее.

Юлиус рассмеялся:

— Это верно. Только смотря кому страшно, а нам надо радоваться. Слышал, нашего брата в СС забирают?

— Как же, слышал. Тебя не берут?

— Нет, ростом не вышел. — И перешел на серьезный тон. — Карла забрали, помнишь — парикмахер? Этот им навоюет. Да и вообще навоюют! Каждый идет и клянется удрать, как только окажется за проволокой. Вот это и называется конец...

Он оглянулся по сторонам, взял меня под локоть, увлек вперед по Лагерштрассе.

— Начальник лагеря получил приказ Гиммлера уничтожить опасных политзаключенных независимо от их подданства. Время и место уничтожения начальник лагеря должен выбрать самостоятельно, когда крах Германии окажется неизбежным. Ты это передай своим друзьям. Еще посмотрим, кто кого! — Юлиус подмигнул и, отделившись от меня, замешался в толпе.

Когда я передал услышанное Владимиру Сергеевичу, он мрачно улыбнулся:

— Зловещая новость. Надо что-то предпринять...

Породенко только ночевал в бараке. Я много раз встречал его на Лагерштрассе, и почти всегда с ним были иные люди. То генерал Тонконогов, то связной Женя, то незнакомые мне парни. Восстание, по словам Владимира Сергеевича, назревало. Я тоже не терял времени, подготовил человек двадцать крепких проверенных жизнью людей. Они знали только меня и, в свою очередь, подбирали, сколачивали небольшие группки.

В апреле, когда обстановка в лагере особенно накалилась, я осторожно переговорил со своими друзьями. На мой вопрос о готовности служить общему делу Солодовников взволнованно подался вперед и ломким от напряжения голосом твердо сказал:

— Я комсомолец. Мой долг быть впереди.

Николай Малеев ответил просто, как о чем-то само собой разумеющемся:

— Добро.

Нежинский даже возмутился:

— А что я, хуже других?

Еще один раз был я у генерала. Он говорил:

— Вряд ли нас станут косить из автоматов на месте, в лагере. Сегодня мне передали, что собираются совершить эту подлость в Альпах: есть у них на примете какое-то ущелье. Я считаю, что для восстания самое удобное время — как только нас выведут за проволоку.

По ночам с севера все слышнее доносилась канонада. Из Аугсбурга привезли новую команду заключенных, которые утверждали, что, задержись они там еще на день, теперь были бы на свободе. Глаза их горели, они радовались:

— Скоро! Остались считанные дни!

Работы прекратились, режим ослабел. Заключенные — кто имел силы — праздно расхаживали по лагерю, ходили из блока в блок, и, хотя знали, что над ними висит еще страшная опасность уничтожения, в них чувствовалась приподнятость, даже праздничность. Эсэсовцы в лагере перестали появляться; на вышках стояли, чутко прислушиваясь к гулу орудий на севере, часовые, готовые в любую минуту скатиться вниз или пустить в ход свое смертоносное оружие против толпы безоружных.

Лагерь гудел, клокотал. Дисциплина пошатнулась. По темным углам уже расправлялись с разного рода лагерной сволочью.

На русских все глядели с надеждой, будто от нас ждали освобождения.

В первую штубу шестого блока пришли музыканты. Враз набилось полно народу — не протолкнуться. Развеселый чех Пехман ударил по струнам контрабаса — дал темп. Вступили инструменты. И мы, будто сговорившись, подхватили песню. В открытое окно понеслась «Катюша» с переделанным нами концом:

Это наша русская «Катюша»  
Гитлеру поет заупокой.

Последние дни апреля мы жили на Appelплаце. Из строя не выйти, из сотни в сотню не перейти. Сидели рядами. Спали сидя. Еду получали тут же, на площади, — хлеб, маргарин, эрзац-кофе.

В эти дни канцелярия работала с предельной нагрузкой. Вызывали номера, сверяли с карточками, строили, считали, разбивали на сотни, старались перемешать неблагонадежных самым причудливым образом.

По живым коридорам между сотнями шныряли полицаи. Одни корчили гримасы, похожие на виноватые улыбки, пытались заигрывать с нами, беспомощно разводили руками: дескать, «мы ни при чем». Другие, наоборот, с мрачной злобой раздавали удары дубиной и при этом зыркали исподлобья на лагерное начальство: видят ли их усердие?

Остальные обитатели лагеря уже смотрели на нас, как на мертвецов, с грустью и сожалением и втайне радовались, что они не с нами.

Десять тысяч опасных заключенных, перепоясанных от плеча к бедру скатками одеял, ожидали эвакуации... на тот свет. Гитлеровцы хотели уничтожить нас так, чтобы все было гладко и концы спрятаны. Известно было и место: какое-то глубокое и тесное ущелье в Баварских Альпах, неподалеку от высокогорного курорта Гармиш. Пути туда — километров сто.

В ночь на 28 апреля к браме подошел конвой с автоматами, пулеметами, служебными собаками, пузатыми рюкзаками на спинах. Это еще раз подтвердило, что путь предстоит серьезный и далекий. Бряцало оружие, отрывисто звучали команды. У проволоки грызлись собаки, настороженно принюхивались к тяжелому запаху множества человеческих тел.

Колонна начала выходить за браму, — будто вытягивали на асфальт огромную цепь. Ее звенья — сотни. Они подвигались к воротам, стягивались в общий строй, начало которого было уже где-то далеко, а конец выйдет из лагеря, может, только к утру.

На ходу колонна обростала конвоем. В интервал

между нашей и передней сотнями вклинился унтер-шарфюрер с ручным пулеметом. Пулемет косо лежал на плече, упирался сошками в рюкзак и в такт шагам водил по людям черным кружком надульника — влево, вправо. По бокам каждой сотни шагали пять автоматчиков; замыкали ее двое с овчарками. Тринадцать человек вооруженных, что называется, до зубов солдат на сто заключенных с подорванным здоровьем, истощенных... Многовато!

На севере, за спиной, почти не переставая, гудела орудийная канонада. В небо вскидывались быстрые вспышки. Над крематорием стояло багровое зарево — спешили ликвидировать штабеля трупов. Издали похоже было, что горел сам крематорий: из низких труб вырывались факелы пламени.

На первом же километре марша начали повторяться давно знакомые мрачные картины. Люди падали. Упавших мимоходом добивали конвойные. Трупы оставались лежать на асфальте. В темноте они казались плоскими, словно раздавленными; об них спотыкались, и над рядами висело тревожное «под ноги!..».

Заключенные сбрасывали с себя скатки, колодки брали в руки. Мы с надеждой посматривали вперед. Ждали сигнала. Перед выходом мне передали: сигнал к восстанию — белая ракета. Я переходил из ряда в ряд. Где «свой»? Один... два... три... десять... А конвой?..

Потом перестал разграничивать на «свой» и «не свой». Русский — этого достаточно. Расставлял я отборных ребят по двое-трое на каждого конвоира. Люди горели злобой и нагибали головы, прятали от конвоя глаза, боялись, что увидят в них лихорадочный блеск, страшный, мстительный.

Но уходили один за другим, проплывали назад километровые столбы. Силы терялись. Трупы попадались под ноги теперь уже чуть ли не на каждом метре.

Я все же еще с надеждой смотрел вперед, ожидал: вот-вот взвоется над колонной белая ракета, и подбадривал идущих рядом. Они отмалчивались и, как

я видел, больше мне не верили. Тогда я понял, что уже ничего не выйдет, даже если будет сигнал: время упущено.

В темноте серело полотно асфальта, стучали, отдавая в ушах, автоматные выстрелы, а в конце пути, притаившись в ущелье, ожидала смерть, неумолимая и неизбежная, как наступление ночи после яркого дня.

Перед утром был привал. По каменной круче, звонко журча, словно ломались тонкие льдинки, стекала вода. С высоты срывались кусочки породы, шлепались на асфальт, разбивались. Под кручей сбились заключенные, с опаской посматривали наверх и через дорогу — напротив. Оттуда глядели нацеленные на нас автоматы. Поневоле напрашивалась мысль: «Под кручей удобно». И ждали выстрелов.

Спустя полчаса встало солнце. Мы тащились по дороге дальше. Иногда колонну обгоняли автомобили с привьюченным к ним домашним скарбом — беженцы. К стеклам прилипли перекошенные ужасом лица.

В деревнях немцы, уже не стесняясь, проклинали эсэсовцев и, горестно кивая головой, провожали нас затуманенными слезой взглядами. В каждой простой семье кто-то погиб: если не на фронте, то в концлагере. Глядя на нас, вспоминали дорогие утраты, плакали.

Медленно догорел день. Погасло за горизонтом красное солнце. В лиловых сумерках растворилась даль. Мы все шагали и шагали к неизбежному. И было еще далеко до конца пути, и мы не хотели этого конца, хоть и устали смертельно. На извилистой дороге оставались серые пятна — трупы. Множество трупов.

Колонна уменьшилась вдвое.

Ночью с асфальта свернули в лес, на каменистый проселок. Остановились. Конвой оцепил лес. Скомандовали располагаться на отдых.

Тело ныло. Ни о чем уже не думалось. Только без-

мерная усталость придавливала к дорожным камням и не было сил стронуться с места.

Кое-как отковылял несколько шагов от дороги. Лег. Вернее, упал на пахнущую дерном землю и мгновенно уснул, будто провалился в бездонную тьму.

И вдруг сквозь черную пелену сна донесся громкий настойчивый стук, точно колотили палками по железу, — рассыпчато, четко, над самым ухом.

Еще не проснувшись, понял: автоматы. Первой сознательной мыслью было: бежать. Дернулся. Что-то удерживало, прижимало к земле.

— Лежи! — жарко выдохнул кто-то в самое ухо. По голосу узнал — Малеин.

Стреляли везде. Справа, слева, впереди трещали автоматы, и было не понять, откуда и куда стреляют. Между стволов с тонким свистом — «фьюить, фьюить» — проносились трассирующие пули и с глухим стуком слепо втыкались в деревья. Осыпалась срезанная пулями листва.

Стонали, кричали раненые.

Рядом между корнями дерева чернела яма. Мы скатились в нее, залегли, едва переводя дыхание.

— Что за черт?

— Не пойму. Палят в белый свет..

— Наши где?

— Все здесь. Где-то рядом.

В темноте металась люди, падали, переползали. Внезапно автоматная трескотня стихла. Стало слышно, как барабанил по кронам деревьев начавшийся дождь. Вдоль опушки перекликались часовые.

До утра уже никто не думал о сне. Промокли до нитки.

Рассвет наступил хмурый. При свете дня стащили убитых в кювет у дороги.

В лесу была дневка.

Тишина и бездействие рождали надежды. На юго-западе, в той стороне, куда по лесу уходила дорога, гремели орудия, и в особенно тихие минуты оттуда доносились длинные пулеметные очереди, приглушенные далью.

В середине дня выдали хлеб. Погода разгулялась.

В просветы между тучами врывалось солнце. Земля парила. Деревья кучерявились обновленной, словно лакированной, зеленью.

Люди приободрились: «Если бы гнали на убой, не дали бы хлеба». Некоторые взволнованно пересказывали слух, будто комендант передаст нас американцам.

Слух походил на правду. Идти уже было некуда. Впереди, где-то за горой, гремел бой.

Породенко долго искал Тонконогова. Вернулся злой, расстроенный. Взял свою пайку хлеба и молча отщипывал от нее, уставясь глазами в землю.

На мой настойчивый вопрос ответил коротко:

— Не нашел.

Но я видел, что он говорит неправду. Я знал: успокоится — расскажет сам. И не ошибся.

— Перед самым отходом из лагеря вдруг выяснилось, — проговорил он, словно продолжал прерванный разговор, — что иностранцы нас не поддержат. Среди немцев струсили. Говорили, что слухи об уничтожении вздорные. Пришлось бы все взвалить на нас — русских. Перестреляли бы... Тонконогов не рискнул.

— А те, больные, что на дороге? — Малеин показал на заваленный трупами кювет. — Этих не постреляли? Так лучше?

— Не знаю, что лучше. Поживем — увидим...

— Да... поживем. Сколько? Час? Два?

— А почему я знаю! Что ты ко мне привязался? Я знаю не больше...

— Обязаны знать больше! — жестко отрубил Малеин. — Мы вручили вам свои жизни — нате, берите. А вы не сумели их взять, не сумели использовать. Эх!..

— Ладно, Коля, — примирительно сказал Породенко. — Поговорим позже.

Солнце стало склоняться к западу. По дороге, окруженный свитой разного рода больших и малых фюреров, прошел комендант. Конвой забегал. Начали строить. Торопились как на пожар и на этот раз нас даже не пересчитывали.

Двинулись в путь. Породенко с нами не было. Незадолго до этого он ушел, видимо снова к Тонконогову, и там его прихватило построение.

Колонна медленно вытянулась за опушку, и, по мере того как она, подобно тысяченогой гусенице, выползала из леса, темп движения увеличивался.

Впереди дорога шла по крутому спуску. С горы было видно, как она петляла внизу по неширокой долине, пробежала по мосту через бурную после дождя горную речку и затерялась на той стороне в голубоватом молодом перелеске. Дальше виднелись черепичные крыши. В окнах домов кое-где отражалось заходящее солнце. За деревней стреляли.

По спуску нас погнали бегом. Голова колонны проскочила мост, и тогда мы увидели, что от моста конвой возвращался назад, а люди, оказавшиеся на той стороне, были уже свободны, но еще не сразу осознали это и бежали по дороге дальше. Потом бросались врассыпную в кусты и в ближайший лес.

Увидев это, мы уже сами неслись к мосту со всех ног. Встречные эсэсовцы не очень спешили подниматься на гору. Некоторые деловито отстегивали погоны, другие тут же у дороги доставали из рюкзаков гражданские одежды. Им уже было не до нас.

Настил моста гудел, как огромный бубен, и сердце готово было выпрыгнуть от радости: «Наконец-то свобода».

На всякий случай, не сбавляя темпа, пробежали еще несколько сот метров и остановились в густом кустарнике на склоне горы, где уже не могли нас достать конвоирские автоматы.

И снова нас было пятеро: Солодовников, я, Малейн, Нежинский и вместо полковника Породенко парнишка из Винницы, Николай.

Отдыхались. Радость переполняла, мешала говорить. Но наступила ночь, и надо было прятаться: неизвестно, как отнесутся к нам отступающие гитлеровские войска.

После короткого совещания решили идти в сторону от деревни, искать подходящего места в лесной чаще. Гуськом продвигались по склону горы, чутко



прислушивались к каждому шороху. И уже поздно вечером, когда в небе высыпали первые звезды, перед нами забелели стены двухэтажной постройки.

Окна настороженно чернели, казалось, подсматривали за нами. Пригибаясь, чтобы по нас не пальнули, обошли дом вокруг, прислушались, по приставной лестнице взобрались на узкую галерейку и через небольшую дверку проникли внутрь той части дома, где не было окон.

Было очень тихо. Пахло коровником. Под ногами мягко шуршало сено. Зарылись в него и, договорившись посменно дежурить, уснули.

Я дежурил первым. Спать не хотелось совсем. В голове проносились, обгоняя одна другую, сотни мыслей, и не передумать было всего, и радость просилась наружу. Заканчивался последний день апреля 1945 года.

Кончился плен! Этот день стал моим вторым рождением. Жизнь в этой тихой спокойной темноте засияла во всем своем щедром разнообразии, словно познав ее изнанку. И я по-новому увидел лицо жизни — прекрасное и вечно молодое.

## 5

Пробившись в щели, узкие солнечные лучики висели в воздухе, словно туго натянутые золотые проволоки. В ворохе сена кто-то тихонько шуршал, вероятно мышь. Внизу протяжно и шумно вздыхали коровы, и, приткнувшись к моему плечу, тихо посапывал во сне Солодовников. Все было таким спокойным и мирным. Не верилось даже, что уже не надо бояться, что не убьют, не ударят...

По лестнице, стараясь не стучать, кто-то поднялся снизу и притаился за дверью. Несколько минут было тихо. Воспользовавшись этим, я разбудил товарищей. Медленно отодвинулся засов. Дверь проскрипела натужно, тягуче. Из-за притолоки осторожно выдвинулись половина лица и длинный белый ус.

— Кто здесь есть? — спросил старческий голос.

Голова на всякий случай спряталась за дверным косяком.

Я понял, что бояться нам некого.

— Войдите, кто там!

Через порог опасно шагнул старик, худой и сутулый. Всмотрелся. Я поднялся навстречу. Увидев полосатый костюм, старик испуганно отшатнулся.

Малеин поспешил его успокоить.

— Не бойтесь! В доме есть солдаты?

— Солдаты?! Нет. Что им тут делать?

— Да, знаете, бывает.

— Нет, нет. А что вы за люди, откуда?

Коротко рассказали о происшедшем вчера.

— Сколько вас?

— Пятеро.

— Ну что ж, спускайтесь вниз, будем пить кофе.—

Старик неожиданно улыбнулся.— Гости...

Внизу нас приветливо встретила розовая опрятная старушка. Кухню насквозь пронизало солнце. Аппетитно пахло печеным хлебом и чуть-чуть подгоревшим молоком. В широко раскрытую на улицу дверь вливался чистый солнечный воздух и щебет лесных пичужек; виднелся кусок ярко-зеленой земли.

Было непривычно и оттого чуточку тревожно. Казалось, мгновение — и... кончится радостная сказка.

Появились три молодые женщины и мальчик. С интересом, без страха рассматривали нас, потом одна принесла полотенца, мыло, пригласила умываться под краном во дворе. И сразу натянутость исчезла.

За столом было тесно. Старик обвел всех взглядом из-под седых редких бровей.

— Так. Десять человек.— И без всякого перехода представился: — Меня зовут Лоренц Вегман.

После завтрака Солодовников ушел на разведку в Баерберг — село, у которого нас бросил конвой. Там не было ни американцев, ни эсэсовцев. По узким улочкам сновали полосатые заключенные. В пожарном сарае лежали в ряд четыре убитых эсэсовца. В наспех брошенном хозяевами доме Юрий увидел приемник и, забыв обо всем, сгреб его в охапку, при-

ташил в усадьбу Вегмана. С полчаса копался в нем, потом торжественно объявил:

— Москва! — и повернул регулятор.

Громко и отчетливо зазвучала русская речь. Комментировали первомайскую демонстрацию на Красной площади. И мы разом вспомнили: «Сегодня ведь Первое мая!» Обнялись крепко, по-братски. В глазах стояли слезы, и нельзя было говорить — боялись расплакаться: на этот раз уже от переполнявшей нас радости, от счастья.

А из приемника уже лилась чарующая мелодия, и красивый тенор растягивал слова незнакомой песни:

С берез, неслышен, невесом,  
Слетает желтый лист.  
Старинный вальс «Осенний сон»  
Играет гармонист.

И действительность нам все еще казалась сном, но только весенним, счастливым, радостным.

За месяц мы поправились неузнаваемо, прибавили в весе, наверное, килограммов по десять каждый. И все никак не могли наесться. С сожалением отходили от стола и спустя час уже просили у старушки Вегман чего-нибудь поесть. Та только качала головой.

На хозяйских велосипедах мы с Юрием съездили в бывший лагерь. Там не было ни души. Валялись обрывки бумаги, матрацные стружки. Мусор лежал небрунным, казалось, лагерь был покинут очень поспешно.

Мы обошли блоки, стройплощадку, бывшие бараки гражданских рабочих и нигде не увидели ни одного человека. Не у кого было даже спросить, куда девались пленные. Так, ничего и не узнав, повернули в обратный путь.

По Мюнхену пробирались с трудом. Целые кварталы лежали в руинах. Развалин не разбирали. По ним вились узенькие пешеходные тропинки. А на уцелевших улицах — толчея: возвращались беженцы. Нескончаемой вереницей толкали впереди себя детские коляски с грузом, дети семенили рядом, ручонками

цеплялись за материнские юбки. То и дело попадались поляки, французы, югославы — тоже с детскими колясками, нагруженными вещами. И на каждой коляске трепетал под ветром национальный флажок. Лица пленных улыбочивы. В глазах не было больше тоски. Они возвращались домой.

Из покинутого хозяевами большого дома на окраине Баерберга, запыхавшись, трибежал к нам парень.

— Идем скорей. Приехали американцы, обыскивают.

Перед домом стоял «виллис». В нем, развалившись, к солнцу лицом, дремал негр. В доме, собственно в единственной его огромной комнате, человек сорок бывших заключенных были построены в две шеренги. Перед их строем вышагивал пожилой сухощавый американец и что-то говорил по-немецки.

Я поймал конец фразы:

— Будем наказывать...

В стороне стояли, вытянувшись, солдаты.

От порога громко, на всю комнату, я спросил:

— Что здесь происходит?

Офицер резко обернулся, посмотрел на меня, скомандовал:

— Станьте в строй!

— Потрудитесь объяснить, что здесь происходит?

— А кто вы такой? — в голосе американца высокомерие и насмешка.

— Советский офицер, представитель союзной с вами армии. Я старший здесь среди русских, и свои приказы вы можете передать им через меня.

— Очень приятно, — насмешливо прищурился американец. — Но я здесь исполняю обязанности коменданта и не советую вмешиваться в судьбу ваших военнопленных, которых мы вынуждены задерживать в своей зоне. Начните обыск, сержант!

— Вы его не начнете!

— О?!

— Вы, вероятно, забыли о том, что Америка не

воюет с советскими людьми, тем более с военнопленными, которых вы должны отправить на Родину.

— Черт возьми! Но эти русские прошлой ночью совершили налет на усадьбу мирного жителя.

— А вы уверены, что в нем участвовали эти люди?

— Мне так доложили. — Комендант обдал меня долгим взглядом. — На этот раз я отменяю обыск, но предупреждаю: в случае повторения вызову военную полицию, и вы будете иметь дело с нею.

Щелкнул каблуками, сухо поклонился, вышел. Во дворе зафыркал «виллис», гнусаво просигналил, выкатился за ворота.

Спустя несколько дней я вошел в приемную коменданта района Вольфратсхаузен.

Стены на две трети одеты дубовыми панелями, окна узкие, высокие — в толще стен они зияли, как бойницы. Вдоль стен стояла тяжелая мебель. Паркет натерт. Поперек угла стоял массивный письменный стол, и за ним скучал молодой человек в американской военной форме.

Я подошел к столу.

— Доложите, пожалуйста...

— Комендант не принимает. — Подняв голову и, увидев мою полосатую одежду, американец невольно поморщился, сосредоточенно стал рассматривать на среднем пальце перстень с очень крупным черным камнем.

— Не принимает, — повторил он еще раз.

— Доложите, — проговорил я с нажимом. — Русский офицер по делам службы.

Молодой человек поднялся, серьезно посмотрел, как бы оценивая — правду или неправду я говорю, — и скрылся за резной дубовой дверью. Через несколько минут вышел.

— Вас он примет, как только освободится. Посидите, — жестом указал на кресло у стены.

Тягуче проходили минуты, отстукиваемые маятником старинных стоячих часов. В приемной все было так, как будто и не было войны, разрушений, жертв. Вдоль стены сидели посетители — краснощекие бюргеры и какие-то элегантно одетые женщины. В уг-

лу отдельной группой сидели военные — при всех ре-галиях и атрибутах формы. Только на поясах не было пистолетов.

Продребезжал звонок. Адъютант проскочил в дверь и тотчас вышел.

— Приглашают вас. — Это относилось ко мне.

Военные подозрительно покосились. Один пожал плечами и отвернулся.

В дверях кабинета я столкнулся с выходящим полковником. На кармане кителя и между концами воротника чернели кресты. Несло тонкими духами и хорошей сигарой. Встретившись со мной, он шарахнулся в сторону. Получилось так, что он уступил мне дорогу.

Положив ноги на угол стола, в глубоком кожаном кресле сидел мой знакомый по стычке в Баерберге.

— Так это вы? Садитесь.

Он снял со стола ноги, подвинул мне ящичек с сигарами. Одну взял сам, аккуратно надрезал, прикурил.

— Что вас привело сюда?

Я потребовал отправить нас на Родину.

— Да. Понимаю вас. Но... Одним вашим людям хочется домой. А другие боятся возвращения из плена. Да и как вас собрать, отправить? То, что вы предлагаете, нам не подходит. Вопрос не только технический — где взять машины, но и политический и дипломатический.

И хотя былого высокомерия и неприязни теперь я не чувствовал, но понимал, что союзники не очень-то жалуют нас своим вниманием. Капитан явно тянул волюнку. Он долго разговаривал с кем-то по телефону, и по почтительным интонациям я понял — с начальством. Поговорил еще с кем-то и, кисло улыбаясь, обратился ко мне.

— Так как советское командование настаивает на возвращении пленных на Родину, наше командование решило не чинить дальнейших препятствий. Вы можете подготовить своих людей послезавтра на восемь часов утра?

— Могу.

— В Баерберг придут машины. Грузитесь и... отправляйтесь!

Комендант вышел из-за стола и даже пожал мою руку.

— На разные мелочи не обращайтесь. Бывает всяко. Желаю удачи. Адъютант вас отвезет.

Но я отказался от машины — некуда было девать велосипед Вегмана.

Семьдесят «студебеккеров» легко катились по асфальту, точно привязанные один к другому невидимыми тросами. Автострада разворачивалась плавными закруглениями, стрелой пролегла через холмы и равнины, леса и поселки. С автомобилем ветер срывал песни, относил в стороны. В населенных пунктах приветливо махали руками простые немцы. На радиаторе передней машины трепетал туго натянутый ветром красный флажок с золотыми серпом и молотом.

А когда пересекали Чехословакию — был праздник. Приветствуя нас, чехи выбрасывали из окон флаги, засыпали нас цветами, останавливали машины, тащили еду, вино, обнимали нас, как самых дорогих людей. И всю дорогу мы слышали «наздар!», «наздар!». И у многих были подозрительно блестящие глаза, а некоторые даже не пытались сдерживать радостных слез.

Вечером приехали в Пльзень.

На распределительном пункте были наши, советские люди. Настоящие офицеры. В форме. Перепутанные ремнями мундиры сияли орденами, золотом погон. Офицеры встречали нас белозубыми улыбками, расспрашивали, подбадривали.

На второй день нас с Николаем Малейным, как офицеров, отделили, присоединили к небольшой группе и увели на вокзал.

Перед этим мы попрощались с остающимися. Юрий волновался больше всех. Он дал мне адрес, просил обязательно навестить и под конец, припав к моей груди, всхлипнул. Расставались мы с болью и сожалением и вместе с тем радовались окончанию мытарств на чужбине, возврату к жизни.

У перрона стояла вереница зеленых пассажирских

вагонов. В одном из них были отведены места и для нас. Не успев еще как следует разместиться, мы услышали длинный сигнал отправления. Поезд покатился, вагоны мягко приседали на стыках, скорость нарастала, и вот уже колеса выстукивали радостную скороговорку: «Е-дем-до-мой, е-дем-до-мой».

Я высунулся по пояс в окно. Ветер вцепился в неуспевшие еще отрасти волосы, зашумел в ушах и вмиг надул пузырем рубашку.

На закруглении пути я оглянулся в последний раз на чужой город. Скорость увеличилась, и еще туже стал встречный ветер.

Я вдохнул до отказа воздуха и, хоть Родина была еще очень далеко, выкрикнул прямо в тугую грудь ветру, дувшему с востока:

— Здравствуй, Родина! Ро-ди-на!

И мне показалось, что сияющая голубая даль ответила:

— Здра-а-а...

*1957 г. Ялта*



## БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Владимир Иосифович Бондарец родился в 1920 году на Полтавщине, в местечке Решетиловке.

В 1938 году, закончив среднюю школу, Владимир Бондарец поступил в Харьковский инженерно-строительный институт, на архитектурный факультет. В начале 1940 года, во время войны с Финляндией, Бондарец добровольно ушел в Советскую Армию и был зачислен в артиллерийское училище, откуда был переведен в Севастопольское училище зенитной артиллерии.

Великую Отечественную войну Бондарец встретил в Севастополе. Затем воевал в Донбассе. В мае 1942 года под Харьковом, командуя 302-м отдельным противотанковым дивизионом, капитан Бондарец, будучи раненным, попал в окружение и в плен. Бондарец был в гитлеровских лагерях в Проскурове, Владимир-Вольнске, Нюрнберге, Вольгасте, Лодзи, Моосбурге. В июне 1944 года Бондарец, как политзаключенный, подозреваемый вместе с другими советскими офицерами в организации Братского сотрудничества военнопленных, был брошен гитлеровцами в концлагерь Дахау. Весной 1945 года после освобождения из плена Бондарец прибыл на Родину, в N-скую стрелковую дивизию, откуда в конце 1945 года был демобилизован по болезни в прежнем звании лейтенанта, так как документы о присвоении ему следующих званий погибли в окружении.

После демобилизации Бондарец вернулся на учебу в Харьковский инженерно-строительный институт. В 1948 году у него был обнаружен туберкулез легких. Учебу пришлось оставить. Поселившись в Донбассе, он работал в Сталинском товариществе художников. В 1950 году уехал лечиться в санаторий на Карпаты и остался там жить, работая в Станиславском товариществе художников.

В. Бондарец был принят в Союз советских художников.

В феврале 1955 года Бондарец переехал в Ялту. Работал архитектором в проектной мастерской «Гипроград». Летом 1956 года оставил работу по болезни. Будучи инвалидом I-й группы, Владимир Бондарец написал документальную повесть «Военнопленные» (Записки капитана).

Болезнь, полученная В. Бондарцом в гитлеровских концлагерях, прогрессировала и довела его до постели, с которой он уже не вставал. В июне 1959 года В. И. Бондарец умер, не закончив своей второй документальной повести.